
Roger Caillois
LES JEUX
ET LES HOMMES

ESSAIS DE
SOCIOLOGIE
DE LA CULTURE

Роже Кайуа
ИГРЫ
И ЛЮДИ

СТАТЬИ
И ЭССЕ ПО
СОЦИОЛОГИИ
КУЛЬТУРЫ

О·Г·И
Москва
2007

УДК 930.85
ББК 71.04
К15

Редакционная коллегия:
А. С. Архипова (*редактор серии*), Д. С. Ицкович, А. П. Минаева,
С. Ю. Неклюдов (*председатель редакционной коллегии*), Е. С. Новик

Составление, перевод с французского
и вступительная статья: С. Н. Зенкин

Художник серии Н. Козлов

Programme

Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Министерства Образования России.

Оuvrage réalisé dans le cadre du Programme d'aide à la publication Pédagogique avec le soutien du Ministère des Affaires Étrangères français et de l'Ambassade de France en Russie

К15 **Кайуа Р.**

Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры / Роже Кайуа; Сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. — М.: ОГИ, 2007. — 304 с. — (Нация и культура / Научное наследие: Антропология).

ISBN 5-94282-339-1

Этим изданием мы продолжаем публикацию на русском языке трудов выдающегося французского антрополога, социолога и эссеиста Роже Кайуа (1913–1978). В книгу вошли монография «Игры и люди» и ряд эссе о «пограничных» культурных явлениях.

Работы Р. Кайуа будут интересны антропологам, социологам, культурологам, студентам-гуманитариям и самому широкому кругу читателей.

УДК 930.85
ББК 71.04

ISBN 5-94282-339-1

© Editions Gallimard, 1958, pour «Les jeux et les hommes»
© Editions Gallimard, 1945, pour «Etres de crépuscule»
© Editions Gonthier, 1964, pour «L'esprit des sectes»
© Editions Le Saggitaire, 1944, pour les autres textes
© Зенкин С. Н., составление, перевод на русский язык, вступительная статья, 2007
© ОГИ, издание на русском языке, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

С. Н. Зенкин. *Роже Кайуа: игра, язык, сакральное* 7

ИГРЫ И ЛЮДИ. МАСКА И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Введение 33

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 43

I. Определение игры 43

II. Классификация игр 49

III. Социальное назначение игр 72

IV. Искажение игр 76

V. К социологии, основанной на играх 86

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 96

VI. Расширенная теория игр 96

VII. Симуляция и головокружение 102

VIII. Состязание и случай 118

IX. Современные проявления 146

ДОПОЛНЕНИЯ 158

I. Как важны бывают азартные игры 158

II. От педагогики до математики 172

ДОКУМЕНТАЦИЯ 186

К главе II. Классификация игр 186

К главе IV. Искажение игр 195

К главе VII. Симуляция и головокружение 196

К главе VIII. Состязание и случай 199

К главе IX. Современные проявления 202

СТАТЬИ ПО СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ

СОЦИОЛОГИЯ ПАЛАЧА	207
Смерть палача	207
Палач и суверен	214
СЕКРЕТНЫЕ СОКРОВИЩА	224
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ	232
СОЦИОЛОГИЯ КЛИРИКА	242
ДУХ СЕКТ	252
Вступление	252
Секта и общество	258
Секта у власти	277
Резюме и заключение	286

ИЗ ЭССЕИСТИКИ

ОПУСТОШЕННОСТЬ	293
СУМЕРЕЧНИКИ	298

С. Н. ЗЕНКИН

Роже Кайуа:
игра, язык, сакральное

Работы Роже Кайуа (1913–1978), собранные в настоящем издании, относятся к тому периоду его творчества, который развернулся после выхода в свет его первых книг «Миф и человек» (1938) и «Человек и сакральное» (1939)¹. Хронологически их следовало бы читать от конца к началу тома, начиная со статей и эссе. Часть этих текстов («Опустошенность», «Социология палача», «Социология клирика») впервые опубликованы еще до войны; другие («Секретные сокровища», «Головокружение», «Дух сект», «Сумеречники») — в годы войны или сразу после нее; наконец, монография «Игры и люди» вышла десятилетием позже, в 1958 году, и стала одним из главных трудов Кайуа². В этой хронологии кроется резкая, драматическая эволюция литератора и ученого, хотя основные темы и проблемы проходят неизменными от ранних книг к зрелым, а некоторые из юношеских эссе выглядят первыми опытами, заготовками к позднейшим крупным трудам.

¹ См. русский перевод: Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003. В предисловии к указанному изданию кратко характеризуются жизнь и творчество Кайуа до начала войны.

² Источники французских текстов, использованные при переводе: для статей «Социология палача», «Секретные сокровища», «Головокружение», «Социология клирика», «Опустошенность» — сборник: CAILLOIS R. La communion des forts. Marseille: Le Sagittaire, 1944 (первое издание — Мехико, 1943); для эссе «Сумеречники» — сборник: CAILLOIS R. Le rocher de Sisyphé. Paris: Gallimard, 1945; для статьи «Дух сект», впервые вышедшей отдельным изданием на испанском языке в Мехико в 1945 году, — сборник: CAILLOIS R. Instincts et société. Paris: Gonthier, 1964 (в этом сборнике перепечатаны и три первые статьи, упомянутые выше); наконец, для монографии «Игры и люди» — второе отдельное издание: CAILLOIS R. Les jeux et les hommes. Paris: Gallimard, 1967 (первое издание — там же, 1958).

ЛИТЕРАТУРА

Судьбу Роже Кайуа перевернула Вторая мировая война, заставшая его во время краткосрочной, как предполагалось, а в итоге затянувшейся на шесть лет поездки в Аргентину. Казалось бы, в начале войны не было ничего неожиданного. В конце 30-х Кайуа, совместно с Жоржем Батаем и Мишелем Лейрисом, возглавлял парижский Коллеж социологии¹, чью деятельность одушевляли острое предчувствие войны и желание морально вооружить западную цивилизацию перед неминуемой схваткой. И все же война, а затем и скоротечное поражение Франции в 1940 году, оказались для Кайуа не только национально-политической, но и личной, интеллектуальной катастрофой. Позднее он вспоминал об этом так: «Те темные силы, что мы мечтали привести в действие, освободились сами по себе, с иными последствиями, чем ожидаемые нами»².

Под «темными силами» здесь подразумеваются силы сакрального, которые трактовались участниками Коллежа в научно-материалистическом смысле (сакральное не снисходит на землю из мистического мира, а вырабатывается самими людьми посредством определенных социальных практик), но все же мыслились как нечто чуждое, «иное», «неассимилированное» по отношению к обычным силам, действующим в обществе. Начало войны показало, что наилучшими возможностями в применении таких сил обладают не демократические нации, напрасно просвещаемые «сакральными социологами» вроде Батая или Кайуа, а жестокие тоталитарные режимы, такие как германский нацизм.

Неудача утопического проекта Коллежа социологии означала неудачу надежд Роже Кайуа на радикальное обновление интеллектуальной культуры своей страны. В 30-е годы он настойчиво твердил о необходимости утвердить в ней «строгость», повторяя это слово как заклинание и никак не определяя его смысл: то ли речь шла о логической стройности, последовательности мысли, то ли о ее научной проверяемости, соответствии объективному опыту, то ли, наконец, о последствиях, которые мысль и творчество, если развивать их до логического завершения, должны получать на практике. Фактически имелось в виду все сразу: самодисциплина дискурса, сближение литературы с наукой и стремление превратить культуру из аморфной массы фикций в четкую систему идей,

¹ См. русский перевод его материалов: Коллеж социологии, 1937–1939. СПб.: Наука, 2004. На одном из заседаний Коллежа в феврале 1939 года Кайуа, в частности, выступил с докладом «Социология палача», соответствующим публикуемой здесь одноименной статье.

² Беседа Кайуа с Ж. Лапужем, 1970, в сб.: *Les Cahiers de Chronos*. Roger Caillois. Sous la direction de Jean-Clarence Lambert. Editions de la Différence, 1991. P. 137.

ценностей и действенных мифов, способных производить целенаправленные преобразования в реальности. То была критика и радикализация программы сюрреалистов, в группе которых юный Кайуа недолгое время участвовал в первой половине 30-х годов. Но с другой стороны, его апология «силы», «мужества», «добровольного рабства», боевитости и коллективного действия опасно сближалась с той самой фашистской идеологией, которой он хотел противостоять. В результате он оказался в двусмысленном положении: успел скомпрометировать себя, заимствуя в тактических целях некоторые идеологические орудия врага¹, а те так и не пригодились реально в антифашистской борьбе, где возобладали (и во французском Сопротивлении, и в идеологии антигитлеровской коалиции — будущих Объединенных Наций) совсем иные идеи и ценности.

Этот драматический опыт напрасной жертвы, бесполезного прегрешения или по крайней мере риска как такового, очевидно, глубоко уязвил Кайуа и вызвал в нем внутренний кризис; в 1945 году во Францию вернулся уже не тот человек, что покинул ее летом 1939-го. Отказавшись от юношеского радикализма, от завышенных притязаний на непосредственное изменение мира, он перешел в идеологии на позиции традиционного гуманизма, а в творчестве — к традиционной же литературной эссеистике, и этот путь сначала обеспечил ему успешную карьеру во вновь созданной культурной организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО), а в 1972 году и привел его (единственного из всех бывших сюрреалистов) в члены самого консервативного культурного учреждения Франции — Французской академии.

Первые шаги на этом пути можно различить в его творчестве «промежуточного» периода. В эссе «Опустошенность» (1938), как и в ряде других предвоенных текстов, он проповедует спасительную «строгость», а в написанных несколькими годами позднее

¹ О том, как воспринимались в предвоенные годы идеи Кайуа о «диалектике добровольного рабства» (наст. изд., с. 294), свидетельствует такой красноречивый факт. Его эссе «Опустошенность» («L'Aridité»), напечатанное в журнале «Мезюр» в апреле 1938 года, привлекло к себе внимание немецких филологов-антифашистов Вальтера Беньямина и Теодора Адорно, которые оба встретили его резко отрицательно. Беньямин, живший в эмиграции в Париже и сам участвовавший (правда, с серьезными сомнениями) в деятельности Коллежа социологии, недвусмысленно писал в рецензии на статью Кайуа, что эта проповедь «с замечательной простотой характеризует практику фашизма», а Адорно в переписке с ним также оценивал этот текст как политически неприемлемый и как измену автора собственному таланту. См.: Вайнгард М. Коллеж социологии и Институт социальных исследований: Беньямин и Батай. Новое литературное обозрение. № 68. 2004. С. 32–33.

«Сумеречниках» («Etres de crépuscule», 1945)¹ проповедь сменяется горькой исповедью, признанием неудачи. В ход идет характерная для современной культуры ламентация на тему межуточного, «потерянного поколения»², людей, родившихся слишком рано и предназначенных уступить место новому поколению «варваров», «молодых и суровых работников» (наст. изд., с. 303). Эти «варвары» — персонажи столь же неопределенные, как и «строгость»; под ними вряд ли можно подразумевать какой-либо конкретный склад людей, скорее они своим идеальным присутствием объясняют и оправдывают историческую неудачу «сумеречников». Они отличаются от последних прежде всего силой и решимостью — теми самыми качествами, которыми более всего дорожил юный Кайуа, — но сам-то он причисляет себя к «сумеречникам» и фактически расстается с претензиями литературы на активное преобразование мира. Отныне литература у Кайуа больше не перестает закономерно в особую, «ортодоксальную», социальную действительную науку — она вступает в скрытый, не вполне принципиальный компромисс с наукой, придавая работам писателя двойственный, полунучный статус.

Первая из форм такого неявного присутствия литературы в науке — автобиографическая основа обобщенных построений. Так, в небольшой трактат Кайуа «Дух сект» (1945) введен краткий, но симптоматичный ретроспективный рассказ о Коллеже социологии³, фактически самокритика, чтобы не сказать покаяние, одного из соавторов этого проекта: «Нам не хватило мужества, а также, думаю, и убежденности» (наст. изд., с. 257). Тем самым обозначается личная вовлеченность автора в свой собственный текст, не свойственная научному дискурсу, зато близкая литературному письму. Точно так же и безличное по форме эссе «Секретные сокровища» (1942) очевидным образом опирается на опыт детских переживаний самого автора: эпизоды обращения ребенка со своими «сокро-

¹ В настоящем издании оба эти текста помещены в специальном разделе, так как они представляют собой не научные статьи, а художественные эссе, прямые выражения личного духовного опыта.

² Об этой форме культурного самоощущения см.: Зенкин С. Н. «Поколение»: опыт деконструкции понятия // Смена поколений в социокультурной динамике XX века. М.: Наука, 2005 (в печати).

³ В уже процитированном выше интервью 1970 года Кайуа признавал, что ввести рассказ о Коллеже во вступление к «Духу сект» его побудила публикация в журнале нью-йоркских сюрреалистов-эмигрантов «V.V.V.» (1944. № 4. С. 41–49) писем нескольких бывших участников Коллежа; вероятно, имелось в виду особенно письмо Жоржа Дютюи Андре Бретону, где сообщались, по мнению Кайуа, искаженные сведения о замысле Коллежа.

вищами» (скажем, похищенной из школьной лаборатории ртутью) изложены здесь столь детально и сочувственно, что сомнений не остается — параллельно с научным, психологическим анализом автор «просто», как любой мемуарист, наслаждается припоминанием обстоятельств собственного прошлого.

Второй момент литературности — характерно писательское отношение автора к языку. Для него слово предстает не просто как нейтральное средство изложения заранее данной информации, но как источник, откуда черпаются важнейшие знания о предмете. Здесь Кайуа сближается не столько с антропологом-позитивистом Марселем Моссом, у которого он учился в юности, сколько с филологами герменевтического толка, такими как Мартин Хайдеггер или Павел Флоренский. Так, во введении к книге «Игры и люди» он для выяснения сущности игры подробно анализирует семантику французского слова jeu (игра), включая переносные смыслы, которые уже не относятся к игровой деятельности как таковой, зато раскрывают глубинные представления, связываемые французами с игрой. С точки зрения научного метода такое использование языка небесспорно: действительно, общее, универсальное явление игры Кайуа осмысляет исходя из частного материала, из структуры французского слова (в другом месте привлекая также данные китайской лексики). Между тем в других языках семантическая структура может оказаться иной: скажем, в английском языке существенна малоактуальная для французского оппозиция понятий play (игра как «несерьезная» деятельность) и game (игра, где бывают выигравшие и проигравшие); а в русском, например, практически отсутствует техническое значение слова «игра», присущее французскому jeu — «зазор, люфт, свободный ход деталей механизма» — и особенно важное для Кайуа именно как антитеза некогда утверждавшейся им абсолютной «строгости». «Игра» вообще одно из самых трудноопределимых понятий культуры, и Людвиг Витгенштейн именно на его примере сформулировал идею «семейного сходства» как слабого, неточного модуля логической дефиниции¹; неточным оказывается даже употребление слова отдельным национальным языком, и это проявляется еще сильнее, если принять во внимание разные языки².

¹ См.: Витгенштейн Л. Философские работы Ч. I. М.: Гнозис, 1994. С. 110–111 и далее.

² Более осмотрительный, чем у Кайуа, лингвистико-семантический анализ понятия «игра» осуществлен в хорошо известной ему книге Йохана Хейзинги «Homo ludens» (глава II «Концепция и выражение понятия игры в языке»), где автор приводит и сопоставляет данные из целого ряда неродственных языков. Правда, среди этих языков нет французского, точнее, он упомянут лишь очень бегло; возможно, именно потому Кайуа счел нуж-

Языковую герменевтику понятий Кайуа сочетает, опять-таки «по-писательски», с опорой на *риторические* средства убеждения. Он недаром получил в 30-е годы ученую степень по грамматике: для его эссеистики характерны тщательная работа над стилем, мастерство повторов одной и той же мысли «другими словами», с помощью синонимических замен. Порой его научные тексты едва ли не принимают повествовательную форму: например, «Дух сект» — не что иное, как абстрактно изложенная притча, история возвышения и падения некоей обобщенной «секты». Кроме того, риторика еще со времен Аристотеля считала своим преимущественным предметом описание и анализ человеческих страстей и характеров — и вот именно такого рода понятия («жажда строгости», «смиленность», «самоотверженность» или, наоборот, «небрежение», «трусость», «эгоизм» и т. д. — примеры легко умножить) образуют концептуальный костяк работ Кайуа, особенно того же «Духа сект». Здесь опять-таки есть методологическая опасность: морально-педагогические категории, которыми автор пользуется как чем-то естественным и бесспорным, на самом деле порождены не научно-рефлексивной, а литературно-вкусовой традицией, относятся не к психологической науке, а к той «общепринятой» психологии, которая, по словам Ролана Барта, «складывается из всего того, чему нас еще в школе учили относительно Расина, Корнеля и т. п.»¹. В этой эссенциалистской психологии, гипостазирующей, превращающей в объективные сущности условные, абстрактно определяемые страсти и характеры, сохраняются вековые предрассудки, критикой которых как раз и занята наука Нового времени. В ранних эссе Кайуа отступал от научного позитивизма «влево» — к сюрреалистическим прозрениям о единстве природы и слова, теперь же он дрейфует от него «вправо», к допозитивистскому риторическому дискурсу о человеке.

В этом смысле даже самые научно документированные из его работ — к примеру, книга «Игры и люди» — являются одновременно и литературными эссе, где наука не обладает устойчивым статусом, свойственным ей в академических исследованиях. И все же в недостаточной научности — не только слабость, но и сила Кайуа: отказываясь от установки на исчерпывающее описание предмета, от систематической опоры на какую-то определенную исследовательскую традицию, он зато более свободен в выработке новых, оригинальных концепций. А концепции эти таковы, что заслуживают серьезного научного внимания.

ным дополнить анализ голландского ученого развернутым очерком французской лексики jeu.

¹ Барт Р. Критика и истина (1967) // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 326.

НАУКА

Общественные науки XX века часто стремились сблизиться с науками естественными: еще в конце XIX столетия Эмиль Дюркгейм призывал изучать социальные факты как «вещи»; во второй половине XX века структурализм стал применять естественнонаучные методы к явлениям культуры; друг и соратник Кайуа по Коллежу социологии Жорж Батай в 40-е годы разработал теорию «общей экономики», объединявшей в рамках единого движения процессы циркуляции солнечной энергии в космосе с процессами накопления и расточения богатств в социальном мире.

Роже Кайуа, не выдвигая столь глобальных теорий, как Батай, следовал в русле той же тенденции: начиная с ранних эссе, он искал точки соприкосновения между природным и человеческим бытием, характеризуя их понятиями «объективной идеограммы»¹ или же «мифа», где человеческое сознание выражает дочеловеческие, природные инстинкты. Подобные исследования, программу которых Кайуа вновь сформулировал в статье 1959 года «Диагональные науки»², требовали особого, пристального зрения, чтобы распознавать в массе разнородных явлений не всегда заметные, кажущиеся второстепенными, но существенные факты. Это внимание к малозначительному, сформулированное в латинском девизе, которым открывается книга «Игры и люди», — «Secundum secundatum», «следуя второстепенному», — проявляется во многих работах Кайуа; с зоркостью этнографа он вникает в детские забавы, в создание «сокровищ» или «тайных союзов» и обнаруживает в них могучую силу личностного самопостроения, а в тайных союзах — еще и грозную опасность тоталитарных сект; из бросового, казалось бы, материала газетных заметок о смерти парижского палача он извлекает выводы о том, как стойко сохраняются в современной культуре архаические представления о сакральной силе.

Кайуа осуществляет оригинальное в самой своей эклектичности соединение двух наук — социологии и психологии. Первая из них, особенно во Франции, у Дюркгейма и Мосса, практиковала функциональный подход, рассматривая социальные явления как служащие *для чего-то* в устройстве общества; вторая же, и в академической и в «неофициальной» психобаналитической версии, держалась каузальной модели, объясняя, *почему* имеют место те или

¹ См. об этом понятии мое предисловие к уже упомянутому изданию: Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. С. 11–17. Поздний Кайуа, в одном из примечаний к книге «Игры и люди» (наст. изд., с. 58), фактически дезавуирует если не идею объективных идеограмм, то, во всяком случае, радикальные выводы из нее, сделанные им когда-то в эссе «Мимикрия и легендарная психастения» (1935, вошло в сборник «Миф и человек»).

² См.: CAILLOIS R. Méduse et Cie. Paris: Gallimard, 1960. P. 9–18.

инные реакции, переживания и импульсивные поступки. Кайуа пытается смотреть на дело сразу с обеих сторон — показывать, каким образом «общество, даже в промышленно-административный век, остается второй природой, подчиненной, с одной стороны, специфическим законам и силам тяжести, а с другой — рывкам, завихрениям, приступам головокружения, в которых не участвуют сознание и расчет»¹. Сборник, из предисловия к которому взяты эти слова, называется «Инстинкты и общество»: автор хочет сказать, что «законы» общества, всему в нем приписывающие определенную функцию, и инстинктивные «завихрения», вызывающие возмущения в действии этих законов, находятся в динамическом равновесии. Существенно, что, в отличие от упомянутых выше страстей литературно-риторической «психологии», инстинкты не подлежат нравственной оценке, они представляют собой природные, морально нейтральные импульсы. Однако они могут по-разному, и позитивно и негативно, влиять на жизнь общества; бывают как бы «прогрессивные» и «реакционные» инстинкты, служащие развитию или стагнации социума, то есть их все-таки можно оценивать, только не по моральным, а по социально-историческим критериям.

Природный характер инстинктов позволяет предположить, что за ними скрывается еще более глубокая, уже не биологическая реальность, которая нередко обозначается у Кайуа неопределяемыми терминами «живые силы» или «энергии». И в физике, и в психологии энергия является не векторной, а скалярной величиной, она не имеет направления и может действовать в разную сторону в зависимости от ситуации; от того, как общество справляется с задачей «связывания» или «поглощения» «свободных энергий», посредством каких инстинктов оформляет их работу, зависит его историческая судьба. Его задача — та же, что и у исследователя: рационализировать собственные «темные силы», выводить их на свет «строного» разума. Подобно своему другу Батаю, постулировавшему так называемую «гетерологию» («слово об ином» или же «иностранное слово»), Кайуа сосредоточивает внимание на моментах «чуждого» и «не ассимилированного» обществом; но его теория, по словам современного исследователя, фактически отрицает собственный предмет, представляет собой «именно то, чего опасался Батай, — *точную науку об инородном*»².

Такая амбициозная и рискованная методологическая программа одушевляет собой монографию «Игры и люди». «Второстепенный» материал игр, которыми историки часто пренебрегают как несерьезным, «ребяческим» занятием, интересует Кайуа

¹ CAILLOIS R. Instincts et société. Gonthier, 1964. P. 5.

² HEIMONET J.-M. Politiques de l'écriture. Jean-Michel Place, 1989. P. 73–74.

не сам по себе. Ища фундаментальных сближений природы и культуры, автор книги описывает не столько детские игры, сколько, с одной стороны, игры взрослых, а с другой стороны, близкие к ним игры животных, существ, отстоящих далеко от человека на эволюционной лестнице, но являющих собой базовые инстинкты всех живых существ. Главная задача исследователя — не предложить еще одно в ряду многочисленных определений игры, а сделать следующий шаг, выводящий за рамки собственно науки об играх: построить «социологию, основанную на играх» (наст. изд., с. 86), типологию социальных ситуаций и режимов в зависимости от преобладания того или иного разряда игр и игровых инстинктов; такая типология позволяет ставить исторический «диагноз» цивилизациям, оценивать их способность к прогрессу.

Кайуа строит, казалось бы, произвольную, эмпирическую классификацию игр, разделяя их на агонические (состязательные), азартные, миметические (подражательные) и «головокружительные». Правда, некоторые реально существующие игры этой классификацией не покрываются, например детские манипуляции с «сокровищами», о которых говорилось в эссе самого же Кайуа «Секретные сокровища», или упоминаемые в одном из приложений к его книге современные игровые автоматы (о них речь еще впереди). Однако этот изъян не существен. Настоящую концептуальную структуру образуют не сами типы игр, а порождающие их инстинкты, то есть психические импульсы, находящие себе социальную функцию в форме игр. Как уже сказано, эти инстинкты разделяются по отношению к процессу цивилизации: одни, как инстинкт состязательности или азартной «погони за удачей», свидетельствуют (хотя не обязательно способствуют ей) об ориентации общества на успех и прогресс; другие же, как инстинкт подражания и тяга к головокружительному расстройству восприятия и сознания, характерны для общества застойного, живущего в темном ужасе перед масками-духами и в черед экстатических ритуалов, обеспечивающих вечное возвращение одних и тех же персонажей, положений, переживаний. Разумеется, в любом реальном обществе встречаются игры всех четырех типов, но различна их социально-политическая роль: где-то основным регулирующим процессом в обществе является состязание и/или жребий (от школьных экзаменов до выборов высших должностных лиц), а где-то — замороженное всматривание в архаических чудовищ¹. О том, сколь важно для Кайуа соотношение игр со становлением

¹ Эту корреляцию между миметизмом и фасцинацией, между инстинктом подражания и явлением замороженности внешним объектом Кайуа наметил уже в своем раннем эссе «Мимикрия и легендарная психастения», а позд-

цивилизации, говорит вторая, вспомогательная классификация, лишь изредка всплывающая в его изложении: согласно ей, игры размещаются на шкале между буйно-хаотической, рефлекторно-неосмысленной подвижностью (у животных, у маленьких детей) и упорядоченными играми по правилам, свидетельствующими о прогрессе культуры и воспитанности индивида. Такая оппозиция восходит еще к первой знаменитой апологии игр, с которой выступил Фридрих Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании человека» (1793–1795): игра, с одной стороны, служит *воспитанию* людей, а с другой стороны, сама развивается и обогащается в ходе этого воспитания, превращаясь в формы собственно эстетической, художественной деятельности¹.

Вместе с тем Кайуа уделяет неравное внимание разным типам игр: игры, способствующие прогрессу цивилизации, анализируются менее подробно — и, в общем, менее оригинально, — чем игры застойно-архаических обществ; недаром в подзаголовке «Игр и людей» автор называет, нарушая равноправие, принципы не четырех, а только двух последних видов игр — «Маска и головокружение». Наиболее суммарно говорится у него о признанно «прогрессивном» игровом принципе — принципе состязательности, который проявляется и в упорядоченной законами экономической конкуренции, и в механизмах политической и избирательной борьбы, и в собственно игровых формах спорта и других агонических игр. Их роль в формировании современного общества была подробно показана знаменитым предшественником Кайуа — Йоханом Хейзингой, и первыми работами Кайуа об игре стали именно две рецензии на его книгу «Homo ludens» (1938), опубликованные в 1943 и 1946 годах (вторая из них впоследствии

нее развил в книге «Медуза и К» (1960). Об историческом взаимодействии архаического миметизма и состязательного рационализма см. также его эссе «Тени над Элладой» (сб. «Миф и человек»).

¹ Идеи Шиллера, чей трактат Кайуа почтительно цитирует в одной из дополнительных глав «Игр и людей», первоначально важны для его концепции и даже фразеологии. Ср. хотя бы две фразы — одна из шиллеровских «Писем...»: «Как только человек начинает форму вообще предпочитать материи и не щадит реальности ради видимости <...>, тотчас круг его животного бытия раскрывается, и он выходит на путь, которому нет конца» (Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М.: Гослитиздат, 1957. С. 350), — а другая из книги Кайуа: «Общество, сумевшее [избавиться от «чарующего хаоса» архаических представлений], вступает в иное, более дерзкое и продуктивное движение, которое носит линейный характер, которое не возвращается периодически к одному и тому же порогу, которое испытует и исследует, которое не имеет конца и которое есть не что иное, как путь цивилизации» (наст. изд., с. 146).

вошла в переиздание его собственной книги «Человек и сакральное»). Повторяя и подтверждая основные тезисы Хейзинги о состязательных играх, французский писатель не столько описывает их функционирование «изнутри», сколько указывает, что свойственный им принцип расчета и рационального соизмерения сил приводит на смену другим социально-игровым принципам — миметизму и головокружению, господствующим в жизни «хаотических» или «масочных обществ». Одним из промежуточных образований, обеспечивающих переход от архаического состояния к современному, могут быть имеющиеся у некоторых народов «боги-пародисты» — комические маски богов-трикстеров, *которых никто не боится*.

Итак, полезный принцип состязательности занимает в книге Кайуа об играх почетное место на втором плане. Автор сосредоточивает внимание на «неассимилированных» игровых принципах, которые нередко считаются социально бесполезными или даже вредными. Так, азартные игры, исключаемые из рассмотрения многими теоретиками как лишённые всякой развивающей или социально-регулирующей значимости, предстают у него как важнейший компенсаторный механизм, дополнительный по отношению к играм агоническим: в самом деле, не каждый может на равных состязаться с другими в спортивных или экономических соревнованиях, и тем более лишь немногие могут в них побеждать — просто потому, что мест на «пьедестале почёта» мало; остальным приходится довольствоваться «утешительными играми», тотализатором или лотереей; в них, конечно, тоже выигрывают очень немногие, но зато здесь выигрыш не обусловлен никакими особыми способностями победителя и потому, парадоксальным образом, оказывается «справедливее» заслуженного, отвечая уравнительному пониманию справедливости. Вторым компенсаторным механизмом выступает особый вариант миметизма — «сопереживание» (*délégation*), когда суровая избирательность социальных состязаний психологически уравнивается в сознании проигравших или отказавшихся от состязания воображаемым отождествлением себя с триумфатором — знаменитым спортсменом или кинозвездой; то есть неудачники в одной игре затевают другую — играют в подражание победителю соревнований.

Особое место в предложенной Кайуа классификации игр занимает группа головокружительных игр, обозначаемых греческим словом *ilunx*¹. Автор недавно вышедшего отечественного

¹ Один из исследователей показывает глубокую лично-психологическую значимость темы головокружения у Кайуа: головокружение ассоциируется у него со «страхом пространства», с «панической боязнью (тайным желанием?) быть *пожираемым*», наконец, с угрозой всякой буйной порос-

труда об играх пишет, что данный класс «менее всего связан общим основанием» и «сгруппирован по „остаточному“ принципу»¹; но это, конечно же, не так. Напротив, выделение головокружителейных игр как отдельной категории явилось оригинальным открытием Кайуа, и эта категория опирается, по его мысли, на единый и весьма глубокий инстинкт. Другое дело, что по внешнему облику игры такого рода сильно варьируются: это и танцы типа вальса, и всякого рода аттракционы, обеспечивающие физическое вращение или иное стремительное движение тел (качели, карусели и т. п.), но также и приспособления для «индукции» головокружения путем пристального всматривания во внешний объект (волчок, воздушный змей); наконец, за пределами игр тот же самый инстинкт находит себе опасное удовлетворение в достижении экстаза уже не физическими, а химическими средствами — алкоголем и наркотиками. И не только в этом. Небольшое эссе Кайуа «Головокружение» (1942) раскрывает еще более широкий спектр проявлений головокружителя инстинкта самоотдачи или «самоизмены» (*démission*): начиная от азартной игры (два игровых принципа, которые будут различаться в книге «Игры и люди», — азарт и головокружение — здесь объединены) или безнадёжной любви и кончая самоослеплением нации, устремляющейся по гибельному пути военных авантюр; создавая это эссе в разгар войны, Кайуа, конечно, имел в виду гитлеровскую Германию. Невинные детские забавы с волчком и безумие тотальной войны имеют, по его мысли, сходные психологические корни — готовность и тайную склонность человека отступить на низшую ступень эволюции, перестать быть мыслящим и даже живым существом, слиться с мертвой материей. Инстинкт головокружения, грозящий индивидуальной или коллективной «самоизменой», равно как и инстинкт подражания, чреватый завороченным «отчуждением» личности, можно мыслить как два взаимодополнительных проявления, динамическое и статическое, открытого Фрейдом инстинкта смерти, в отличие от инстинкта жизни, обу-

ли (в тропических лесах и т. д.) — угрозой, которую писатель пытается то заклинать в своем гимне «опустошенности» (*aridité*, буквально «отсутствие растительности»), то отводить магическими оберегами-минералами, которые он начал коллекционировать и любовно описывать в своих книгах на склоне лет (см.: PÉREZ C.-P. *Vertiges de Roger Caillois // Les Cahiers de Chronos*: Roger Caillois. P. 388–393).

¹ Апинян Т. А. Игра в пространстве серьезного. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 104. Курьезным образом, видимо, по недосмотру и по отдаленному сходству имен, автором книги Р. Кайуа «Игры и люди» объявлен здесь совсем другой ученый муж — «Риммерт ван дер Коэй <...> секретарь международного совета по детским играм и игрушкам» (см.: Там же. С. 75, 103–104).

словленного активной экспансией и выражающегося в состязательной воле к власти¹.

Изучая взаимодействие «инстинктов и общества», Роже Кайуа анализирует не только инстинктивное содержание игр, но и их социальную форму, особенно изолированность игры в пространстве и времени и образование закрытых сообществ, к которому она дает повод. Оба обстоятельства отмечались уже Хейзингой², но Кайуа дает им новую интерпретацию. Его еще с 30-х годов интересовали феномены повышенной социальности — когда люди образуют не рассеянную, слабо структурированную совокупность индивидов, а сплоченную группу, скрепленную актуальными совместными переживаниями и непреложными обязательствами. Подобное различие восходит еще к Руссо, противопоставлявшему необщественное и общественное состояние людей в «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства между людьми»; новейшие общественные науки дают ему новое основание. В книге «Человек и сакральное» Кайуа приводил в пример быт эскимосов, которые летом живут отдельными семьями, сравнительно далеко одна от другой, а зимой собираются на компактных стоянках, и именно в этот период схождения и плотного проживания народа справляют свои обряды, практикуют ритуальные, повышено требовательные правила поведения. Примером может быть, по мысли исследователя, и любой праздник, собирающий на площади толпу, которая одушевлена общими порывами и настроениями, объединена необычным, отсутствующим и даже запрещаемым в обычное время поведением — фамильярным обращением, совместным умеренным потреблением пищи, сексуальной вольностью.

¹ Данная идея отсылает не только к фрейдовскому психоанализу, на который Кайуа вообще ссылается редко. Так, в предисловии к книге «Миф и человек» он противопоставлял «две основополагающие установки человеческого духа: шаманизм, выражающий могущество индивида в борьбе против естественного порядка действительности, и манизм, то есть отказ от своей личности и поиски тождества между „я“ и „не-я“, между сознанием и внешним миром» (Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. С. 37). В данном случае он ссылался на антропологическую науку — труды Лео Фробениуса и (имплицитно) учебные курсы Марселя Мосса, различавшего эти две модели как основы *магии* и *религии*. Много позднее та же оппозиция «религия/магия» была перетолкована в терминах семиотики и теории коммуникации, преимущественно на материале новоевропейской культуры, в статье Ю. М. Лотмана «„Договор“ и „вручение себя“ как архетипические модели культуры» (Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 3. Таллин: Александра, 1993. С. 345–355).

² См.: Хейзинга Й. *Homo ludens*. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 20–23.

Но если праздничные эксцессы, связанные с «истреблением богатств» и «трансгрессией» (значимым нарушением) повседневных запретов, интересовали скорее Жоржа Батая, то Кайуа уже с 30-х годов преимущественно занимался иным типом компактного и обособленного социального образования — постоянно существующим коллективом, спаянным строгой дисциплиной, который чаще всего называют «сообществом» (*communauté*), а можно было бы переводить и как «община», если бы не сбивала толку ассоциация с русской крестьянской общиной. Действительно, в отличие от последней, «сообщества» формируются не по естественным признакам (территории проживания или родственным отношениям), а в порядке индивидуального приема, с соблюдением достаточно строгих процедур отбора. В сообщество входит не всякий, а лишь тот, кто сам этого пожелал и кого сочли достойным. Добровольность вступления и строгость дисциплины — две взаимосвязанные черты сообщества, делающие его мощным и устойчивым образованием, потенциальным источником власти. Феномен такого неприродного сообщества был впервые изучен немецкими социологами, в частности Максом Вебером в работе «Протестантские секты и дух капитализма»; возможно, именно влиянием Вебера объясняется то, что Кайуа в трактате 1945 года «Дух сект», непосредственно посвященном этой проблеме, выбрал для родового обозначения «сообществ», далеко не всегда имеющих религиозную природу, религиозный термин «секта»¹.

Общественная роль «сект» двойственна, как и роль игр: с одной стороны, они свидетельствуют о позитивном, культуростроительном стремлении к «строгости», к повышенной дисциплине и солидарности; с другой стороны, движимые естественным жизненным инстинктом экспансии, они способны возобладать над вялым и разрозненным обществом и захватить власть над ним. Такая опасная, даже катастрофическая судьба, наиболее отчетливо явленная в истории тоталитарных режимов XX века, связана именно с тем, что «секта» выходит за собственные рамки, распространяет свои законы замкнутого сообщества на все общество в целом; в ре-

¹ Напомним, что и Коллеж социологии, по словам Кайуа (впрочем, это единственное свидетельство на сей счет, которое трудно проверить), был создан «для изучения замкнутых групп — мужских союзов у первобытных народов, инициатических сообществ, церковных братств, еретических или оргиастических сект, монашеских или воинских орденов, террористических организаций, тайных политических объединений на Дальнем Востоке или в смутные периоды европейской истории» (наст. изд., с. 256). О соотношении терминов «секта» и «церковь» в сочинениях Кайуа см. ниже в настоящей статье.

зультате «доблести» общинной солидарности размываются и разлагаются, лишь только партия революционеров или еретиков приходит к власти; более того, привыкнув к противостоянию с «большим» обществом, «секта» теперь вынуждена уже все общество мобилизовать на борьбу с кем-то другим — иначе она не может поддерживать в нем высокий градус солидарности и самоотверженности, — и в итоге неизбежно ввергает его в военную конфронтацию с другими народами¹.

В «Играх и людях» показано, как сообщества сплачиваются игровыми инстинктами. Оставляя в стороне очевидные и хорошо исследованные случаи спортивных команд и клубов — сообществ, связанных с состязательными играми, — Кайуа обращает внимание на другие игровые инстинкты, особенно на азарт и миметическое подражание. Как выясняется, даже азартные игры способны создавать зыбкие, но все же устойчивые сообщества, отличающиеся, подобно «сектам», повышенной моральной требовательностью. Так, одна из народных лотерей, широко распространенных в Бразилии, отличается, пишет Кайуа, «скрупулезной честностью сборщиков ставок» (наст. изд., с. 167). Хотя эта лотерея находится вне закона и в случае мошенничества преследовать виновного по суду практически невозможно, обмана клиентов не бывает никогда: «Людей это удивляет и восхищает: в этой подозрительной игре, где через руки нищих то и дело проходят соблазнительные суммы денег, больше честности, чем в других областях, в отношении которых бразильцы обычно сокрушаются об упадке нравов» (наст. изд., с. 167). В конечном счете дело объясняется особыми, более требовательными моральными правилами, которые действуют в кругу играющих — разумеется, только на время игры и только между ее участниками: типичная ситуация «секты»; впрочем, Кайуа приводит и другую, конкретно-

¹ В обобщенном изложении Кайуа недвусмысленно читаются намеки на германский нацизм — но не только на него. Так, слова о том, что «секта управляет и организацией труда», что созданные ею власти «стараятся сокращать потери энергии, распахивают целину, перерабатывают отходы», «всюду внедряют лучшее, более точное распределение усилий, позволяющее умножить их эффективность» и т. д. (наст. изд., с. 279), скорее имеют в виду индустриализацию Советской России, хотя этой страны Кайуа никак не называет: на исходе Второй мировой войны было политически нетактично открыто ставить союзную державу в один ряд с державой-противником. Впрочем, в подобных высказываниях выражаются скорее ходячие мифы о советской индустриализации. Как теперь известно, она даже в самый свой героический период сопровождалась огромными неэффективными потерями, а в более длительной перспективе неизбежно вела страну к экономической стагнации.

практическую причину — необходимость поддерживать в народе доверие к игре, не обеспечиваемое никакими легальными установлениями.

Что касается миметических (не всегда игровых) видов деятельности, то к ним, помимо относительно невинных клубов, создаваемых поклонниками той или иной звезды, относятся также и грозные юношеские союзы в первобытных обществах — объединения, которые основаны на инициации и ритуальном изображении духов-масок; функцией таких объединений является узаконенный террор в отношении остальных, не входящих в союз соплеменников.

Итак, игра — даже самая, казалось бы, «антисоциальная», вроде азартных игр, — служит для окультуривания, ассимиляции того энергетического потенциала, который возникает в любом плотном, изолированном от общества социальном образовании. Таким образованием могут быть и «секта» политических активистов, и детское сообщество посвященных, возникающее при создании «сокровищ». Отделенность, обособленность, а тем более секретность сами по себе — даже если на самом деле никто не скрывает ничего страшного и ценного — обладают огромной силой в мире людей, внося в него сакральную структурированность. Если общество допустит сакральную силу действовать бесконтрольно, это может привести к ужасным катастрофам. Игра же отлична от сакрального; как и сакральное, она отделена от обычного быта, но только по противоположным причинам — в силу своей свободной, «игровой» природы, а не из-за страха встречи с грозными силами Иного. Можно сказать, что игра «легче» общества, тогда как сакральное — «тяжелее» его. Об этом Кайуа писал в 1946 году, полемизируя с Хейзингой в статье «Игра и сакральное», вошедшей как дополнение в книгу «Человек и сакральное»¹; в «Играх и людях» он, признавая неоднозначную природу игровых инстинктов и возможность их опасного «перерождения» во внеигровой реальности, все же утверждает, на сей раз в полном согласии с голландским культурологом, цивилизующую роль игры как формы социально приемлемого выражения бессознательных влечений, нейтрализующей оппозицию «общество/инстинкты».

¹ Тем самым, в противовес построениям Й. Хейзинги, у меня получается следующая иерархия: *сакральное* — *профанное* — *игровое*. Сакральное и игровое сходны между собой, поскольку они вместе противостоят практической жизни, но по отношению к ней они занимают симметричные позиции. Игра должна опасаться ее — она при первом же столкновении разрушает и развеивает игру. И наоборот, она сама, как велят люди, зависит от верховной власти сакрального» (Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. С. 275).

ИСТОРИЯ

Мысль Роже Кайуа — в основе своей типологическая; сильно отмеченная влиянием риторики, она нацелена на построение устойчивых классификаций и мало учитывает фактор времени, процессуальный характер изучаемых явлений. Речь идет как о времени непосредственного переживания — показательно, что в своей теории игр Кайуа практически не рассматривает процесс развертывания игровой партии, «синтагматику» игры, если воспользоваться лингвистическим термином Соссюра¹, — так и о времени историческом, времени социального и культурного развития. Исследователь сосредоточивает внимание не столько на изменчивости культуры, сколько на ее константах (таких, как подспудно сохраняющиеся в светской и республиканской Франции верования в сакральность палача или рецидивы массового «головокружения», прорывающиеся на свободу в вандализме подростков из благополучной Швеции), а говоря о прогрессе цивилизации, склонен сводить его к мгновенному, почти чудесному переходу от архаики к высокой культуре: «...сколь быстро и отчетливо шла эволюция, сколь широко и стремительно был достигнут успех, который из-за этого даже называли чудом» (наст. изд., с. 121–122; имеется в виду «чудо» древнегреческой цивилизации)².

Между тем сами его суждения о культуре вписываются в историческое время — время социальной и интеллектуальной истории XX века. В частности, за прошедшие полвека претерпели заметную эволюцию современные теории культуры, продолжая или отвергая концепции Кайуа; кое в чем изменилась и сама культура, собственным развитием заставляя вносить поправки в масштабные вневременные обобщения. Начнем с этого последнего фактора.

Типология игровых принципов, предложенная Кайуа, достаточно логически сильна, чтобы объяснить ряд новых, даже внешне неожиданных явлений современной культуры. Так, массовое распространение азартных игр в переходной ситуации, когда «тот или иной народ оказывается резко вырван из власти симуляции и транса» (наст. изд., с. 159), — Кайуа иллюстрирует это примерами из стран Латинской Америки — находит себе занятное соответствие в бурном развитии игорного бизнеса и финансовых «пирамид» после падения коммунистического режима в России и некоторых

¹ Напротив, для современной психологии игр их темпоральный характер весьма важен: скажем, Эрик Берн в книге «Игры, в которые играют люди» соотносит изучаемые им ролевые «игры» с понятием «времяпрепровождения» и рассматривает их как порождающие модели, сценарии бытовых микродрам, которые, разумеется, развиваются во времени.

² Ср. статью Кайуа «Тени над Элладой» из книги «Миф и человек» (Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. С. 113–120).

других социалистических странах. Другое, не менее знаменательное обстоятельство: автор «Игр и людей» пишет об эпохальной замене устрашающих воинских масок древности стандартной униформой и открытыми лицами современных полицейских — сакральные агенты власти уступают место десакрализованному. Межстранная обывающая ношения масок во всякого рода элитных полицейских частях; надо полагать, он служит не столько для безопасности и/или безнаказанности слуг государства, сколько для устрашения их врагов и/или жертв, которое как раз и достигается архаическим обликом безликих воинов. Показательно, что к ношению масок ныне прибегают — очевидно, в тех же самых целях, ибо для сокрытия своей личности им, как банальным грабителям, было бы «достаточно надвинуть на лицо шарф» (наст. изд., с. 147), — также и главные противники полиции, террористы и/или повстанцы¹; маска становится универсальной униформой участников эпической битвы за Мировой Порядок, которая инсценируется на глазах у современного человечества, и нет сомнения, что ее возвращение связано с появлением в этой битве нового участника и организатора, в 50-е годы еще только делавшего свои первые шаги, — телевидения. Скорее всего, Кайуа счел бы этот факт подтверждением своей мысли о «современных проявлениях» архаики: возможность воплощения власти и антивласти в подобных регрессивных формах говорит о том, что они продолжают существовать на заднем плане сознания людей; хотя в общем и целом западная цивилизация перешла, выражаясь его терминами, от *mimicry* к *agôn*², древняя модель миметического страха готова всплыть наружу при первом же благоприятном случае.

Другой новый факт, на сей раз связанный с играми как таковыми, был отмечен в книге Кайуа, но остался без четкого объяснения; само описание его отнесено в одно из приложений. Речь идет о современных игровых автоматах — типе игр, который явно озадачивал Кайуа своей несводимостью ни к одному из рассмотренных им игровых принципов, то есть обнаруживал неполноту теории. По словам исследователя, автоматы «даже в самых аберранных и, в известном смысле, пароксистических своих аспектах образуют как бы

¹ Ср. фигуры воинов в шлемах или масках, составляющие типичную принадлежность современного фантастического кино. О новизне и непонятности феномена боевой маскировки в наше время говорит опыт столь тонкого «читателя» современной культуры, как Ролан Барт: анализируя в книге «Камера люцида» (1980) репортажную фотографию никарагуанских городских партизан с замотанными лицами, он рассматривает в качестве возможных объяснений их маскировки только два — «от вони» и «для секретности». См.: BARTHES R. *Œuvres complètes*. T. 3. Paris: Seuil, 1995. P. 1124.

игру низкой степени» (наст. изд., с. 191); это «какие-то пустые, ничтожные игры, не требующие от игрока ничего и представляющие собой просто бесплодное проведение досуга» (наст. изд., с. 194). В таких «псевдоиграх», выпадающих из классификации, нет или, по крайней мере, может не быть ни соревнования, ни азарта, ни подражания, ни головокращения — они «буквально убивают время» (наст. изд., с. 194), и только.

Уничжительные выражения исследователя, за которыми скрывается его замешательство, фактически отсылают к культурному феномену, который был концептуализирован лишь спустя два десятилетия и получил название *симулякр*. Действительно, игры с безличным автоматом — а со времен Кайуа они еще более развились, распространились неизмеримо шире, дошли буквально до каждого в форме электронных и компьютерных игр — представляют собой лишь подобие настоящей игры. По словам Жана Бодрийяра, для такого рода игр, к которым относятся и игры на бирже в отсутствие какого-либо конкретного живого противника, характерна «coolness» — специфическая «прохладность»: «Coolness — это чистая игра дискурсивных смыслов, подстановок на письме, это непринужденная дистантность игры, которая, по сути, ведется с одними лишь цифрами, знаками и словами, это всемогущество операциональной симуляции»¹. Такие игры лишены основания в рамках типологии игровых инстинктов, предложенной Кайуа; для их объяснения, вероятно, придется постулировать особый инстинкт комбинаторики, то есть безответственного, не имеющего никаких внешних последствий манипулирования имманентными знаками, вне всякой связи с реальным референтом, будь то реальность победы над соперником, карточного выигрыша, имитируемого персонажа или физиологической реакции го-

¹ Бодрийяр Ж. *Символический обмен и смерть*. М.: Добросвет, 2000. С. 76. Ср., однако, другую, эйфорическую интерпретацию игр с электрическим автоматом в книге Ролана Барта «Империя знаков» (1970). В японских игровых автоматах (культуру этой экзотической страны Барт систематически противопоставляет европейской) обнаруживается «прилежный, поглощающий труд», не имеющий ничего общего с расслабленным времяпрепровождением, а в устройстве самих автоматов, где однажды запущенный шарик уже нельзя подправить, — «принцип живописи alla prima, требующий, чтобы линия была прочерчена одним движением, раз и навсегда, и самое качество бумаги и туши ведет к тому, что она уже никогда не может быть исправлена» (BARTHES R. *Œuvres complètes*. T. 2. Paris: Seuil, 1994. P. 765). Иначе говоря, японские игры с автоматом импонируют Барту именно тем, чего недостает европейским играм в глазах Кайуа, — серьезностью заключенного в них труда и искусства.

ловокружения. В массовом увлечении игровыми автоматами, очевидно, проявляется выдвигание этого инстинкта на первый план культуры, то есть наступление новой культурной эпохи, чьи первые признаки исследователь добросовестно отметил, но еще не сумел объяснить.

Это подводит к другому вопросу, связанному уже не с объективной эволюцией культуры как таковой, а с развитием теоретических знаний о ней. «Строгий» аналитический ум Роже Кайуа, его стремление разобраться в детальном функционировании того или иного культурного механизма иногда побуждают пишущих о нем называть его «структуралистом до структурализма»¹. Тем не менее его расхождение со структуралистской и постструктуралистской теорией культуры, которую он успел застать в последние десятилетия жизни, было вполне резким и не допускало не только сотрудничества, но даже сколько-нибудь плодотворного диалога². Его теория окультируемых сакральных объектов и глубинных инстинктов, которые выражают себя в формах социальной и культурной жизни, шла вразрез с идеей всецело наличных, лишенных тайной глубины структур лингвистического типа; его объяснение масок как инструмента политического (само)устройства фактически опровергается семантическом анализом первобытных масок у Клода Леви-Стросса («Путь масок», 1975–1979). Структуралисты подвергли решительной критике язык, в котором находил опору Кайуа-писатель; как показали работы Греймаса, Барта, Деррида, взыскуемый им «здоровый» и «строгий» язык риторики представляет собой особого рода миф, искусственную конструкцию, особенно характерную для французской идеологии последних столетий; он столько же выражает мысль, сколько формирует и деформирует ее.

Некоторые частные идеи и мотивы Кайуа находят себе любопытные соответствия в работах «новых французских теоретиков». Так, Ролан Барт в эссе «Игрушки» из книги «Мифологии», по времени почти совпадающем с «Играми и людьми» Кайуа (этот текст был впервые напечатан в 1955 году, за несколько месяцев до первых статей Кайуа, связанных с книгой об играх), подверг критике миметический характер большинства современных игрушек, которые заставляют ребенка в своей игре подражать кому-нибудь из взрослых:

¹ HEIMONET J.-M. Op. cit. P. 55. См. также: STAROBINSKI J. Saturne au ciel des pierres // Europe, 2000. № 859–860. P. 15.

² Соответственно, Кайуа не вошел в международный канон так называемой «новой французской теории» XX века, хотя в нем присутствует, например, Жорж Батай. Здесь отчасти сказался и институциональный успех Кайуа-академика, его «правая» идеологическая репутация, делавшая его чужим в глазах леворадикальных мыслителей второй половины столетия.

«обычно французская игрушка — это игрушка-подражание, она создает детей-пользователей, а не творцов»¹; то есть такие игрушки стимулируют одну из архаических категорий игр и фиксируют ребенка в неподвижной роли «пользователя». Барт противопоставляет им механические конструкторы, с помощью которых «ребенок создает предметы ничего не значащие, ему неважно, чтобы они имели имя на языке взрослых»², — то есть манипулятивные игры, как раз и не нашедшие себе места в классификации Кайуа. Они одобряются у Барта именно потому, что позволяют играющему обходиться без опоры на язык, причащают к творчеству вне смысловых конвенций, к созданию «предметов ничего не значащих» и увлекательно безымянных.

Другой пример — описанный у Кайуа феномен «головокружения». Некоторые теоретики французского структурализма развили эту интуицию в своем понимании языковых процессов, хотя, скорее всего, отнюдь не «заимствовали» ее у Кайуа — просто данный мотив в те годы носился в воздухе. О «головокружении смысла» писал Жерар Женетт, анализируя созданную Бартом теорию «мифа» как произвольного вторичного знака³; а на конференции «Современные пути критики» в Серизи-ла-Саль (1966) он пояснял: «Головокружение — громкое слово, выражающее очень простую мысль — что слова думают за нас, что мы над ними не властны, а потому в акте письма возникает действительно головокружительное отношение между тем, что мы хотели бы думать, и тем, что мы думаем фактически, — просто потому, что мы пишем и значительная часть написанного продиктована нам имманентными законами языка»⁴. Гуманист Кайуа, видевший в головокружении смертельный инстинкт, «самоизмену» человеческого сознания, что-то вроде игры в самоубийство, наверняка не узнал бы свою мысль в рассуждениях структуралиста Женетта: в самом деле, для последнего источник головокружения — в том самом языке, где Кайуа искал прибежище от опасных архаических влечений. Тем не менее оба теоретика сходятся в культурном осмыслении, казалось бы, чисто физиологического явления, видя в нем одну из моделей общественной жизни — интеллектуальной жизни у Женетта, антиинтеллектуальной у Кайуа.

¹ БАРТ Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. С. 103.

² Там же.

³ См.: ЖЕНЕТТ Ж. Фигуры: Работы по поэтике. Т. 1. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. С. 201.

⁴ ЖЕНЕТТ G. Raisons de la critique pure // Chemins actuels de la critique. Paris, 10/18, 1968. P. 203. О мотиве головокружения у Женетта см. мою вступительную статью к указанному выше изданию: ЖЕНЕТТ Ж. Фигуры: Работы по поэтике. Т. 1. С. 10 и далее.

Наконец, еще одна историческая — одновременно научно-социологическая, политическая и «литературная» — проблема связана как раз с проблемой интеллектуализма, точнее места интеллектуалов в общественной жизни. Перед самым началом войны Кайуа опубликовал на эту тему статью «Социология клирика» (1939). Заимствуя из памфлета Жюльена Бенда «Измена клириков» (1927) слово *clerc*, которое по-французски означает не только «представитель духовенства», но и просто «грамотный, образованный человек», он характеризует этим словом тех, кого в современном языке принято называть «публичными интеллектуалами», — представителей современной духовной власти, ученых и писателей, опирающихся на свои академические или творческие достижения в выступлениях по общественно-политическим вопросам. Такая практика сформировалась во Франции в конце XIX века, в период дела Дрейфуса, и сделалась особенно актуальной в 1930-х годах, в обстановке ожесточенной идеологической борьбы, втягивавшей в себя «мастеров культуры». Кайуа, теоретик социально действенной мысли, занял неожиданно критичную позицию по отношению к «интеллектуалам», изобличая их в непоследовательности и безответственности: интеллектуал-«клирик», пишет он, притязает выступать от имени абсолютной справедливости, в то время как люди понимают ее по-разному в зависимости от своих интересов и эти понимания невозможно свести к единому, убедительному для всех основанию. Единственной возможностью превратить интеллект в действенное орудие независимой и действенной власти была бы, по мысли автора, аскеза: сознающий свою миссию «клирик» должен выступать не от своего собственного имени, а от лица «оформленной, иерархизированной организации, каждый член которой лишен покоя и воли, лишен возможности наслаждаться и даже располагать собой» (наст. изд., с. 250); чуть выше такая организация прямо названа Церковью.

Антиинтеллектуалистское эссе Кайуа неизбежно напоминает русскому читателю знаменитый отечественный памятник антиинтеллигентской публицистики — сборник «Вехи» (1909). Правда, эта книга почти наверняка не была знакома французскому писателю, и вообще французские «интеллектуалы» и русские «интеллигенты» — не совсем одинаковая категория людей; но все же главное и наиболее интересное различие двух позиций состоит в другом. И Кайуа, и авторы «Вех» за тридцать лет до него опровергали идеологию чисто мирской духовной власти, возможность жить легковесной жизнью света, но при этом претендовать на высший духовный авторитет. В обоих случаях антитезой виделась позиция настоящих «клириков», людей церковного сознания. Но если русские публицисты имели в виду настоящую церковь, исповедующую настоящую религиозную веру, то французский со-

циолог-атеист фактически толкует о «церкви» в кавычках, подобно тому как в кавычках следует читать слово «секта» в его эссе «Дух сект». Собственно, слово «церковь» здесь именно и означает «секту»: интеллект, по мысли Кайуа, становится силой лишь в сообществе, где есть добровольное членство, строгая дисциплина и единая доктрина. Между тем при традиционном устройстве общества к церкви так или иначе принадлежит практически каждый, тогда как секта комплектуется индивидуально, со строгим отбором (ср. замечания на эту тему у Макса Вебера и в «Духе сект» самого Кайуа). Можно сказать, что, утверждая свою «церковь», Кайуа имеет в виду не всю массу входящих в нее мирян, а именно *клириков*, то есть ее добровольных и пожизненных служителей. Но есть еще более важное обстоятельство: для него в подобном сообществе главное — имманентная социальная сплоченность, а не вера во что-либо трансцендентное; и если современные интеллектуалы — это «клирики без церкви» (наст. изд., с. 250), то церковь, о которой мечтает Кайуа, — это фактически церковь без бога.

Понятно, каким образом эта утопия псевдоцеркви, церквисимулякра связана с проектом сообщества строгих и самоотверженных мыслителей-деятелей, который Кайуа проповедовал в конце 30-х и пытался реализовать в парижском Коллеже социологии. Понятен и плачевный финал этого проекта, от которого Кайуа вынужден был обескураженно отступить, заметив опасную близость своей антииндивидуалистической и одновременно безбожной риторики к дискурсу фашистов¹. Критика «клириков» у Кайуа зиждется на неявном убеждении, что язык поддается имманентному упорядочению, что в правильно организованной социальной структуре он даже при отсутствии трансцендентных, вероисповедных оснований способен обеспечить необходимую «строгость» общих принципов и выводимых из них конкретных суждений. Утопия светской церкви, как и вообще вся теория культуры у Кайуа, основана на доверии к языку как нейтральному, внесоциальному орудию мысли, которым индивидуалисты-интеллектуалы просто не умеют должным образом пользоваться, поскольку недостаточно требовательны к себе.

Дальнейшее идеологическое и научное развитие второй половины XX века пошло не по пути восстановления «светской церкви», а по пути напряженной критики языка, которая велась с разных позиций — как со стороны структуральной лингвистики, так и, например, со стороны аналитической философии. Эта критика требовала отдавать себе отчет, что человек в языке всегда высказывается на свой страх и риск, ведя сложную, не всегда успешную, но

¹ О фашистском антиинтеллектуализме в трактовке теоретиков Коллежа социологии см.: HEIMONET J. - M. Op. cit. P. 160 sq.

потенциально плодотворную игру — в терминах Кайуа ее, пожалуй, можно назвать агонической — с социальными инстанциями, управляющими языком. Соответственно, и роль одинокого «ангажированного» интеллектуала, вновь утвержденная во французской культуре Сартром и Камю, а затем, на иной философской основе, мыслителями следующего поколения — Бартом, Фуко, Деррида¹, — сохранила свое значение вопреки критике Кайуа, вплоть до новых дискуссий о «смерти интеллектуалов» во Франции конца XX века².

Но об этом писал уже не Роже Кайуа, а другие люди.

ИГРЫ И ЛЮДИ

Маска и головокружение

¹ Ролан Барт, родившийся в 1915 году, был всего двумя годами младше Кайуа, но в силу биографических обстоятельств (тяжелой длительной болезни) вступил в литературу намного позже него; Мишель Фуко и Жак Деррида родились соответственно в 1926 и 1930 годах.

² Дискуссия об интеллектуалах вновь развернулась после знаменитой статьи историка Пьера Нора «Что могут интеллектуалы?» (1980), и ее развитие оказалось тесно связано с критикой всей структуралистской и постструктуралистской теории культуры, создававшейся интеллектуалами «под себя». Новейшие выступления в этой дискуссии см. в сборнике: Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 335–392.

Введение

Существует бесчисленное множество игр: салонные игры, игры на ловкость, игры азартные, спортивные, игры на терпение, игры-конструкторы и т. д. Несмотря на такое почти бесконечное разнообразие, слово «игра» с примечательным постоянством ассоциируется у нас с одними и теми же идеями — раскованности, риска или умелости. А главное, игра непременно несет с собой атмосферу отдыха или развлечения. Игра успокаивает и забавляет. Она означает такую деятельность, где нет стеснения, но нет и последствий для реальной жизни. Она противостоит серьезности этой жизни и оттого считается чем-то легкомысленным. Она противостоит также и труду, как потерянное время — времени разумно используемому. В самом деле, игра ничего не производит: ни материальных благ, ни духовных творений. Она по сути своей бесплодна. В каждой новой партии, даже если ставкой служит вся их жизнь, игроки опять начинают с нуля, в тех же условиях, что и в самом начале. Не составляют исключения и денежные игры, тотализаторы или лотереи: они не создают богатств, а лишь перемещают их из рук в руки.

Эта фундаментальная «пустота» игры — черта, которая более всего вредит ее репутации. Одновременно она позволяет с беспечностью предаваться игре и поддерживает ее изоляцию от продуктивных видов деятельности. То есть каждый изначально понимает, что игра — это всего лишь приятная прихоть и пустая забава, с каким бы тщанием в нее ни играли, какие бы наши способности она ни приводила в действие, какой бы строго упорядоченной она ни была. Это хорошо иллюстрирует следующая фраза Шатобриана: «В спекулятивной геометрии есть свои бесполезные игры, как и в других науках».

Представляется особенно показательным, что выдающиеся историки, в результате глубоких исследований, и весьма добросовестные психологи, в итоге систематических, многократно повто-

ренных наблюдений, сочли нужным рассматривать дух игры как одну из важнейших движущих сил, воздействующих на развитие высших проявлений культуры общества, на моральное воспитание и интеллектуальный рост индивида. Незначительность игры, которой можно пренебречь, столь неправдоподобно контрастирует с огромной важностью результатов, которые вдруг оказываются с нею связаны, что начинаешь думать, нет ли здесь просто парадокса, изошренного, но ни на чем не основанного.

Прежде чем рассматривать тезисы или предположения тех, кто восхваляет игру, мне представляется полезным подвергнуть анализу имплицитные представления, заложенные в понятии игры и проявляющиеся в различных не прямых употреблениях этого слова, когда оно применяется как метафора. Если игра действительно изначальная движущая сила цивилизации, то эти вторичные значения слова наверняка окажутся кое в чем поучительными.

Прежде всего, в одном из своих самых расхожих употреблений, наиболее близких к прямому смыслу, слово «игра» означает не только называемую так специфическую деятельность, но также и набор фигур, символов или орудий, необходимых для этой деятельности или для работы какого-то сложного комплекса. Например, словом *jeu* [«игра»] французы называют карточную колоду, то есть набор карт, или же набор шахматных фигур, необходимых для игры в шахматы. Это полный, подпадающий пересчету комплект: достаточно одного недостающего или лишнего элемента, чтобы игра стала невозможной или неправильной, — если только удаление одного или нескольких элементов не объявлено заранее с каким-то определенным намерением; например, из карточной колоды удаляют джокера, а в шахматной игре дают фору, снимая с доски какую-либо фигуру, чтобы уравнивать силы двух игроков. Точно так же словом *jeu* можно назвать оснастку органа (совокупность его труб и клавиш) или рангоут судна [*jeu de voiles*] — полный комплект его различных парусов. Такая идея замкнутой, изначально полной и несбылемой целостности, задуманной так, чтобы она работала без всякого внешнего воздействия, кроме той энергии, что дала ей исходный толчок, — несомненно, образует важное нововведение в мире, который по природе своей подвижен, чьи исходные элементы практически неисчислимы, да к тому же непрестанно превращаются друг в друга.

Слово «игра» обозначает также стиль, исполнительскую манеру музыканта или актера, то есть характерные особенности, которые отличают от других его способ играть на музыкальном инструменте или исполнять роль на сцене. Связанный нотами или текстом роли, он все же до некоторой степени волен выказывать свою личность неподражаемыми оттенками или вариациями.

Таким образом, слово «игра» сочетает в себе идеи пределов, свободы и изобретательности. В другом, соседнем смысловом реги-

стре оно выражает своеобразное смешение или сопряжение взаимодополняющих представлений об удаче и умелости, о ресурсах, получаемых благодаря счастливому случаю, и об их более или менее разумном использовании, с целью извлечь максимальную выгоду. Первому представлению соответствует выражение «иметь все козыри на руках» [*avoir beau jeu*], второму же — такие, как «вести точную игру» [*jouer serré*], «стараться переиграть» [*jouer au plus fin*]; наконец, есть и такие — скажем, «показывать свои карты» [*montrer son jeu*] или, наоборот, «скрывать свои козыри» [*dissimuler son jeu*], — которые отсылают к обоим представлениям вместе, в них слово «игра» означает и исходный капитал, и умелое развертывание продуманной стратегии.

К этим сложно переплетенным элементам добавляется еще и идея риска: оценка наличных ресурсов, расчет предвидимых возможностей начинают сопровождаться иным видом спекуляции — чем-то вроде пари, предполагающего сравнение принимаемого риска и предполагаемого результата. Отсюда выражения «ставить на кон» [*mettre en jeu*], «играть по-крупному» [*jouer gros jeu*], «рисковать всем оставшимся, карьерой, жизнью» [*jouer son reste, sa carrière, sa vie*], или же констатация, что «игра не стоит свеч», то есть что максимальный выигрыш, которого можно ожидать от партии, остается меньше, чем стоимость ее освещения.

Игра вновь предстает чрезвычайно сложным понятием, где связываются вместе фактическая данность, благоприятный или неудачный расклад карт, которым властвует случай и который игрок получает как бы в удачное или неудачное наследство и никак не может на него повлиять; умение наилучшим образом распорядиться этими неравными ресурсами, которые можно приумножить прозорливым расчетом или же бесплодно расточить по небрежности; наконец, выбор между осторожностью и дерзостью, который определяется последним параметром — тем, насколько игрок готов делать ставку на неподвластные ему факторы, а не на то, что он может контролировать.

Любая игра есть система правил. Ими определяется то, как «играют» [*de jeu*], а как «не играют», то есть что разрешается, а что запрещается. Эти конвенции одновременно произвольны, императивны и безапелляционны. Их ни под каким предлогом нельзя нарушать, иначе игра немедленно кончается и уничтожается самим фактом ее нарушения. Ибо игра поддерживается прежде всего желанием играть, то есть готовностью соблюдать правила. Следует «играть по правилам» [*jouer le jeu*] или не играть совсем. Но выражение «играть по правилам» употребляется и вдали от игровых ситуаций, даже главным образом вне таких ситуаций — говоря о многочисленных поступках или обменах, на которые мы пытаемся распространить подразумеваемые конвенции, сходные с игровыми.

Им надлежит повиноваться тем более строго, что нечестный игрок не подвергается никаким официальным санкциям. Просто, перестав играть по правилам, он вернулся к природному состоянию и вновь сделал возможными любые бесчинства, хитрости и запрещенные приемы, исключить которые по общему согласию как раз и было задачей конвенций. В данном случае игрой называется комплекс добровольных ограничений, принимаемых по собственной охоте и устанавливающих стабильный порядок, — иногда это целое молчаливое законодательство в беззаконном мире.

Наконец, словом «игра» выражается идея широты, легкости движения, полезной, но не чрезмерной свободы — когда говорят о «зазоре» [jeu] в механическом соединении или о том, что судно «пляшет» [joue], стоя на якоре. Такая широта обеспечивает необходимую подвижность. Механизм может работать благодаря зазору между различными его частями. С другой стороны, этот зазор не должен быть слишком велик, иначе машина разболтается. Точно вычисленный зазор не дает ей ни заедать, ни сбиваться с правильного хода. Итак, «игра» означает некую свободу, которая должна сохраняться даже внутри строгого порядка, чтобы он мог обрести или сохранить эффективность. Собственно, и весь механизм может рассматриваться как своего рода «ход» [jeu] — в другом значении слова, которое определяется в словаре следующим образом: «регулярное и согласованное движение различных частей машины». Действительно, машина сложена, словно пазл, из деталей, задуманных так, чтобы сочетаться и действовать согласуно друг с другом. А внутри этой игры, всецело основанной на точности, завязывается другая игра, которая сообщает ей жизнь и сама является уже игрой другого рода. Первая игра — это безукоризненная подгонка деталей, как в часах; вторая же — это гибкость и свобода движения.

Все эти разнообразные и богатые значения показывают, каким образом не сама игра, но выражаемые и развиваемые ею психологические установки действительно могут служить важными факторами цивилизации. В общем и целом эти различные смыслы включают в себя понятия целостности, правильности и свободы. Один из них соотносит наличие пределов с возможностью выдумки в этих пределах. Другой проводит различие между ресурсами, наследуемыми от судьбы, и искусством добиваться победы с помощью лишь тех ресурсов, которые принадлежат нам индивидуально-неотчуждаемо, которые зависят лишь от личного усердия и упорства. Третий образует оппозицию расчета и риска. Наконец, последний говорит нам об императивных законах игры, которые, однако, не подкрепляются никакими санкциями, кроме самого их разрушения, или же указывает на то, что в рамках самой плотной и точной экономики следует оставлять какую-то пустоту или возможность свободы.

Бывает, что границы смазываются, а правила размываются, а бывает и наоборот, что близки к исчезновению свобода и выдумка. Но «игра» означает сохранение обоих полюсов и некоего отношения между ними. Она предлагает и распространяет абстрактные структуры, замкнуто-заповедные образы и области, где могут развиваться идеальные состязания. Такие структуры и состязания служат образцами для реальных учреждений и поступков. Конечно, они не могут прямо прилагаться к действительности, которая всегда смутна и неоднозначна, сложна и неисчислима. В ней людям нелегко совладать со своими интересами и страстями. В ней обычным делом являются насилие и предательство. Однако предлагаемые играми образцы — это попытки предвидеть тот упорядоченный мир, которым следует заменить природную анархию.

Такова в общих чертах аргументация, например, Хэйзинги, который выводит из духа игры большинство институтов, регулирующих жизнь общества, или дисциплин, способствующих его славе. В эту категорию бесспорно включается право: кодекс законов — это правила социальной игры, юриспруденция распространяет их на спорные случаи, а юридической процедурой определяется последовательность и порядок ходов. Принимаются специальные меры к тому, чтобы все происходило с четкостью, точностью, чистотой и беспристрастием игры. Судебные прения и вынесение приговора происходят в специальном месте, следуя неизменному церемониалу, и это отчасти напоминает, соответственно, выделение для игры особого сектора (замкнутой площадки, дорожки или арены, шахматной или шашечной доски и т. д.), абсолютную изоляцию, которой он должен отделяться от остального пространства на время партии или судебного слушания, наконец, действующие при этом жесткие, сугубо формальные правила.

В политике, в промежутках между силовыми переворотами (*при которых больше не играют по правилам*), также существует правило перехода власти, которую получают противоположные партии, сменяя одна другую при одних и тех же условиях. Правящая команда ведет игру по правилам, то есть следуя установленному порядку и не злоупотребляя временной выгодой своего положения у власти, не пользуясь ею для того, чтобы уничтожить противника или отнять у него всякую возможность законными средствами прийти ей на смену. Иначе открывается путь к заговорам и мятежам. Тут уже все сводится к грубому силовому противоборству, не сдерживаемому больше хрупкими конвенциями, следствием которых было распространение на политическую борьбу ясных, беспристрастных и неоспоримых правил, вводящих соперничество в рамки.

Так же обстоит дело и в области эстетики. В живописи законы перспективы в значительной мере условны. Ими порождаются привычки, благодаря которым они начинают казаться естественными.

Сходным образом и законы гармонии в музыке, и законы просодии и метрики в стихосложении, и иного рода ограничения, единства или каноны в скульптуре, хореографии или театре представляют собой различные более или менее эксплицитные и детальные системы законоуложений, которые одновременно и ведут и сдерживают творца. Это словно законы игры, в которую он играет. С другой стороны, они вызывают к жизни общий и опознаваемый стиль, где примиряются и уравнивают друг друга разнородность вкусов, борьба с техническими трудностями и прихотью гения. В этих правилах есть нечто произвольное, и любому, кто сочтет их странными и стеснительными, не возбраняется отвергнуть их и писать картины без перспективны, слагать стихи без рифмы и метра, сочинять музыку, не пользуясь принятыми аккордами. Поступая так, он перестает играть по правилам и способствует разрушению игры, ибо правила эти, как и в игре, существуют лишь постольку, поскольку их соблюдают. Однако одновременно их отрицанием задаются критерии какого-то будущего совершенства, какой-то другой игры, чей еще не сложившийся кодекс когда-то и сам станет тираническим, начнет сковывать творческие дерзания и пуще прежнего претить кощунственным фантазиям. В любом разрыве с традицией, упраздняющем некий общепринятый запрет, уже очерчивается другая система, столь же строгая и столь же произвольная.

Даже и сама война не является областью чистого насилия — она стремится быть областью упорядоченного насилия. Существуют конвенции, которыми военные действия ограничиваются во времени и пространстве. Эти действия начинаются с объявления войны, торжественно определяющего день и час, с которых вступает в действие новое состояние вещей. Они завершаются подписанием перемирия или акта капитуляции, которыми столь же точно определяется их конец. Другие ограничения не допускают военных операций против гражданского населения, против открытых городов, пытаются запретить применение определенных видов оружия, гарантируют гуманное обращение с ранеными и пленными. В эпоху так называемых куртуазных войн условной была даже стратегия. Марши и контрмарши расчислялись и выстраивались подобно шахматным комбинациям, и иные теоретики даже считали, что для победы нет необходимости в сражениях. Такие войны очевидно сродни своеобразной игре — игре смертельной, разрушительной, но идущей по правилам.

В этих примерах заметно влияние или отпечаток игрового принципа или по крайней мере конвергенция с характерными для него устремлениями. Здесь даже можно усматривать прогресс цивилизации, поскольку та заключается в переходе от первозданно-грубого мира к миру управляемому, основанному на стройной и урав-

новешенной системе либо прав и обязанностей, либо привилегий и ответственности. Игра задает и подкрепляет это равновесие. Она постоянно являет нам образ чистой, автономной среды, где добровольно соблюдаемые всеми правила никому не приносят ни преимуществ, ни ущерба. Она образует островок ясности и совершенства — правда, всегда ничтожно малый и неустойчивый, который всегда можно упразднить и который исчезает сам собой. Но, оставая за своими пределами важнейшие вещи, это быстролетное время и редко встречающееся место все же обладают ценностью образа.

Состязательные игры развиваются в спорт, подражательно-иллюзионные игры предвещают собой театральные зрелища. Азартно-комбинаторные игры послужили основой для многих достижений в математике, от теории вероятности до топологии. Как мы видим, панорама культурной продуктивности игр поистине впечатляет. Не менее значительно и их воздействие на индивида. Психологи признают за ними важнейшую роль в процессе самоутверждения ребенка и формирования его характера. В своих играх он проявляет и тренирует силу, ловкость, расчетливость. Они делают его тело крепче и выносливее, его зрение — острее, его пальцы — чувствительнее, его ум — методичнее или изобретательнее. Каждая игра усиливает, обостряет какую-то физическую или интеллектуальную способность. Посредством удовольствия и настойчивости она делает легким то, что поначалу было трудным или изнурительным.

Вопреки часто встречающимся утверждениям, игра не есть обучение труду. Она лишь внешне превосхищает собой работу взрослых. Мальчик, играющий в лошадку или в паровоз, отнюдь не готовится стать наездником или машинистом, а девочка, готовящая фиктивные блюда из воображаемых продуктов и иллюзорных приправ, не собирается сделатья кухаркой. Игра не готовит к какому-либо определенному ремеслу, она вводит ребенка во всю целостность жизни, развивая в нем всевозможные способности к преодолению препятствий и борьбе с трудностями. Метать как можно дальше молот или металлический диск или же без конца ловить и отбивать ракеткой мячик — абсурдно и бесплодно в реальности. Зато полезно иметь сильные мускулы и быстрые рефлексы.

Конечно, игра предполагает стремление выиграть, наилучшим образом используя эти ресурсы и не допуская запрещенных приемов. Но она требует и большего: нужно превосходить соперника в рыцарстве, принципиально оказывать ему доверие и сражаться с ним без враждебности. Нужно также заранее принимать возможность неудачи, невезения или роковой ошибки, без гнева и отчаяния признавать свое поражение. Кто злится или хнычет, тот дискредитирует себя. Действительно, коль скоро каждая партия является абсолютным началом, то ничего не потеряно, и игроку следует не жаловаться и не расстраиваться, а удваивать свои усилия.

Игра призывает и приучает учиться этому самообладанию и практиковать его во всех сношениях и превратностях человеческой жизни, где состязание уже не бескорыстно, а последствия ударов судьбы уже не ограничены. Подобная отрешенность от результата действий, пусть даже она остается лишь внешней и ее всякий раз приходится доказывать заново, — немалое достоинство. Конечно, такую аристократическую непринужденность проще сохранять в игре, где она в некотором смысле обязательна и где самолюбие как бы изначально соглашается соблюдать ее требования. Однако игра лишь приводит в действие различные преимущества, которые каждый может получить от судьбы: свое особенное упорство, неумолимость и непреложность удачи, дерзкий риск и расчетливую осмотрительность, способность сопрягать эти различные виды игры, которая сама по себе является игрой, причем игрой высшего разряда, особо сложной, ибо это искусство с пользой объединять трудно сочетаемые силы. В этом смысле ничто так, как игра, не требует внимания, ума и крепости нервов. Доказано, что она приводит человека в состояние своеобразного накала, оставляя его обессиленным и изнуренным, когда минуют высшая точка, решающее упражнение, предельное достижение, которых добиваются словно чудом, благодаря мастерству и напряжению. Здесь также высокой заслугой является отрешенность. Все равно как с улыбкой принять свой полный проигрыш после неудачного броска костей или неудачно выпавшей карты.

Кроме того, следует принимать в рассмотрение головокружительные игры, то сладостное содрогание, которое охватывает игрока, когда прозвучит фатальное «ставки сделаны». Это объявление кладет конец его свободной воле и выносит безапелляционный приговор, избежать которого зависело лишь от него: ведь можно было и не играть. Возможно, иные припишут некую парадоксальную морально-воспитательную ценность этому добровольно принимаемому глубокому расстройству души. Получать удовольствие от паники, по собственной охоте подвергать себя ей, пытаясь ей не поддаваться, перед лицом проигрыша знать о его неминуемости и оставлять себе единственный выход, деланное равнодушие, — это, как говорит Платон по поводу другого рода пари, прекрасная опасность, которой стоит подвергнуться.

Лойола учил, что следует действовать, полагаясь только на себя, как будто Бога не существует, но при этом постоянно помнить о том, что все зависит от его воли. Не менее суровые уроки преподает и игра. Она требует от игрока ничем не пренебрегать ради победы, при этом сохраняя отрешенность от нее. Выигранное может быть вновь проиграно — и даже обречено быть проиграно. То, как одержана победа, важнее самой победы, и во всяком случае важнее, чем сумма выигрыша. Принимать поражение как случайную неудачу, а победу — без упоения и тщеславия — такая дистантность, пре-

дельная сдержанность по отношению к собственному действию есть закон игры. Рассматривать реальность как игру, отвоевывать все новые территории для этих благородных манер, оттесняя мелочную скупость, алчность и ненависть, — это и есть процесс цивилизации.

Эта речь в защиту игры требует и самоопровержения, где будут кратко указаны ее слабости и опасности. Игра есть своего рода роскошь, деятельность, предполагающая досуг. Тому, кто голоден, не до игры. Во-вторых, поскольку она востребована и поддерживается лишь получаемым от нее удовольствием, то она беззащитна против скуки, пресыщения или просто перемены настроения. С другой стороны, она обречена ничего не создавать и не производить, ибо ей присуще аннулировать свои результаты, в то время как труд и познание капитализируют их и мало-помалу преобразуют мир. Кроме того, она развивает суеверное почтение к форме в ущерб содержанию, а это может стать маниакальной страстью, соединяясь с духом этикета, сословной чести или казуистики, с крючкотворством бюрократической или судебной процедуры. Наконец, игра сама выбирает себе трудности, выделяет их из контекста и как бы *ирреализует* их. От того, будут они преодолены или нет, зависит лишь одинаково идеальное удовлетворение или разочарование. Если привыкнуть к такой несерьезности, можно впасть в заблуждение относительно суровости настоящих испытаний. Игра приучает брать в расчет лишь отвлеченные и четко определенные условия, выбор между которыми тоже по необходимости абстрактен. Одним словом, игра, конечно, основана на удовольствии от преодоления препятствий, но препятствий произвольных, почти фиктивных, посильных для игрока и принимаемых им. Реальность не столь деликатна.

В этом — главный недостаток игры. Но он обусловлен самой ее природой, и без него игра была бы лишена и своей плодотворной силы.

Secundum secundatum*

I. Определение игры

В 1933 году ректор Лейденского университета Й. Хейзинга избрал темой своей торжественной речи «Границы игры и серьезности в культуре». Ее основные идеи он повторил и разработал в оригинальном и внушительном труде, опубликованном в 1938 году, «*Homo ludens*». Эта книга, хоть и спорная в большинстве своих утверждений, тем не менее способна открыть пути для плодотворнейших исследований и размышлений. Во всяком случае, за Й. Хейзингой надолго осталась репутация автора, основательно проанализировавшего некоторые фундаментальные черты игры и доказавшего важность ее роли в развитии цивилизации. С одной стороны, его задачей было точно определить главную природу игры; с другой стороны, он старался выявить то животворное игровое начало, которое заложено в основных проявлениях любой культуры: в искусстве и философии, в поэзии и юридических установлениях, даже в некоторых аспектах куртуазной войны.

Хейзинга блестяще справился с этим доказательством, но, обнаруживая игру там, где до него не умели распознать ее присутствие или влияние, он зато намеренно пренебрегает, как чем-то самоочевидным, описанием и классификацией самих игр, как будто все они отвечают одинаковым потребностям и выражают одно и то же психологическое настроение. Его книга — не исследование игр, а исследование продуктивности игрового духа в области культуры, особенно духа одной специальной разновидности игр — упорядоченных состязательных игр. Рассматривая исходные формулировки, которыми пользуется Хейзинга, чтобы очертить поле своего анализа, можно понять странные пробелы, присутствующие в его замечательном во всех отношениях исследовании. Хейзинга следующим образом определяет игру:

«Суммируя эти наблюдения с точки зрения формы, мы можем теперь назвать игру свободной деятельностью, которая осознается

* Следуя второстепенному (*лат.*). — *Примеч. пер.*

как „незавправду“ и вне повседневной жизни выполняемое занятие, однако она может целиком овладевать играющим, не преследует при этом никакого прямого материального интереса, не ищет пользы, — свободной деятельностью, которая совершается внутри намеренно ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по определенным правилам и вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие окружать себя тайной либо подчеркивающие свое отличие от прочего мира всевозможной маскировкой»¹.

Подобное определение, в котором все слова очень важны и полны смысла, одновременно и слишком широко, и слишком узко. Важной и плодотворной заслугой автора является то, что он уловил сродство игры с секретом или тайной, но это их сообщничество все же не должно было входить в состав дефиниции, ибо игра почти всегда носит зрелищный, даже показательный характер. Конечно, секрет, тайна, даже переоблачение могут включаться в состав игровой деятельности, но сама эта деятельность неизбежно осуществляется в ущерб тайне и секрету. Она выставляет их напоказ, предалает гласности и в каком-то смысле *растрчивает*. Одним словом, в тенденции она лишает их собственной природы. Напротив, когда секрет, маска, переодевание выполняют некоторую сакраментальную функцию, можно быть уверенным, что перед нами не игра, а социальный институт. Все, что по природе является таинством или симуляцией, близко к игре; но нужно еще, чтобы в нем преобладало фиктивно-развлекательное начало, то есть чтобы тайна не была чтимой, а симуляция не обозначала и не начинала собой метаморфозу или одержимость.

Во-вторых, та часть определения Хейзинги, где игра представляется как деятельность вне всякого материального интереса, исключает из него тотализаторы и азартные игры, то есть, например, игорные дома, казино, ипподромы, лотереи, которые, хорошо это или плохо, но занимают значительное место в экономике и повседневной жизни ряда народов. Формы таких игр бесконечно разнообразны и являют собой впечатляющее постоянство отношений между случайностью и выгодой. Азартные игры, которые также яв-

¹ Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 24. (Примеч. пер.) Ниже (на с. 41 русского издания. — Примеч. пер.), находится другое определение, не столь богатое, но не менее ограниченное: «Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием „иного бытия“, нежели „обыденная“ жизнь».

ляются денежными играми, не занимают практически никакого места в книге Хейзинги. Такая предвзятость не обходится без последствий.

В то же время у нее есть свое объяснение. Ясно, что доказать культурную продуктивность азартных игр гораздо труднее, чем игр состязательных. Влияние азартных игр очень велико, даже если и считать его негативным. Кроме того, не принимая их в расчет, мы приходим к такому определению игры, в котором утверждается или подразумевается, что она не влечет за собой никакой экономической заинтересованности. На самом деле следует проводить различие. В некоторых своих проявлениях игра, напротив, является и призвана быть в высшей степени обогащающей или разорительной. Но, несмотря на это, игра даже в своей денежной форме остается абсолютно непроизводительной. Сумма выигрыша даже в лучшем случае может быть лишь равна сумме проигрыша других игроков. В действительности она почти всегда меньше ее, из-за организационных расходов, налогов и прибыли организатора игры — того, кто единственный не играет или же чья игра защищена от капризов случая законом больших чисел, то есть кто единственный не может получать удовольствия от игры. *Происходит перемещение собственности, но не производство новых благ*. Более того, это перемещение затрагивает одних лишь игроков и лишь постольку, поскольку они соглашаются — свободным решением, возобновляемым при каждой партии, — с возможностью такого переноса. Действительно, характерная черта игры в том, что она не создает никакого богатства, никакого произведения. Этим она отличается от труда и художественного творчества. В конце партии все может или должно начинаться заново, и в ходе ее не возникает ничего нового: не собирается урожай, не изготавливаются какие-либо изделия, не создаются шедевры, не растет капитал. Игра служит поводом к чистой трате: трате времени, энергии, хитрости, ловкости, а зачастую и денег — на покупку игровых принадлежностей и в некоторых случаях на наем помещения. Что же касается профессиональных боксеров, велогонщиков, жокеев или актеров, которые на ринге, велодроме, ипподроме или подмостках зарабатывают себе на жизнь и которые должны думать о призовом фонде, зарплате или гонораре, то в этом отношении они, разумеется, вовсе не игроки, а ремесленники. Играют они в иные игры.

С другой стороны, нет сомнения, что игру должно рассматривать как свободную и добровольную деятельность, источник радости и забавы. Если бы в игре приходилось участвовать поневоле, она сразу же перестала бы быть игрой: она сделалась бы обязанностью, тяжким долгом, от которого все спешили бы отделаться. Осуществляемая по обязанности или даже просто по совету извне, игра теряла бы одну из своих фундаментальных черт — то, что игрок предается ей произвольно, по собственному хотению и ради собст-

венного удовольствия, всегда будучи волен не играть, а отойти в сторону, промолчать, уйти в себя, в праздное одиночество или же в полезную деятельность. Отсюда определение игры, которое предлагает Валери: это когда «завязанное увлечением может быть развязано скукой»¹. Игра бывает лишь тогда, когда игрокам хочется играть, когда они играют — быть может, в самую захватывающую и изнурительную игру — с целью развлечься и забыть свои заботы, то есть удалиться от обычной жизни. А кроме того, и это главное, нужно, чтобы они были всегда вольны выйти из игры, сказать: «Я больше не играю».

В самом деле, игра — это занятие по сути своей обособленное, тщательно изолированное от остальной жизни и обычно осуществляемое в строго определенных временных и пространственных рамках. У игры бывает свое пространство — в зависимости от разных игр это могут быть начерченные на земле «классы», шахматная или шашечная доска, стадион, беговая дорожка, площадка для рыцарского турнира, ринг, сцена, арена и т. д. Здесь не принимают в расчет ничего происходящего по ту сторону границы. Ошибочный, случайный или вынужденный выход за рамки игрового пространства, выбивание мяча за пределы поля влекут за собой либо дисквалификацию, либо штрафной удар.

Игру следует начинать с условной черты. То же самое и во времени — партия начинается и заканчивается по сигналу. Часто ее длительность фиксируется заранее. Считается позорным бросать или прерывать игру без уважительной причины (скажем, в детских играх кричат «чур меня»). Если нужно, ее продолжают сверх установленного времени по согласию противников или по решению арбитра. Во всех таких случаях область игры выступает как отдельный, замкнутый, защищенный мир, как чистое пространство.

В этом очерченном пространстве и выделенном времени сложные и запутанные законы обычной жизни заменяются точными, произвольно установленными и не подлежащими отмене правилами, которые следует принимать безоговорочно и которыми обеспечивается правильное развитие игры. Даже если игрок жульничает, он все-таки делает вид, что соблюдает правила. Он не оспаривает их — он злоупотребляет доверием других игроков. В этом смысле следует согласиться с теми, кто подчеркивал, что нечестность такого игрока не разрушает игру. Разрушает ее тот, кто отрицает игру, кто обличает абсурдность, сугубую произвольность ее правил, кто отказывается играть, потому что игра не имеет никакого смысла. Его доводы неопровержимы. У игры нет другого смысла,

¹ VALÉRY P. *Tel quel*. II. Paris, 1943. P. 21.

кроме нее самой. Собственно, потому-то ее правила так императивны и непреложны и не допускают никакого обсуждения. У них нет никакой причины быть именно такими, а не иными. Тот, кто не согласен с таким их характером, неизбежно должен счесть их чем-то явно несообразным.

Люди играют лишь если хотят, лишь тогда, когда хотят, лишь столько, сколько хотят. В этом смысле игра — свободная деятельность. Кроме того, это еще и деятельность с неопределенным исходом. Ее развязка должна до конца оставаться сомнительной. Когда в карточной игре исход партии становится несомненным, игру прекращают — все открывают свои карты. В лотерее или в рулетке делают ставки на какой-то номер, который может выиграть, а может и нет. В спортивном соревновании силы соперников должны быть уравновешены, чтобы каждый из них мог стремиться к успеху до конца. В любой игре на ловкость у игрока по определению остается риск промахнуться, опасность потерпеть неудачу, иначе игра перестала бы развлекать. И действительно, она не развлекает тех, кто слишком опытен или слишком ловок, а потому выигрывает легко и наверняка.

С природой игры несовместимо заранее известное развитие, в котором невозможны ошибки и неожиданности, которое с очевидностью ведет к неизбежному итогу. Нужно, чтобы ситуация вновь и вновь непредвиденно менялась, как это происходит при каждой атаке и контратаке в футболе или фехтовании, при каждой подаче в теннисе или с каждым ходом в шахматах. Игра заключается в том, что необходимо сразу находить, придумывать ответ, *который свободен в пределах правил*. Эта свобода игрока, пространство для маневра, которым он располагает, — важнейшее свойство игры, и им отчасти объясняется доставляемое ею удовольствие. Им же объясняются и такие важные и характерные употребления слова «игра», как в выражениях «игра артиста на сцене» или «ззор [jeu] между частями механизма», обозначающих в одном случае личный стиль исполнения, а в другом — неплотную подгонку деталей.

Есть много игр, где нет правил. Так, не бывает сколько-нибудь устойчивых и жестких правил для игры в куклы, в солдатика, в «казак-разбойники», в лошадку, в паровоз, в самолет — вообще, для таких игр, которые предполагают вольную импровизацию и привлекают прежде всего удовольствием играть какую-то роль, вести себя *как если бы* ты был кем-то или даже чем-то другим, например машиной. Хотя такое утверждение и может показаться парадоксальным, я бы сказал, что в подобных случаях фиктивное поведение («понарошку») заменяет собой правила и выполняет точно ту же функцию. Ведь правила сами по себе создают некую мнимую ситуацию.

Играющий в шахматы, в салки¹, в поло или в баккара уже самым фактом соблюдения правил соответствующей игры отделяется от обычной жизни, где нет такой деятельности, которую бы эти игры пытались точно воспроизводить. Поэтому в шахматы, салки, в поло, в баккара играют *всерьез*, а не «понарошку». Напротив, всякий раз когда игра заключается в подражании жизни, то, с одной стороны, игроки не могут придумывать и соблюдать правила, каких нет в реальности, а с другой стороны, такая игра сопровождается сознанием того, что данное поведение — всего лишь мимическое подобие. Такое сознание глубинной ирреальности принятого поведения отделяет игру от обычной жизни, заменяя произвольные правила, характерные для других игр. Эта эквивалентность влечет за собой, помимо прочего, и такое следствие: игру расстраивает теперь уже не тот, кто разоблачает бессмысленность правил, а тот, кто рассеивает чары и грубо отказывается принимать предлагаемую иллюзию, кто напоминает мальчику, что он ненастоящий сыщик или пират, ненастоящая лошадь или подводная лодка, или же девочке — что она баюкает ненастоящего ребенка и подает на своих тарелочках ненастоящую еду ненастоящим дамам.

Итак, игры не являются регулярными и фиктивными. Скорее можно сказать, что они или регулярны, или фиктивны. И если какая-то регулярная игра в тех или иных обстоятельствах кажется не знающему ее правил занятием серьезным и непонятным, то есть частью обычной жизни, то для такого озадаченного, но любопытного чужака она тут же может послужить канвой для развлечения и симуляции. Легко понять, почему дети, силясь подражать взрослым, переставляют наугад реальные или воображаемые фигуры на фиктивной шахматной доске и могут считать забавной такую игру «в шахматную игру».

Все эти соображения, призванные уточнить природу игры, найти наибольший общий знаменатель всех игр, одновременно и показывают все их многообразие, и заметно расширяют круг явлений, который обычно обследуют при их изучении. В частности, приведенные замечания заставляют включить в него две новые области: во-первых, тотализаторы и азартные игры, во-вторых, подражание и интерпретацию. И все же остается еще немало других игр и развлечений, которые остаются в стороне или описываются лишь приблизительно: например, воздушные змеи, волчки, пазлы, пасьянсы и кроссворды, карусели, качели и некоторые ярмарочные

¹ Имеется в виду jeu de barres — старинная командная игра, участники которой «берут в плен» и «освобождают» друг друга по сложным правилам. — *Примеч. пер.*

иттракционы. К ним еще надо будет вернуться. Пока же проведенный выше анализ позволяет определить игру в главных чертах как деятельность:

- 1) *свободную*, то есть ее нельзя сделать обязательной для игрока, чтобы игра тут же не утратила свою природу радостно-влекущего развлечения;
- 2) *обособленную*, то есть ограниченную в пространстве и времени точными и заранее установленными пределами;
- 3) *с неопределенным исходом*, то есть нельзя ни предопределить ее развитие, ни предугадать ее результат, поскольку необходимость выдумки оставляет некоторую свободу для инициативы игрока;
- 4) *непроизводительную*, то есть не создающую ни благ, ни богатств, вообще никаких новых элементов и, если не считать перемещения собственности между игроками, приводящую к точно такой же ситуации, что была в начале партии;
- 5) *регулярную*, подчиненную ряду конвенций, которые приостанавливают действие обычных законов и на какой-то момент учреждают новое законодательство, единственно действительное на время игры;
- 6) *фиктивную*, то есть сопровождаемую специфическим сознанием какой-то вторичной реальности или просто ирреальности по сравнению с обычной жизнью.

Все эти различные качества — чисто формальные. Они ничего не предсказывают в содержании игр. Однако тот факт, что два последних — регулярность и фиктивность — оказались почти взаимоисключающими, показывает, что описываемые ими явления имеют некую скрытую природу и теперь их требуется подвергнуть классификации, стремясь учитывать уже не те черты, которые отличают их от остальной реальности, но те, которые распределяют их по группам с оригинальной, уже ни к чему другому не сводимой спецификой.

II. Классификация игр

Игр существует так много и они так разнообразны, что поначалу кажется вообще невозможным найти какой-то принцип классификации, позволяющий распределить их все по немногочисленным и четко определенным категориям. Кроме того, у них столько разных аспектов, что можно рассматривать их со многих точек зрения. О нерешительности и неопределенности, в которых пребывает наш ум, хорошо свидетельствует обычная языковая лексика: в самом деле, в ней применяется несколько конкурирующих классификаций. Нет смысла противопоставлять друг другу карточные игры и игры

на ловкость, или же игры салонные и стадионные. Действительно, в одном случае в качестве критерия классификации берется инструмент игры, в другом — основное качество, которое для нее потребно, в третьем — число участников и атмосфера во время партии, наконец, в последнем — место, где происходит состязания. Кроме того, — чем еще более осложняется дело — в одну и ту же игру могут играть один или несколько человек. Одна и та же игра может мобилизовать сразу несколько качеств или же не требовать ни одного.

В одном и том же месте можно играть в весьма различные игры: развлечениями на открытом воздухе служат и деревянные лошадки, и диаволо, но ребенок, пассивно наслаждающийся увлекающим его вращением карусели, находится в ином состоянии духа, чем тот, кто пытается как можно точнее поймать на палочку подброшенное на веревочке кольцо. С другой стороны, во многие игры играют вообще без всяких инструментов и принадлежностей. Да еще одна и та же принадлежность может выполнять разные функции в зависимости от той или иной игры. Обычно шарики служат инструментом игры на ловкость, но один из игроков может отгадывать, четное или нечетное число их зажато в кулаке противника, — тогда они оказываются инструментом азартной игры.

Однако на этом последнем выражении следует задержаться. Им обозначается фундаментальная черта одного четко определенного разряда игр. Очевидно, что при игре на тотализаторе и в лотерею, в рулетку и в баккара игрок находится в одном и том же настроении. Он сам ничего не делает, а лишь ждет решения судьбы. Напротив, боксер, бегун, шахматист или игрок в классики прилагают все усилия для выигрыша. Неважно, что одни из этих игр — атлетические, а другие — интеллектуальные. Настроение игрока в них одно и то же — он старается победить соперника, поставленного в те же условия, что и он. Итак, представляется оправданным различать игры азартные и состязательные. А главное, становится интересно выяснить, нет ли каких-то других столь же фундаментальных настроений, дающих нам рубрики рациональной классификации игр.

* * *

Рассмотрев в этих целях различные возможности, я предлагаю разделить игры на четыре основные рубрики, в зависимости от преобладания важности в той или иной игре состязательности, случайности, симуляции или головокругения. Я буду называть их соответственно Agôn, Alea, Mimicry и Ilinx. Все четыре разряда, несомненно, принадлежат к области игр: мы *играем* в футбол, в шары или в шахматы (agôn), мы *играем* в рулетку или лотерею (alea), мы *играем* в пиратов, *играем* Нерона или Гамлета (mimicry), и мы *игра-*

ем, стремительным вращением или падением вызывая в себе органическое состояние смущения и расстройств (ilinx). Однако этими обозначениями еще не покрывается весь мир игры. Они делят его на четверти, в каждой из которых правит свой самобытный принцип. Они разграничивают секторы, где группируются однородные игры. Но внутри этих секторов различные игры размещаются в одинаковом порядке, согласно сходной прогрессии. Поэтому их можно также разместить между двумя противоположными полюсами. На одной оконечности почти безраздельно царит принцип развлечения, шалости, вольной импровизации и радостной беспечности; в них проявляется ничем не контролируемая фантазия, которую можно назвать *paidia*. На противоположной оконечности эти спонтанно-экспансивные проказы почти полностью поглощаются — или по крайней мере дисциплинируются — другой, дополнительной тенденцией, которая во многом, но не во всем обратна их капризно-анархической природе: это растущая потребность подчинять их произвольным, императивным и намеренно стеснительным конвенциям, все более и более скрывающимся и затрудняющим достижение желаемого результата. Сам этот результат остается совершенно бесполезным, хотя для него требуется прилагать все больше и больше усилий, терпения, ловкости или хитроумия. Такую вторую компоненту я буду называть *ludus*.

Прибегая к этим иноязычным наименованиям, я не намерен создавать какую-либо педантскую, совершенно бессмысленную мифологию. Просто необходимо было собрать разнородные явления под одной и той же этикеткой, и мне показалось, что экономнее всего сделать это, заимствуя из какого-то языка самое точное по значению и охвату слово, чтобы каждая из рассматриваемых групп не оказалась целиком обозначена отдельным качеством одного из своих образующих элементов, — что неизбежно случилось бы, если бы его название стало служить обозначением всей группы. Собственно, по мере моих попыток провести выбранную мной классификацию каждый сможет сам понять, какая необходимость заставила меня воспользоваться такой номенклатурой терминов, которая не отсылает слишком прямо к конкретному опыту и в каком-то смысле призвана разделить его по новому, еще не известному принципу.

С той же целью я старался приводить в качестве примеров каждой рубрики максимально разные на вид игры, чтобы лучше выявить их основополагающее родство. Я смешивал вместе игры телесные и умственные, основанные на силе и требующие ловкости или расчета. Я также не стал разграничивать внутри каждого класса детские и взрослые игры; а всякий раз, когда удавалось, я старался искать сходные типы поведения и в животном мире. Я стремился подчеркнуть сам принцип предлагаемой классификации: она казалась бы менее

значимой, если бы не было ясно видно, что устанавливаемые ею различия соответствуют неким сущностным и первичным побуждениям.

А) ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ

Agôn. — Целая группа игр представляет собой состязание, то есть борьбу, где искусственно создается равенство шансов и противники сталкиваются друг с другом в идеальных условиях, обеспечивающих точную и неоспоримую оценку одержанной победы. То есть во всех таких случаях имеет место соперничество, нацеленное на какое-то одно качество (быстроту, выносливость, силу, память, ловкость, хитрость и т. д.), применяемое в определенных рамках и без всякой помощи со стороны, так что победивший оказывается лучшим в данной категории достижений. Таково правило спортивных соревнований и их многочисленных подразделений, где сталкиваются друг с другом два индивида или две команды (поло, теннис, футбол, бокс, фехтование и т. д.) или же неопределенное число конкурентов (всевозможные гонки, соревнования по стрельбе, гольф, атлетика и т. д.). К тому же классу относятся и игры, в которых противники располагают в начале точно одинаковыми по числу и ценности исходными ресурсами. Отличными примерами могут служить шашки, шахматы, бильярд. Главным принципом соперничества с очевидностью является исходное равенство шансов, так что для игроков разного класса его даже восстанавливают с помощью *форы*, то есть в рамках изначально установленного равенства шансов вводится некое вторичное неравенство, пропорциональное предполагаемому соотношению сил между участниками. Показательно, что такой обычай существует как для мышечного агон'а (спортивных соревнований), так и для агон'а умственного (например, в шахматах, где слабейшему игроку дают вперед лишнюю пешку, коня, ладью).

Но сколь бы тщательно ни старались обеспечить равенство, его все же вряд ли можно установить абсолютно точно. Иногда, как в шашках или шахматах, преимущество дается правом первого хода, так как это первенство позволяет занять ключевые позиции на доске или навязать противнику свою стратегию. Наоборот, при играх с «торгом» выступающий последним пользуется теми сведениями, которые дают ему заявления противников. Также и в крокете возможности игрока умножаются, если он играет последним. При спортивных соревнованиях нередко такими же козырями или обузами, важностью которых порой нельзя пренебрегать, служат положение одной из команд лицом или спиной к солнцу, в направлении ветра или против него; а при беге или гонках по замкнутому контуру — положение на внешней или внутренней дорожке при виражах. Эти неизбежные нарушения равновесия устраняются или смягчаются

сначала выбором исходных позиций по жребию, а затем строгим чередованием, переходом привилегированного положения.

Каждый участник состязаний стремится доказать свое превосходство в данной области. Поэтому для занятий агон'ом требуются внимательность, специальная тренировка, настойчивость и воля к победе. Нужно быть дисциплинированным и упорным. Спортсмен может полагаться лишь на собственные ресурсы, должен как можно лучшим образом использовать их, наконец, обязан применять их честно и в установленных пределах, которые одинаковы для всех, поэтому делают неоспоримым превосходство победителя. Агон выступает как чистая форма личной заслуги и служит ее проявлению.

Уже за рамками или на самой границе игры дух агон'а можно встретить и в других явлениях культуры, подчиненных тому же кодексу: в дуэли, в рыцарском турнире, в некоторых постоянных и примечательных аспектах так называемой куртуазной войны.

В принципе, может показаться, что животные не могут знать агон'а, что они не понимают ни пределов, ни правил и лишь добиваются грубой победы в беспощадном бою. Конечно, здесь нельзя приводить в пример ни лошадиные скачки, ни петушиные бои — в этих видах борьбы сами люди заставляют соперничать специально дрессированных животных, согласно ими же установленным нормам. И все же, если учесть некоторые факты, представляется, что у животных уже имеется некая склонность противоборствовать друг с другом, и хотя в таких соревнованиях, как и следовало ожидать, нет правил, однако есть подразумеваемые и спонтанно соблюдаемые условные пределы. Например, так обстоит дело с котятками и щенятами, медвежатами и тюленятами, которые с удовольствием дерутся между собой, но стараются друг друга не ранить.

Еще более убедительный пример — привычки полорогих, которые, нагнув голову и упиравшись лбами, пытаются заставить противника отступить. Такого же рода товарищеские поединки практикуют и лошади, у которых есть еще и другой вид борьбы: чтобы помериться силами, они встают на дыбы и обрушиваются друг на друга, стараясь повалить противника мощным толчком сбоку. Точно так же наблюдениями зафиксировано множество игр на преследование, происходящих по вызову или приглашению. Зверю, которого догнал противник, не приходится опасаться от него никакого вреда. Особенно же выразителен, вероятно, случай молодых диких павлинов, которых называют «бойцовыми». Как пишет Карл Гроос¹, они выбирают себе для боя «более или менее возвышенное место, обязательно влажное и покрытое ровной травой, диаметром в пол-

¹ GROOS K. Les jeux des animaux. (Trad. franç.) Paris, 1902. P. 150—151.

тора-два метра». Там ежедневно сходятся молодые самцы. Пришедший первым дожидается противника, и начинается борьба. Борцы содрогаются и несколько раз склоняют голову. Перья у них встают дыбом. Они бросаются друг на друга, выставив вперед клюв, и наносят удары. *Они никогда не преследуют друг друга и не борются вне площадки, отведенной для турнира.* Поэтому, а также в силу предыдущих примеров, мне кажется правомерным употреблять здесь термин *agôn*, ибо ясно, что в таких схватках задачей каждого противника является не нанести значительный ущерб сопернику, а доказать собственное превосходство. Люди лишь тоньше и точнее разрабатывают это правило.

У детей, в процессе утверждения личности и еще до появления состязаний по правилам, часто встречаются странные противоборства, когда противники стараются превзойти друг друга в выносливости. Они, например, состязаются, кто дольше сможет глядеть на солнце, терпеть щекотку, задержать дыхание, не моргать глазами и т. д. Иногда задача еще серьезнее: нужно выдерживать голод или боль, в форме порки, щипков, уколов, ожогов. Все эти «аскетические» игры, как их называют, служат преддверием по-настоящему суровых испытаний. Они предвещают собой жестокости и издевательства, которые приходится переживать подросткам при инициации. Тем самым они отдаляются от *agôn*'а, который позднее обретает свои чистые формы — либо в собственно состязательных играх и видах спорта, либо в таких играх и спортивных упражнениях, которые нацелены на решение трудных задач (охота, альпинизм, кроссворды, шахматные задачи и т. д.), когда соперники, не сталкиваясь непосредственно друг с другом, постоянно участвуют в каком-то грандиозном, диффузном конкурсе.

Alea — По-латыни так называется игра в кости. Здесь я использую это слово для обозначения любых игр, которые, в отличие от *agôn*'а, основаны на решении, не зависящем от игрока и никак не подконтрольном ему, то есть в которых требуется переиграть не столько противника, сколько судьбу. Точнее сказать, судьба единственно и определяет победу, и, когда такая победа свершается, она даже при наличии соперничества означает лишь то, что победителю более, чем побежденному, благоприятствовала судьба. Наиболее чистые примеры этой категории игр дают кости, рулетка, орлянка, баккара, лотерея и т. д. В них не только не стремятся устранить несправедливость случая, но именно его произвол и образует единственную движущую силу игры.

Alea отмечает и выявляет собой милость судьбы. При этом игрок всецело пассивен, не выказывает никаких достоинств или способностей, возможностей своей ловкости, силы, ума. Он лишь ждет

с надеждой и трепетом рокового решения. Он рискует некоторой ставкой. Справедливость — здесь к ней также стремятся, но по-иному, и здесь она также должна осуществляться в идеальных условиях — вознаграждает игрока строго пропорционально риску. Если в предыдущем случае со всем тщанием старались уравнивать шансы конкурентов, то в нынешнем столь же тщательно стараются уравновесить риск и выгоду.

В противоположность *agôn*'у, *alea* отрицает труд, терпение, ловкость, квалификацию; в ней упраздняются профессиональное умение, регулярность, тренировка. В ней мгновенно отменяются все их результаты. Судьба здесь либо всецело враждебна, либо абсолютно милостива. Удачливому игроку такая игра приносит несравненно больше, чем может принести целая жизнь, проведенная в труде, дисциплине и усталости. Она представляет собой какую-то наглую и властную насмешку над личными заслугами. От игрока здесь требуется настроение диаметрально противоположное тому, какое он выказывает в *agôn*'е. Там он полагался только на себя; здесь же он полагается на что угодно, на мельчайшую приметку, на малейшую внешнюю черту, которую он тут же принимает за знамение или предостережение; на любую замеченную им особенность — на все, кроме себя самого.

Agôn — это утверждение личной ответственности, *alea* — отречение от собственной воли, когда человек отдается на волю судьбы. В некоторых играх, например в домино, триктраке, большинстве карточных игр, *agôn* и *alea* сочетаются: от случая зависит «сдача» каждого игрока, а затем каждый старается как можно лучше, в меру своих сил, использовать тот набор карт, который выделила ему слепая судьба. В такой игре, как бридж, игрока фактически защищают знания и рассуждения, позволяющие извлечь максимум выгоды из полученных карт; а в играх типа покера эту роль играют скорее психологическая проницательность и выдержка.

В общем и целом деньги играют здесь тем большую роль, чем значительнее доля случайности и, следовательно, чем слабее защищен игрок. Причина этого ясна: задача *alea* не в том, чтобы отдавать выигрыш самым умным, а в том, чтобы, наоборот, упразднить всякое врожденное или благоприобретенное неравенство между людьми, дабы все были абсолютно равны перед слепым вердиктом удачи.

Поскольку результат *agôn*'а по необходимости неопределен и парадоксальным образом сближается с эффектом чистого случая, поскольку шансы соперников в принципе максимально уравниваются, то отсюда следует, что всякое соревнование, содержащее в себе какие-то черты идеально-регулярной состязательности, может стать поводом для пари, то есть для *alea*; таковы лошадиные скачки и собачьи бега, матчи по футболу или по баскетболу

мячу, петушинные бои. Бывает даже, что размеры ставок все время меняются в течение игры, следуя перипетиям *agôn*¹.

Азартные игры — это человеческие игры по преимуществу. У животных бывают игры состязательные, симулятивные и головокружительные. В частности, К. Гроос приводит убедительные примеры для каждой из этих категорий. Напротив, животные слишком поглощены непосредственной данностью и слишком зависимы от собственных побуждений; они не могли бы вообразить отвлеченную и бесчувственную властную силу, решениям которой они бы заранее безропотно покорялись в порядке игры. Пассивно и сознательно ждать рокового решения, рисковать при этом каким-то имуществом, чтобы приумножить его пропорционально шансам его утратить, — для такого настроения требуется возможность предвидения, репрезентации и спекуляции, к которым способно одно лишь объективно-расчетливое сознание. Возможно, именно постольку, поскольку ребенок еще близок к животному, азартные игры не имеют для него такого значения, какое приобретают для взрослого. Для него играть — значит действовать. С другой стороны, не имея экономической независимости и собственных денег, ребенок не находит в азартных играх того, что составляет их главную притягательную черту. Они не в силах вызывать в нем трепет. Конечно, для него роль монет играют блестящие шарики. Однако в их добывании он больше полагается на свою ловкость, чем на удачу.

Agôn и *alea* выражают собой противоположные и в каком-то смысле симметричные настроения, но оба они подчинены одному и тому же закону — искусственному созданию предпосылок для чистого равенства между игроками, в котором отказывает людям реальность. Ибо в жизни ничто не бывает ясно, кроме того, что все в ней изначально смутно, как шансы, так и заслуги. Игра, *agôn* или *alea*, — это, стало быть, попытка заменить нормальную путаницу

¹ Например, так обстоит дело на Балеарских островах при игре в баскский мяч, в Колумбии и на Антильских островах при петушинных боях. Само собой разумеется, что здесь не следует учитывать те денежные призы, которые могут получать жокеи или владельцы лошадей, гонщики, боксеры, футболисты или вообще какие угодно атлеты. Сколь бы значительны ни могли быть эти призы, они не подпадают под категорию *alea*. Ими вознаграждается победа в жаркой борьбе. Такое вознаграждение, обусловленное заслугами, не имеет ничего общего с милостью судьбы, с плодами удачи, которые остаются ненадежно-монопольной достоянием игроков, заключающих пари. Это даже их прямая противоположность.

обыкновенной жизни совершенными ситуациями. Это такие ситуации, где четко и бесспорно проявляется роль либо заслуги, либо случайности. Они также предполагают, что все должны обладать ровно одинаковыми возможностями доказать свою доблесть или, на другой шкале, ровно одинаковыми шансами получить милость. И в том и в другом случае человек ускользает от мира, делая *его* другим. Но от него можно ускользнуть и делая другим *себя*. Этому соответствует *mimicry*.

Mimicry. — Любая игра предполагает временное принятие если не иллюзии (собственно, это слово означает не что иное, как вступление в игру — *in-lusio*), то хотя бы некоего замкнутого, условного и в некоторых отношениях фиктивного мирка. Игра может заключаться не в разворачивании какой-то деятельности или претерпевании некоей судьбы в воображаемой среде, а в том, чтобы самому стать иллюзорным персонажем и вести себя соответственным образом. Здесь перед нами — целый ряд разнообразных явлений, имеющих общую основу: субъект игры думает, убеждает сам себя или других, что он кто-то другой. Он на время забывает, скрывает, отбрасывает свою собственную личность и притворно приобретает чужую. Эти явления я решил обозначать термином *mimicry*, обозначающим по-английски миметизм, особенно мимикрию у насекомых, дабы подчеркнуть фундаментально-стихийный, едва ли не органический характер побуждения, которое вызывает их к жизни.

По сравнению с человеческим миром мир насекомых предстает как наиболее резко отличающийся путь, какой только явлен в природе. Этот мир во всем противоположен миру людей, но он столь же детально разработан, сложен и удивителен. Поэтому мне кажется оправданным рассматривать здесь феномены мимикрии, наиболее поразительные примеры которых представлены насекомыми. Действительно, поведению человека — свободному, переменчивому, произвольному, несовершенному, а главное, нацеленному на какое-то внешнее достижение — у животных и особенно у насекомых соответствует органическое, неподвижное и абсолютное изменение, присущее данному виду и совершенно точно повторяемое без конца миллиардами особей из поколения в поколение: например, вместо классовой борьбы — касты у муравьев или термитов, вместо истории живописи — раскраска крыльев у бабочек. Если принять эту гипотезу (я вполне отдаю себе отчет в ее рискованности), то необъяснимая мимикрия насекомых внезапно предстает необычайно точным соответствием человеческой страсти преобразаться, переодеться, носить личину, *играть чью-то роль*. Только в данном случае личина или маскарадный костюм являются не искусственно изготовляемой принадлежностью, а частью тела. Зато

в обоих случаях они служат одной и той же цели — изменять внешность своего носителя и пугать других¹.

У позвоночных тенденция к симуляции проявляется прежде всего в чисто физической, почти непреодолимой заразительности, как это бывает с зеванием, бегом, прихрамыванием, улыбкой и вообще движением. Гудсон полагал, что детеныш животного самопроизвольно «стремится за любым удаляющимся и убегает от любого приближающегося объекта». Ягненок отскакивает и отбегает даже тогда, когда к нему поворачивается и направляется мать, — он не узнает ее, зато следует за человеком, собакой или лошадью, когда видит, что они уходят прочь. Заразительность и подражание — это еще не настоящая симуляция, но они делают ее возможной и порождают идею миметизма, вкус к нему. У птиц эта склонность ведет к брачным играм — горделиво-церемониальной самодемонстрации, которой иногда самцы, а иногда самки предаются с сугубым тщанием и с очевидным удовольствием. Что же касается остроносых крабов, которые водружают себе на панцирь всякую водоросль или полипа, какие могут ухватить, то чем бы ни объяснять эту их способность к маскараду, сам факт ее не оставляет сомнения.

Итак, мимика и травестия суть две взаимодополняющие движущие силы этого класса игр. Ребенок изначально подражает взрослым. Оттого таким успехом пользуются игрушечные наборы принадлежностей, воссоздающих в миниатюре инструменты, приспособления, оружие, машины, которыми пользуются взрослые. Девочка играет в маму, в кухарку, в прачку, в гладильщицу; мальчик притворяется солдатом, мушкетером, полицейским, пиратом, ковбоем, марсианином и т. д.² Он изображает самолет, расставляя руки

¹ Примеры устрашающего миметизма или маскирующей морфологии у насекомых (поза призрака у богомолов, транс у бабочек *Smerinthus ocellata*) можно найти в моей статье «Мимикрия и легендарная психастения» (Caillois R. Le Mythe et l'Homme. Paris, 1938. P. 101–143) [Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003. С. 83–104. — *Примеч. пер.*]. К сожалению, в указанной статье проблема рассматривается в такой перспективе, которая ныне представляется мне в высшей степени произвольной. В самом деле, теперь я полагаю, что мимикрия — это не какое-то нарушение пространственного восприятия и тенденция к возврату в состояние неодушевленной материи, а эквивалент у насекомых симулятивных игр человека. Тем не менее примеры сохраняют всю свою значимость. Некоторые из них воспроизводятся в Документации, в конце настоящей книги, с. 186–188.

² Как было справедливо подмечено, игрушечные наборы для девочек предназначены для имитации близких, реально-домашних видов деятельности, а для мальчиков — для подражания деятельности далекой, романтической, недоступной или вообще нереальной.

и гудя наподобие мотора. Однако поведение, описываемое понятием *mimicry*, в значительной степени переходит из детства и во взрослую жизнь. Оно покрывает собой все те развлечения, при которых нужно носить маску или переодеваться и которые заключаются именно в том факте, что играющий замаскирован или переодет, и в том, что из этого следует. Наконец, очевидно, что в ту же группу по праву входят театральное представление и исполнение драматических ролей.

Удовольствие здесь — в том, чтобы быть другим или принятым за другого. Но, поскольку речь идет об игре, главная задача здесь не в том, чтобы обмануть зрителя. Ребенок, играющий в поезд, может уклониться от поцелуя своего отца со словами «Паровоз не целуют», но он все же не пытается убедить отца, что он настоящий паровоз. На карнавале человек в маске не пытается кого-либо убедить, что он настоящий маркиз, настоящий тореадор, настоящий краснокожий, — он старается напугать других и воспользоваться окружающей вольностью, которая сама вытекает из того, что маска скрывает социальную роль и высвобождает подлинную личность. Также и актер не пытается убедить зрителей, что он «вправду» король Лир или Карл Пятый. Для настоящего обмана окружающих пере одеваются шпион или беглец — потому что они не играют.

Включая в себя деятельность, воображение, интерпретацию, *mimicry* оказывается почти лишенной связи с *alea*, заставляющей игрока трепетать в неподвижном ожидании, зато не исключено, что она может сочетаться с *agôn*. Я имею в виду не конкурсы маскарадных костюмов, где это сочетание носит сугубо внешний характер. Между двумя видами игр легко обнаружить и более глубокую близость. Для всех тех, кто не участвует в *agôn*, он являет собой зрелище. Правда, это такое зрелище, которое ценно именно тем, что исключает симуляцию. Тем не менее большие спортивные соревнования представляют собой удобные поводы для *mimicry*, поскольку симуляция в них переходит от актеров к зрителям: мимесисом занимаются не атлеты, а публика. Уже одно только самоотождествление со спортсменом образует *mimicry*, родственную той, которая заставляет читателя узнавать себя в герое романа, а кинозрителя — в герое фильма. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить полную симметрию функций чемпиона и кинозвезды, на чем у меня еще будет случай остановиться более подробно. Чемпионы, триумфаторы *agôn*, — это звезды спортивных зрелищ. И наоборот, кинозвезды являются победителями в каком-то диффузном соревновании, в борьбе за благосклонность публики. И те и другие получают множество писем, дают интервью жадно домогающейся их прессе и автографы своим почитателям.

Велогонки, соревнования по боксу или борьбе, матчи по футболу, теннису или поло фактически сами представляют собой зре-

лица, где есть и костюмы, и торжественное открытие, своего рода религиозная служба, и точно определенное правилами развитие. Одним словом, это настоящие драмы, которые своими перипетиями держат публику в напряжении и приводят к развязке, вызывающей у одних восторг, а у других разочарование. По своей природе такие зрелища остаются агон'ом, но с внешними признаками представления. Присутствующие на них не только подбадривают криками и жестами атлетов, за которых болеют, а на ипподроме — даже лошадей. Их словно заражает какое-то физическое возбуждение, заставляющее как бы подражать поведению людей и лошадей, помогая им, подобно тому как игрок в кегли невольно наклоняется в ту сторону, куда он хотел бы направить тяжелый шар. В этой ситуации помимо зрелища среди публики начинается еще и состязание в *mimicry*, дублирующее собой настоящий агон на игровом поле или на беговой дорожке.

Mimicry являет все характерные признаки игры, кроме одного: в ней есть и свобода, и условность, и приостановка реальной жизни, и обособленность в пространстве и времени. Однако в ней нельзя констатировать постоянного подчинения императивным правилам. Как мы видели, вместо него здесь происходит сокрытие реальности и симуляция какой-то вторичной реальности. *Mimicry* — это непрерывная выдумка. В такой игре есть единственное правило: для актера — очаровывать зрителя, чтобы ни одной ошибкой не заставить его отвергнуть иллюзию, а для зрителя — поддаваться иллюзии, не отвергая с ходу декорации, маски, искусственные приемы, в которые ему предлагают на время поверить как в некую реальность, более реальную, чем настоящая.

Pinx. — Последний разряд включает в себя такие игры, которые основаны на стремлении к головокружению и заключаются в том, что игрок на миг нарушает стабильность своего восприятия и приводит свое сознание в состояние какой-то сладостной паники. Во всех таких случаях человек старается достичь своего рода спазма, впасть в транс или в состояние оглушенности, которым резко и властно отменяется внешняя действительность.

Головокружительное смятение чувств само по себе довольно часто является целью, к которой стремятся, — назову в качестве примера лишь упражнения вертящихся дервишей и мексиканских *voladores*¹. Я специально выбрал их, так как первые из них по применяемой технике сближаются с некоторыми детскими играми, а вторые скорее напоминают сложные номера акробатики или воздушной эквилибристики; тем самым они смыкаются с двумя противоположными полюсами головокружительных игр. Дервиши

¹ Летуны (*исп.*). — *Примеч. пер.*

добиваются экстаза, все быстрее и быстрее вращаясь на месте под учащающийся барабанный бой. Паника и гипноз сознания достигаются благодаря пароксизму неистового вращения — коллективного и заразительного¹. А в Мексике *voladores* — индейцы-уастеки или тотонаки — забираются на вершину двадцати—тридцатиметрового шеста. К запястьям они прикрепляют искусственные крылья, изображая орлов. Они привязываются веревкой за пояс к верхушке шеста. Потом эту веревку пропускают себе между пальцами ног, так чтобы можно было спускаться назад головой вниз, расставив руки. Прежде чем достигнуть земли, они успевают несколько раз — тринадцать, как утверждал Торквемада, — сделать полный оборот по все более широкой спирали. Эту церемонию, которая включает в себя несколько таких полетов и начинается в полдень, обычно рассматривают как танец в честь захода солнца, сопровождаемого птицами — обожествленными мертвецами. Мексиканские власти вынуждены были запретить это опасное упражнение из-за часто происходивших несчастных случаев².

Впрочем, нет особой нужды приводить столь редкие и впечатляющие примеры. Каждому ребенку известно, что быстрое кружение на месте позволяет привести себя в состояние центробежного ускорения, когда тело лишь с трудом обретает равновесие, а восприятие — четкость. Нет сомнения, что ребенок делает это в порядке игры и что ему это нравится. Такова игра в «волчок», когда нужно как можно быстрее вращаться на одной пятке. Сходным образом при гаитянской игре в «золотой маис» двое детей держатся за руки, вытянув их и стоя лицом друг к другу. Корпус у них напряжен и откинут назад, а ноги сдвинуты и составлены вместе с ногами партнера, они вращаются, сколько хватает духу, и потом, остановившись, с удовольствием шатаются от головокружения. Сходные ощущения возникают от громкого крика, от быстрого спуска по склону, от американских горок, от каруселей и качелей, если они крутятся достаточно быстро и взлетают достаточно высоко.

Тот же эффект вызывают и различные физические воздействия: раскачивание, падение или резкое перемещение в пространстве, стремительное вращение, скольжение, скоростная езда, ускорение поступательного движения или же его комбинация с движением вращательным. Параллельно с этим бывает и голово-

¹ DEPONT O., COPPOLANI X. Les confréries religieuses musulmanes. Alger, 1887. P. 156–159, 329–339.

² См. его описание и фотографии в статьях: LARSEN H. Notes on the volador and its associated ceremonies and superstitions // *Ethnos*. Vol. II. № 4. July 1937; STRESSER-PEAN G. Les origines du volador et du comelagatoazte // *Actes du XXVIII^e Congrès International des Américanistes*. Paris, 1947. P. 327–334. Фрагмент описания из второй статьи я привожу в Документации (с. 188–189).

кружение нравственного порядка, внезапно захватывающее индивида увлечение. Такое головокружение легко сочетается с обычно подавляемым влечением к бесчинству и разрушению. В нем проявляются грубые, резкие формы личностного самоутверждения. У детей его отмечают, в частности, при играх в «горячую руку», в «голубь летит» и в чехарду, когда они внезапно превращаются просто в кучу-малу. У взрослых особенно показательным в этой области является странное удовольствие, которое доставляет им, как маленьким, сбивание тростью высоких цветов на лугу, или сбрасывание лавиной снега с крыши, или же пьянящие ощущения от ярмарочных развлечений, например разбивать вдребезги черепки от негодной посуды.

Чтобы обозначить всевозможные разновидности этого восторга, который одновременно представляет собой и расстройство — порой органическое, порой психическое, — я предлагаю термин *ilinx*, по-гречески «водоворот», от которого в этом языке как раз и происходит слово «головокружение» (*ilingos*).

Данное удовольствие также не составляет исключительной принадлежности человека. Следует напомнить *вертячку* у некоторых млекопитающих, особенно у овец. Хотя это и патологическое проявление, но оно слишком показательное, чтобы о нем умалчивать. К тому же нет недостатка и в других примерах, игровой характер которых не оставляет сомнений. Собака до упаду крутится на месте, лова свой хвост. Иной раз ею овладевает лихорадочная страсть к бегу, прекращающаяся лишь с полным изнурением. Антилоп, газелей, диких лошадей часто охватывает паника, не соответствующая никакой реальной или даже кажущейся опасности и скорее выражающая собой эффект непреодолимой заразительности и готовности тут же ей поддаться¹. Водяные крысы развлекаются кувырканием, как будто их несет водное течение. Еще более примечателен случай с сернами. Согласно Карлу Гроосу, эти животные взбираются на снежные фирны и по очереди, разбежавшись, скользят вниз по крутому склону, следя друг за другом.

Обезьяна-гиббон выбирает себе упругую ветку и сгибает ее до тех пор, пока она не распрямится и не забросит обезьяну в воздух. Кое-как зацепившись за что-нибудь, она вновь и вновь повторяет это бесполезное упражнение, объяснимое одной лишь своей тайной притягательностью. Особенными любителями головокружительных игр являются птицы. Они камнем падают с большой высоты и раскрывают крылья лишь в нескольких метрах от земли, как будто вот-вот врежутся в нее. Потом взлетают ввысь и снова падают вниз. Во время брачного сезона самцы используют это упражнение

¹ GROOS K. Op. cit. P. 208.

в геройстве для привлечения самок. Особенным мастерством в этой эффектной воздушной акробатике отличается, по описанию Одюбона, американский ночной сокол¹.

Выйдя из возраста, когда дети играют в волчок и «золотой маис», катаются на санках, каруселях и качелях, взрослые имеют в своем распоряжении прежде всего эффекты опьянения и различных танцев — от утивно-светского, но и коварного вихря вальса и вплоть до разных видов неистового, лихорадочно-конвульсивного дергання. Примерно такое же удовольствие они получают, упиваясь высокой скоростью, например, на лыжах, на мотоцикле или в открытой машине. Чтобы придать такого рода ощущениям силу и резкость, способные воздействовать на организм взрослого человека, пришлось изобретать мощные технические приспособления. Поэтому не удивительно, что головокружение становится настоящей категорией игр в значительной степени лишь с наступлением промышленного века. Теперь его доставляют множеству охотников всякого рода точные аппараты, установленные на ярмарках и в парках аттракционов.

Разумеется, если бы речь шла просто о воздействии на внутреннее ухо, от которого зависит чувство равновесия, эти приспособления оказались бы слишком сложными и мощными. Но здесь вообще все тело человека подвергается процедурам, которых каждый опасался бы, если бы не видел, как другие толпой спешат их пережить. В самом деле, стоит понаблюдать, в каком виде выходит человек из таких машин головокружения. Они отпускают его бледным, шатающимся, на грани тошноты. Только что он вопил от страха, у него перехватывало дыхание и было ужасное чувство, будто внутри даже отдельные органы сжимаются от испуга, чтобы как-то укрыться от этого страшного натиска. Однако большинство этих людей, даже не успев прийти в себя, уже толпятся у кассы, чтобы купить себе право еще раз ощутить ту же самую пытку, от которой они ждут наслаждения.

Следует говорить именно о наслаждении, так как трудно назвать «развлечением» подобный восторг, больше похожий не на забаву, а на судорогу. С другой стороны, существенно отметить, что переживаемый шок настолько резок, что в некоторых случаях владельцы аппаратов привлекают наивных посетителей бесплатно аттракциона. Они многократно объявляют, что «развлечение» ничего не стоит «еще только один раз». Зато со зрителем взимают плату за право спокойно наблюдать с высокой галереи за муками добровольных или обманутых жертв, подвергаемых опасным воздействиям или странным прихотям.

¹ GROOS K. Op. cit. P. 111, 116, 265–266.

Было бы слишком смело извлекать из этого жестокого любопытства какие-либо определенные выводы. Такое распределение ролей характерно не только для данного типа игр, оно присутствует в боксе, кетче и в боях гладиаторов. Главное здесь — в стремлении достичь специфического внутреннего расстройствa, мгновенной паники, обозначаемой термином «головокружение», и в несомненных признаках игры, которые с ним связываются, таких, как свобода принять или не принять испытание, его незыблемо-строгие пределы, отрешенность от остальной реальности. То, что испытание сверх прочего еще и служит предметом зрелища, не уменьшает, а лишь усиливает его игровой характер.

В) ОТ ШАЛОСТИ К ПРАВИЛАМ

Правила становятся неотъемлемой принадлежностью игры, как только она, так сказать, приобретает институциональное существование. С этого момента они составляют часть ее природы. Именно они превращают ее в продуктивный и принципиально важный инструмент культуры. Тем не менее в истоке своем игра представляет собой первозданную свободу, потребность в разрядке, одновременно развлечение и импровизацию. Эта свобода — ее неперемнная движущая сила, она лежит в основе самых сложных и строго организованных форм игры. Такая исходная власть импровизации и веселья, которую я называю *paidia*, сопрягается с идеей произвольно создаваемых трудностей, я предлагаю назвать ее *ludus*. Они в итоге и порождают разнообразные игры, которым можно без преувеличения приписать цивилизующую способность. В самом деле, они иллюстрируют собой моральные и интеллектуальные ценности той или иной культуры. Кроме того, они помогают уточнять и развивать эти ценности.

Я избрал термин *paidia* потому, что в основе его — корень со значением «ребенок», а также из желания не создавать читателю ненужных сложностей, прибегая к термину из языка каких-нибудь антиподов. Однако санскритское *kredati* и китайское *wan* представляются еще более емкими и показательными названиями, благодаря разнообразию и самой природе дополнительных значений. Правда, этим чрезмерным богатством они также и неудобны: например, создают опасность путаницы. *Kredati* означает игры взрослых, детей и животных. Более специальным образом это слово применяется к бегу и прыжкам, то есть к резким и прихотливым движениям от избытка радости и жизненной силы. Оно также употребляется для обозначения недозволенных эротических сношений, ритмичного движения волн и вообще всего того, что колеблется по воле ветра. Слово *wan* еще более эксплицитно, и в силу того, что им называется, и того, что им не называется: это игры на ловкость, игры состязательные, симулятивные и азартные.

С другой стороны, оно являет собой множество таких смысловых разветвлений, к которым мне еще предстоит вернуться.

Если учитывать эти семантические сближения и исключения, то каким же могут быть объем и значение термина *paidia*? Сам я буду определять его как слово, охватывающее спонтанные проявления игрового инстинкта: легче всего опознаваемые примеры такого рода деятельности дают котенок, путающийся в шерстяном клубке, отряхивающаяся собака, младенец, смеющийся от звука погремушки. Это проявляется во всяком счастливом возбуждении, выражающемся в непосредственной, неупорядоченной деятельности, зачастую чрезмерно активной, важнейшей чертой которой или даже единственным ее основанием остается импровизация и отсутствие правил. Скакание на месте, рисование каракулей, громкая перебранка, беспорядочный шум и гам — очевидных примеров такой зудящей потребности в движениях, красках и звуках более чем достаточно.

Эта элементарная потребность в спокойствии и гвалте изначально проявляется в стремлении ко всему прикоснуться — схватить, попробовать на вкус и запах, а затем бросить всякий доступный предмет. Часто она становится страстью ломать и разрушать. Этим объясняется удовольствие резать бумагу на мелкие кусочки, щипать корпию, разваливать какое-нибудь составное сооружение, проскакать без очереди, расстраивать чужую игру или другое занятие и т. д. Дальше возникает желание мистифицировать или дразнить людей, высовывая язык, строя гримасы, делая вид, будто трогаешь или бросаешь запретную вещь. Ребенок старается утвердить себя, ощутить себя *причиной*, заставить обратить на себя внимание. Также и К. Гроос приводит случай обезьяны, которая любила дергать за хвост жившую вместе с нею собаку, как только та задремлет. Первобытная радость от разрушения и опрокидывания вещей прослежена, в частности, с примечательной точностью деталей сестрой Г.-Ж. Романа у обезьяны-капуцина¹.

На этом ребенок не останавливается. Ему нравится играть с собственной болью, например раздражая языком больной зуб. Ему также нравится, когда его пугают. При этом он стремится испытать в одном случае физическое страдание — но ограниченное, управляемое, которому он сам является причиной, а в другом — психическую тревогу, им же самим желаемую и прекращаемую по его требованию. В обоих случаях уже можно опознать фундаментальные черты игры как деятельности добровольной, условной, обособленной и управляемой.

Вскоре возникает и склонность придумывать правила и упрямо, любой ценой соблюдать их: ребенок заключает с самим собой и своими товарищами всевозможные пари, которые, как мы уже ви-

¹ Наблюдение приведено у К. Грооса (Op. cit. P. 88–89) и воспроизведено в Документации (с. 189).

дели, представляют собой элементарную форму *agôn*'а: он скачет на одной ножке, ходит задом наперед, с закрытыми глазами, спорит, кто дольше сможет глядеть на солнце, выдерживать боль или остаться в какой-то неудобной позе.

Вообще говоря, первые проявления *paidia* не имеют и не могут иметь названия — именно потому, что в них еще нет никакой стабильности, никакого отличительного знака, никакого четко отдельного существования, которое позволяло бы закрепить их самостоятельность специальным наименованием в словаре. Но как только появляются конвенции, технические приемы, орудия, вместе с ними возникают и первые определенные игры: чехарда, прятки, воздушный змей, волчок, съезжание с горки, жмурки, куклы. Здесь начинают расходиться противоречащие друг другу пути: *agôn*, *alea*, *mimicry* и *ilinx*. Здесь также появляется удовольствие от преодоления специально создаваемой, произвольно определяемой трудности — такой, что справившийся с нею не получает никакой иной выгоды, кроме внутреннего удовлетворения от решенной задачи.

Это побуждение, которое собственно и есть *ludus*, также обнаруживается в разных категориях игр, кроме тех, что всецело основаны на одной воле судьбы. Оно прибавляется к *paidia* и воспитывает, дисциплинирует, обогащает ее. Оно дает повод для тренировок и обычно ведет к овладению определенной умелостью, приобретению какого-то особенного мастерства в обращении с тем или иным аппаратом или же в искусстве находить правильные решения для сугубо условных задач.

Отличие от *agôn*'а заключается в том, что в *ludus*'е напряжение и одаренность игрока проявляются вне всяких эксплицитных переживаний состязательности или соперничества: борьба идет с препятствием, а не с одним или несколькими конкурентами. Среди игр на умелость рук можно назвать бильбоке, диаволо, йо-йо. В этих простых приспособлениях обычно используются очевидные законы природы: скажем, для йо-йо это сила тяжести и вращение — игра состоит в преобразовании возвратно-поступательного движения по прямой в непрерывное движение по кругу. Наоборот, принцип воздушного змея — использование конкретного состояния атмосферы, благодаря которому играющий как бы прощупывает небо на расстоянии. Он проецирует свое присутствие за пределы собственного тела. Сходным образом игра в жмурки дает повод испытать возможности своего восприятия, обходясь без зрения¹. Легко понять, что возможности *ludus*'а практически безграничны.

Внутри данного типа такие игры, как солитер или баггод², уже принадлежат к другой группе: в них все время нужен расчет

¹ Это замечал уже Кант. См.: HIRN Y. Les Jeux d'enfants. (Trad. franç.) Paris, 1926. P. 63.

² Игра на соединении или распутывание соединенных колец. — *Примеч. пер.*

и комбинирование. Наконец, кроссворды, математические головоломки, анаграммы, всякого рода озоримы¹ и логогрифы, активное чтение детективов (то есть попытки самому вычислить преступника), задачи в шахматах и бридже, где нет специальных инструментов, представляют собой вариации наиболее распространенной и наиболее чистой формы *ludus*'а.

В каждом таком случае можно отметить некую исходную ситуацию, которая может бесконечно повторяться и на основе которой могут возникать все новые и новые комбинации. Они заставляют играющего состязаться с самим собой и позволяют ему гордо отмечать уже пройденные им этапы перед лицом тех, кто разделяет его увлечение. Связь *ludus*'а с *agôn*'ом очевидна. Собственно, может даже случиться, как в шахматных и бриджевых задачах, что одна и та же игра предстает то как *agôn*, то как *ludus*.

Не менее часто встречается и сочетание *ludus*'а с *alea*: в частности, его можно распознать в пасьянсе, где хитроумная сложность маневров до какой-то степени влияет на исход игры, и в игровых автоматах, где играющий может в небольшой степени рассчитать импульс шарика, дающего ему очки, и направлять его движение. Конечно, в основном в этих двух играх все решает случайность. Однако того факта, что играющий все же не совсем безоружен и может, пусть в ничтожной мере, рассчитывать на свою ловкость или одаренность, уже достаточно, чтобы в данных случаях *ludus* сочетался с *alea*².

Ludus также легко сочетается с *mimicry*. В простейшем случае это дает игры-конструкторы, которые всегда носят иллюзионистский характер — будь то изготовление животных из стеблей мила детьми племени догонов³, сооружение подъемных кранов и автомобилей из металлических пластин и шкивов детского конструктора или же тщательное создание моделей самолетов или кораблей, которым не брезгают заниматься и взрослые. Но важнейшим случаем такого сочетания является театральное представление, где *mimicry* дисциплинируется и становится настоящим искусством с множеством конвенций, изощренных умений, тонких и сложных приемов. Благодаря этому удачному взаимосближению игра в полной мере проявляет свою культурную продуктивность.

¹ Озорим — каламбурная рифма, распространяющаяся на всю стихотворную строку (в русской теории стиха в близком значении употребляется термин «панторифма»). — *Примеч. пер.*

² О поразительном развитии игровых автоматов в современном мире и о вызываемых ими фиксации и обсессиях см. Документацию, с. 189–195.

³ Народность в Западной Африке, отличающаяся богатой культурой и верованиями. — *Примеч. пер.*

Напротив, как не может быть союза между шумно-экспансивной *paidia* и пассивным ожиданием решения судьбы, неподвижно-трепетом в *alea*, так тем более не может его быть между расчетливо-комбинаторным *ludus*'ом и *ilinx*'ом как чистым увлечением. Любовь к преодолению трудностей может здесь служить лишь противовесом головокружению, не дающим ему превратиться в полное расстройство и панику. Тогда игра становится уроком самообладания, трудными усилиями для сохранения хладнокровия и равновесия. Она отнюдь не вступает в союз с *ilinx*'ом, а образует — как в альпинизме или воздушной акробатике — дисциплину, помогающую нейтрализовать его опасные эффекты.

Сам по себе *ludus* как бы еще неполон, им занимаются лишь поневоле, чтобы развеять скуку. Многие соглашаются на это занятие только в ожидании лучшего, пока не появятся партнеры, с которыми можно будет от этого удовольствия, лишённого внешнего отклика, перейти к игре соперничества. Но даже в случае игр на ловкость или комбинаторику (пасьянс, пазл, кроссворд и т. д.), исключаящих или делающих нежелательным участие другого человека, *ludus* тем не менее поддерживает в играющем надежду после неудачи добиться успеха при новой попытке или набрать больше очков, чем в прошлый раз. Тем самым здесь опять-таки сказывается влияние *agôn*'а. Фактически им пронизана вся атмосфера удовольствия, получаемого от преодоления произвольно установленных трудностей. Действительно, хотя каждая из таких игр ведётся в одиночку и в принципе не содержит в себе никакого соревнования, в любой момент её легко можно превратить в конкурс, с призами или без, и такие конкурсы часто устраиваются в газетах. Не случайно также игровые автоматы устанавливаются главным образом в кафе, то есть в таких местах, где вокруг играющего могут собираться какие-то зрители.

Однако у *ludus*'а есть одна черта (объясняющаяся, как я полагаю, скрытым влиянием *agôn*'а), которая все время отягощает его, — такая игра в высшей степени зависит от моды. Йо-йо, бильбоке, диаволо, багнод — все эти игры появлялись и исчезали словно по волшебству. Они пользовались массовой популярностью, которая затем бесследно исчезала и уступала место какому-то другому увлечению. Мода на интеллектуальные забавы более устойчива, но все-таки тоже ограничена во времени: свой расцвет пережили и ребусы, и анаграммы, и акростики, и шарады. Вероятно, та же судьба ожидает и кроссворды с детективами. Данное явление оставалось бы загадочным, если бы *ludus* действительно представлял собой ин-

дивидуальное занятие, каким он кажется. На самом деле он погружен в атмосферу конкурса. Он поддерживается лишь постольку, поскольку усердие увлеченных им участников превращает его в виртуальный *agôn*. Когда же последний отсутствует, игра не в силах долго прожить сама по себе. Действительно, её недостаточно поддерживает дух организованного состязания — ведь он в ней не главное; и она не создает никакого зрелища, способного привлечь толпу. Она остается зыбко-диффузной или же рискует превратиться в навязчивое увлечение одинокого маньяка, который предается ей безраздельно и ради этого все более пренебрегает отношениями с другими людьми.

Промышленная цивилизация породила новую форму *ludus*'а — «хобби», необязательное второстепенное занятие, избираемое и продолжаемое для удовольствия: коллекционирование, любительское занятие искусством, радости домашних поделок или изобретательства — одним словом, всевозможные виды деятельности, представляющие собой прежде всего компенсацию уродующего воздействия, которое оказывает на личность конвейерный труд, по природе своей автоматический и раздробленный на мелкие операции. Уже отмечалось, что у рабочего, который таким образом становится ремесленником, хобби часто принимает форму изготовления уменьшенных, но зато *целостных* моделей тех машин, в производстве которых он обречен участвовать лишь одной, все время повторяемой операцией, не требующей от него ни ума, ни уметости. Игра с очевидностью позволяет взять реванш у реальности; и это полезный, плодотворный реванш. Он отвечает одной из высших функций игрового инстинкта. Не удивительно, что техническая цивилизация способствует его развитию, пусть даже в качестве противовеса своим наиболее отталкивающим аспектам. Хобби — это образ тех ценных достоинств, которые делают возможным её развитие.

Вообще, *ludus* ставит первоначальному желанию развиваться и развлекаться произвольные, постоянно возобновляемые препятствия. Он придумывает множество ситуаций и структур, где получают удовлетворение одновременно и желание разрядки, и неистребимая, по-видимому, человеческая потребность в напрасном, бесполезном применении своих знаний, прилежания, ловкости, ума, не говоря уже о самообладании, умении преодолевать боль, усталость, панику или опьянение.

В этом смысле то, что я называю *ludus*, представляет собой такой элемент игры, чья значимость и продуктивность в культуре оказываются наиболее впечатляющими. В нем проявляется не столь резко выраженное психическое настроение, как в *agôn*'е, *alea*, *timicru* или *ilinx*'е, но, дисциплинируя *paidia*, он в равной мере способ-

ствуется тому, чтобы эти фундаментальные категории игры обрели свою чистоту и высшее выражение.

Однако *ludus* — не единственно возможная метаморфоза *paidia*. В Китае, например, цивилизация придумала для нее иную судьбу. Китайская культура, полная мудрости и сдержанности, не так уж восприимчива к самодовлеющей новизне. Потребность в прогрессе и предприимчивость часто кажутся ей каким-то бесплодным беспокойством. В такой ситуации буйный избыток энергии, свойственный *paidia*, сам собой направляется в другую сторону, более соответствующую высшим ценностям культуры. Здесь уместно будет вернуться к термину *wan*. По мнению некоторых, он этимологически означал «разглаживать и полировать рукой кусочек нефрита; наслаждаться его гладкостью и о чем-либо мечтать». Возможно, в силу такого своего происхождения он показывает другую возможную судьбу *paidia*. Изначально определяющий ее запас вольного движения в этом случае как бы перенацеливается — не на внешние достижения, не на расчетливое преодоление трудностей, а на спокойствие, терпение, бесцельные грезы. Действительно, иероглифом *wan* обозначаются главным образом всякие полумашинальные занятия, оставляющие ум в состоянии рассеянного блуждания: некоторые сложные игры, принадлежащие к категории *ludus*, а также беспечная раздумчивость и ленивая созерцательность.

Шум и суета обозначаются выражением *jeou-nao*, буквально «горячий беспорядок». Сочетаясь с тем же термином *nao*, иероглиф *wan* обозначает любое вольно-радостное занятие. Но он должен быть соединен именно с этим иероглифом. В сочетании же с иероглифом *ichouang* (притворяться) он означает «ради забавы делать вид, будто...». Как мы видим, он в точности совпадает с различными возможными проявлениями *paidia*, в одиночном же употреблении не может обозначать никакого отдельного рода игр. Он не применяется ни к состязаниям, ни к игре в кости, ни к сценическому исполнению роли. То есть из него исключается ряд категорий игр, названных мною институциональными.

Такие игры обозначаются более специальными терминами. Иероглиф *hsi* соответствует играм, связанным с переодеванием и симуляцией, — он покрывает собой театр и другие зрелищные искусства. Иероглиф *choua* отсылает к играм на ловкость и умелость; но его употребляют также применительно к состязаниям в шутках и насмешках, к фехтованию, к тренировкам в каком-либо трудном искусстве. Иероглиф *teou* означает борьбу как таковую — петушиные бои, поединок. Однако его употребляют и в отношении карточных игр. Наконец, иероглиф *toi*, который ни в коем случае нельзя

применять к детским играм, означает азартные игры, риск, пари, ордалии. Им также называется богохульство, ибо испытывать удачу расценивается как кощунственное пари с судьбой¹.

Все это делает еще интереснее широту семантического поля самого термина *wan*. Прежде всего, он включает в себя детскую игру и вообще любое беспечно-легкомысленное развлечение, которое может обозначаться, например, глаголами «развлекаться», «забавляться» и т. д. Его употребляют для обозначения вольных, ненормальных или же странных сексуальных действий. Одновременно он используется применительно к играм, где нужно размышлять и *нельзя топтаться*, — таким, как шахматы, шашки, пазл (*Tai Kiao*) и игра в девять колец². Он включает также удовольствие оценивать вкус блюда или букет вина или же рассматривать, сладострастно вертеть в руках или даже лепить мелкие безделушки, что сближает его с западным понятием «хобби», то есть страстью к коллекционерству и мелким поделкам. Наконец, он выражает собой мягко-расслабляющее спокойствие лунного пейзажа, катание на лодке по озерной глади, длительное созерцание водопада³.

На примере слова *wan* уже понятно, как судьба разных цивилизаций читается помимо прочего в их играх. Предпочтение, оказываемое этими цивилизациями *agôn*'у, *alea*, *mimicry* или *ilinx*'у, скажется на их будущем. Точно так же в том, что запас энергии, который представляет собой *paidia*, направляют на изобретение нового или на пассивную мечтательность, проступает некий выбор — разумеется, неясный, но фундаментально важный и неоспоримо значимый.

¹ Кроме того, в китайском языке имеется термин *yeou*, означающий прогулки и игры на свежем воздухе, особенно с воздушным змеем, а с другой стороны, загробные странствия душ, мистические путешествия пиаманов, блуждания призраков и грешников.

² Игра, аналогичная багподу: девять колец соединяются в цепочку, они продеты друг в друга и насажены на стержень, закрепленный на основании. Игра состоит в том, чтобы разделить их. При некотором навыке это удается сделать, почти не задумываясь об осуществляемых операциях — при том что они сложны и тонки, занимают всегда много времени, а малейшая ошибка заставляет начинать все сначала.

³ См. сведения, взятые Хейзингой у Дейвендака (*Homo ludens*. (Trad. franç.) P. 64), исследование доктора Чу Линя, ценные указания Андре д'Ормона и словарь Гилес Н. А. *Chinese-English Dictionary*. 2d ed. London, 1912. P. 510–511 (*hsi*), 1250 (*choua*), 1413 (*teou*), 1452 (*wan*), 1487–1488 (*toi*), 1662–1663 (*yeou*).

ТАБЛИЦА 1
Классификация игр

	Agôn (состязание)	Alēa (удача)	Mimicry (симуляция)	Pinx (головокружение)
PAIDIA Шум и гам Беготня Хохот	Гонки Борьба и т. д. Атлетика	Считалки Орлянка	Детское подражание Иллюзионные игры Куклы, наборы доспехов Маска Маскарад	Детская «вертячка» Карусель Качели Вальс
Воздушный змей Солигер Пасьянс Кроссворд	Бокс Фехтование Футбол	Бильярд Шахи Шахматы	Тотализатор Рулетка	Volador Ярмарочные аттракционы
LUDUS	Вообще спортивные состязания	Лотереи простые, сложная или с переносом ставки	Театр Вообще зрелищные искусства	Льжи Альпинизм Эквилибристика

N.B. В каждой из вертикальных колонок игры весьма приблизительно расположены в таком порядке, что элемент paidia все более сокращается, а элемент ludus'a — растет.

III. Социальное назначение игр

Игра — это не просто индивидуальное развлечение. Пожалуй даже, она бывает такой гораздо реже, чем думают. Конечно, есть множество игр, особенно игр на ловкость, в которых проявляется сугубо личная ловкость и в которые вполне возможно играть одному. Но очень скоро игры на ловкость оказываются играми на состязание в ловкости. Тому есть очевидное доказательство. Сколь бы индивидуальным ни казалось применение игровых принадлежностей — воздушного змея, волчка, йо-йо, диаволо, бильбоке или серсо, — играющему скоро надоест эта забава, если у него нет ни соперников, ни зрителей, хотя бы воображаемых. Во всех этих разнообразных упражнениях проявляется элемент соперничества, и каждый стремится поразить своих противников — возможно, невидимых или отсутствующих, — выделявая какие-то диковинные фокусы, все более повышая их трудность, устанавливая на какое-то время рекорды длительности, скорости, точности, высоты, — одним словом, торжественно отмечая, хотя бы лишь в собственных глазах, любое свое достижение. Обычно любитель играть с юлой редко забавляется ею в компании приверженцев бильбоке, а любитель воздушных змеев — в группе играющих в серсо. Владельцы одних и тех же игровых инструментов встречаются в каком-то традиционном или просто подходящем месте; там они и меряются своим умением. В этом час-то заключается их главное удовольствие.

Такая тенденция к состязательности недолго остается имплицитной и спонтанной. Она заставляет вводить точные правила, принимаемые по общему согласию. Например, в Швейцарии устраиваются по всей форме конкурсы воздушных змеев. Победителем объявляют того, чей змей поднимется выше всех. На Востоке это соревнование принимает форму настоящего турнира: нить, на которой поднимается змей, на некотором расстоянии от него пропитывают смолой и обклеивают острыми осколками стекла. Задачей игроков является перерезать нити чужих летательных аппаратов, мастерски скрепляя их со своей, — это самое настоящее состязание, выросшее из такой забавы, которая, казалось бы, в принципе не дает для него повода.

Другой разительный пример перехода от одинокого развлечения к соревновательному или даже зрелищному удовольствию дает бильбоке. У эскимосов он в грубых чертах изображает собой какое-то животное: медведя, рыбу. В нем проделано множество отверстий, и игрок должен ловить игрушку на все эти отверстия, в точно определенном порядке и не выпуская из руки острия. Дальше он начинает всю серию заново, держа острие одним согнутым пальцем, потом — зажимая его локтем, потом — держа в зубах, в то время как сама игрушка проделывает все более сложные движения. При каждой ошибке неловкий игрок обязан передавать инструмент сопернику. Тот начинает ту же самую последовательность, пытаясь наверстать свое отставание или обогнать противника. Подбрасывая и ловя бильбоке, игрок одновременно мимически изображает какое-то приключение или последовательно рассказывает о каком-то действии. Он повествует о путешествии, об охоте, о сражении, перечисляет разные стадии разделки туши зверя — операции, которой занимаются только женщины. Ловя бильбоке на новое отверстие, он торжественно приговаривает:

Она снова берет нож,
Взрезает тюленя,
Снимает шкуру,
Извлекает кишки,
Взрезает грудину,
Вынимает внутренности,
Вырезает ребра,
Вырезает позвоночник,
Вырезает нижние кости,
Отрезает задние лапы,
Отрезает голову,
Вырезает жир,
Складывает шкуру,
Смачивает ее мочой,
Высушивает на солнце

и т. д.

Иногда игрок, разозлившись на соперника, начинает его вообразимое расчленение на куски:

Я тебя бью,
Я тебя убил,
Я отрубая тебе голову,
Я отрубая тебе руку,
А потом другую,
Я отрубая тебе ногу,
А потом другую,
Бросаю куски собакам,
И собаки их едят...

И не только собаки, но также и лисы, вороны, крабы — все, что придет на ум. Второму игроку, прежде чем возобновить поединок, приходится собирать свое тело по кусочкам в обратном порядке. Эта воображаемая последовательность сопровождается возгласами зрителей, увлеченно следящих за перипетиями поединка.

На данной стадии игра на ловкость с несомненностью представляет собой явление культуры — основу для коллективного единения и увеселения среди холода и тьмы полярной ночи. Этот экстремальный случай не есть что-то исключительное. Просто он удобен тем, что показывает, как самая индивидуальная по природе и назначению игра легко поддается всевозможному развитию и обогащению, которые порой почти превращают ее в социальный институт. Можно даже сказать, что игровой деятельности чего-то недостает, когда она сводится лишь к упражнению одиночек.

Обычно игры достигают полного развития лишь в тот момент, когда вызывают заинтересованный отклик. Даже тогда, когда игроки в принципе могли бы без всяких неудобств предаваться игре каждый по отдельности, она очень скоро становится поводом для конкурсов и зрелищ, как мы констатировали это в случаях с воздушным змеем и бильбоке. Действительно, большинство игр представляют собой вопрос и ответ, вызов и реакцию, провокацию и заражение, совместно переживаемое стремление или напряжение. Они нуждаются во внимании и сочувствии других людей. По-видимому, этому закону подчиняются все категории игр. Даже азартные игры выглядят притягательнее в толпе, может быть даже в давке. Ничто не мешает игрокам заключать пари по телефону или делать ставки, сидя с удобствами в чьей-нибудь тихой гостиной. Но нет — они предпочитают присутствовать на месте, в толпе посетителей ипподрома или казино, потому что их удовольствие и возбуждение нарастают от родственного трепета множества незнакомых людей вокруг.

Сходным образом тягостно сидеть одному в зрительном зале — даже в кино, где нет живых актеров, вынужденных страдать от

этой пустоты. Точно так же ясно, что человек надевает маску или чужое платье лишь ради других людей. Наконец, сюда же относятся и головокружительные игры: качели, карусель, американские горки тоже требуют коллективного возбуждения и разгоряченности, которые поддерживают и усиливают вызываемое игрой опьянение.

Итак, различные категории игр: *agôn* (по определению), *alea*, *mimicry*, *ilinx* — предполагают, что в них играют не в одиночестве, а в компании. Однако в большинстве случаев это по необходимости узкий кружок. Поскольку каждый должен играть по очереди, делая ходы по собственному усмотрению и одновременно по правилам, то количество игроков не может расти бесконечно, коль скоро все они принимают активное участие в игре. В партии может участвовать лишь ограниченное число игроков — объединенных или нет в команды. Поэтому игра часто представляет собой занятие небольших групп любителей или *aficionados*¹, которые недолгое время, поодаль от всех, предаются своему любимому развлечению. Однако уже для *mimicry* полезно множество зрителей, точно так же как коллективное увлечение *ilinx*'ом стимулирует игру и само питается ею.

В иных случаях даже те игры, которые, казалось бы, по своей природе предназначены для узкого круга игроков, прорывают это ограничение и являются в таких формах, которые хоть и по-прежнему несомненно относятся к области игр, но требуют развитой организации, сложного оборудования, специально подготовленного и иерархически упорядоченного персонала. Одним словом, для них нужны постоянные и тонко налаженные структуры, превращающие их в институты — неофициальные, приватные, маргинальные, иногда тайные, но чрезвычайно стойкие и длительные.

Таким образом, в каждой из фундаментальных категорий игр имеются социализированные аспекты, которые благодаря своей широте и устойчивости завоевали себе признание в жизни общества. Для *agôn*'а такой социализированной формой является прежде всего спорт, к которому примыкают также некоторые «нечистые» виды соревнований, неявно смешивающие заслугу с удачей, например радиоигры и рекламные конкурсы; для *alea* это казино, ипподромы, государственные лотереи и множество игр, которые устраиваются крупными букмекерскими компаниями; для *mimicry* это театральные искусства, от оперы до театра марионеток и гиньоля, а также — в более двусмысленной форме, уже сближающейся с головокружением, — карнавал и маскарад; наконец, для *ilinx*'а это ярмарочные гуляния и циклические ежегодные празднества, дни святых угодников и другие увеселения.

При исследовании игр отдельная глава должна быть посвящена всем этим явлениям, благодаря которым игры прямо включаются в повседневные нравы. Действительно, такие явления способст-

¹ Любителей (*исп.*). — *Примеч. пер.*

вуют тому, что различные культуры приобретают некоторые из своих самых легко опознаваемых обычаев и институтов.

IV. Искажение игр

Когда мы перечисляли отличительные признаки, определяющие игру, то игра предстала нам как деятельность 1) свободная, 2) обособленная, 3) с неопределенным исходом, 4) непроизводительная, 5) регулярная, 6) фиктивная; при этом два последних признака в тенденции взаимно исключают друг друга.

Эти шесть чисто формальных качеств еще мало что говорят нам о различных психологических настроениях, от которых зависят игры. Резко противопоставляя мир игры и мир реальности, подчеркивая, что игра есть по сути своей *отдельное* занятие, они означают, что всякая контаминация с обычной жизнью грозит ее искажением и разрушением самой ее природы.

Оттого интересным может оказаться вопрос о том, что же происходит с играми, когда граница, резко отделяющая их идеальные правила от диффузных и неявных законов повседневной жизни, утрачивает необходимую четкость. Ясно, что они не могут неизменными распространиться за пределы отведенной им территории (шахматной или шашечной доски, турнирной площадки, гоночной дорожки, стадиона или сцены) или периода времени, чей конец непреложно означает закрытие игровой интермедии. При таком распространении они неизбежно получают весьма отличные, порой даже неожиданные формы.

Кроме того, в ходе игры участники повинуются одному лишь строгому и абсолютному кодексу правил; их предварительное согласие с ним составляет условие их участия в этой обособленной и сугубо конвенциональной деятельности. Ну а если вдруг конвенция перестает приниматься или переживаться как таковая? Если обособленность от внешнего мира больше не соблюдается? При этом, конечно, не могут сохраняться ни формы игры, ни ее свобода. Остается лишь одно тиранически властное психологическое настроение, заставлявшее принимать игру или же некоторый вид игры в противоположность другим видам. Вспомним, что этих различных настроений — всего четыре: стремление победить в регулярном состязании благодаря одной лишь личной заслуге (*agôn*), отречение от собственной воли и пассивно-тревожное ожидание приговора судьбы (*alea*), желание облечься в чужую личность (*mimicry*), наконец, тяга к головокругению (*ilinx*). При *agôn*'е игрок рассчитывает только на себя, на свое усилие и упорство; при *alea* он рассчитывает на все, кроме себя самого, и отдается на волю неподконтрольных ему сил; при *mimicry* он воображает себя кем-то иным и придумывает себе фиктивный мир; при *ilinx*'е он удовлетворяет

желанию временно нарушить устойчивость и равновесие собственного тела, вырваться из-под власти своего восприятия, вызвать расстройство своего сознания.

Если игра заключается в том, чтобы давать этим мощным инстинктам формальное, идеальное, ограниченное удовлетворение в стороне от обычной жизни, то что же происходит, когда все конвенции отброшены? Когда мир игры перестает быть неприоницаемым? Когда происходит его контаминация с миром реальным, где каждый жест влечет за собой необратимые последствия? Тогда каждой из наших фундаментальных рубрик соответствует некоторое специфическое извращение, вытекающее из отсутствия как сдерживающих, так и защитных факторов. Когда власть инстинкта вновь становится безраздельной, то склонность, которую удавалось обмануть обособленной, введенной в рамки и как бы нейтрализованной игровой деятельностью, выплескивается в обычную жизнь и пытается по мере сил подчинить ее своим собственным требованиям. Что было удовольствием, становится навязчивой идеей; что было уходом от действительности, становится обязанностью; что было развлечением, становится страстью, наваждением и источником тревоги.

Принцип игры оказывается искажен. Здесь важно подчеркнуть, что искажается он не из-за существования нечестных или же профессиональных игроков, а только из-за смешения с реальностью. По сути, происходит не извращение игры, а блуждание, отклонение одного из первичных побуждений, которыми управляется игра. Подобный случай — отнюдь не исключение. Он возникает всегда, когда данный инстинкт больше не фиксируется дисциплиной и рамками соответствующей категории игр или же когда он отказывается довольствоваться такой приманкой.

Что же касается нечестного игрока, то он остается в мире игры. Он обходит ее правила, но все-таки делает вид, что соблюдает их. Он пытается их чем-то подменить. Он нечестен, но лицемерен. Таким своим отношением он подтверждает и провозглашает действенность нарушаемых им же правил, поскольку ему нужно, чтобы им все-таки подчинялись остальные. Если его разоблачают, то изгоняют. Мир игры остается неприкосновенным. Точно так же человек, делающий игровую деятельность своим ремеслом, никак не изменяет ее природы. Конечно, сам он уже не играет — он занимается профессиональной деятельностью. Природа же состязания или зрелища не меняется от того, что атлеты или актеры — не любители, ожидающие от игры лишь удовольствия, а профессионалы, играющие за плату. Различие касается только самих этих людей.

Для профессиональных боксеров, велогонщиков или актеров *agôn* или *mimicry* — уже не развлечение, призванное дать отдых от

усталости или перемену после монотонного, тяжело-изнурительного труда. Для них это и есть труд, необходимый для пропитания, постоянная и всецело поглощающая их деятельность, полная препятствий и сложных задач, и, чтобы отдохнуть от нее, они *играют* в такие игры, которые не являются для них обязанностью.

Для актера театральное представление тоже является актом симуляции. Он гримируется, надевает сценический костюм, изображает жесты и поступки, произносит речи своего персонажа. Но когда занавес падает, а свет гаснет, он возвращается к реальности. Разделенность двух миров остается непреложной. Также и для профессионального велогонщика, боксера, теннисиста или футболиста соревнования, матч, гонка остаются формально-регулярными состязаниями. Как только они заканчиваются, публика спешит к выходу, а сам чемпион возвращается к своим повседневным заботам, он должен защищать свои интересы, продумывать и осуществлять политику, которая наилучшим образом обеспечит его будущее. Как только он уходит со стадиона, велодрома или ринга, вместо идеально-точного соперничества, где он доказывал свою доблесть в совершенно искусственных условиях, начинаются совсем иные, гораздо более опасные соперничества. Они незаметны, непрерывны, неумолчны и пропитывают собой всю его жизнь. Подобно актеру вне сцены, он оказывается в положении обычного человека, как только выйдет из замкнутого пространства и особого времени, где царят строгие, произвольные и бесспорные законы игры.

* * *

Чаще всех игр искажается *agôn*, и настоящее его извращение начинается вне арены, после финального гонга. Оно проявляется во всех конфликтах, которые не смягчаются строгостью игрового духа. Ведь безраздельная конкуренция — это просто закон природы. В обществе она обретает свою изначальную жестокость, как только находит себе лазейку сквозь сеть моральных, общественных и юридических ограничений, которые, подобно игровым ограничениям, представляют собой пределы и конвенции. Поэтому неистовое, навязчивое честолюбие, в какой бы области оно ни проявлялось, если только при этом не соблюдаются правила честной игры, — следует считать принципиальным искажением, а в данном случае возвратом к доигровой ситуации. Собственно, ничто так хорошо не показывает цивилизующую функцию игры, как те преграды, которые она ставит природной алчности. Известно, что настоящий игрок — это тот, кто умеет отстраненно, отрешенно и как минимум с внешним хладнокровием смотреть на неудачу даже самых упорных своих усилий и на проигрыш самой большой ставки. Решение арбитра, даже несправедливое, принимается из принципа. А искажение

agôn'а начинается тогда, когда вообще не признают никакого арбитра и никакого арбитража.

Сходным образом искажается и принцип азартных игр — когда игрок перестает признавать случайность, то есть больше не считает ее безлично-нейтральным фактором без сердца и без памяти, чисто механическим эффектом законов вероятности. Искажение *alea* начинается с суевериями. В самом деле, дляверяющегося судьбе соблазнительно попытаться предвидеть ее приговор или привлечь ее благосклонность. Такой игрок придает вещей смысл самым разнообразным явлениям, встречам и чудесным происшествиям, которые в его воображении предрекают ему удачу или неудачу. Он ищет талисманы, которые бы как можно более действенно его защищали. Он воздерживается от игры при малейшем предвестии, полученном от сновидений, примет или предчувствий. Наконец, чтобы отвести злые влияния, он сам или с чужой помощью практикует заклятия.

Собственно, подобное настроение лишь усиливается азартными играми — оно вообще чрезвычайно часто встречается как психологический фон. Оно затрагивает далеко не только тех, кто ходит в казино и на ипподромы или же покупает лотерейные билеты. Для множества читателей ежедневной и еженедельной прессы, публикующей гороскопы, каждый день и каждая неделя превращаются в какое-то обетование или угрозу, способные осуществиться по воле небес или по темной власти светил. Чаще всего эти гороскопы прямо указывают, какое число благоприятно в данный день для читателей, родившихся под тем или иным знаком зодиака. Тогда каждый может покупать себе соответствующие лотерейные билеты — такие, чтобы их номер оканчивался на эту цифру, содержал ее несколько раз или же совпадал с нею при сведении к единице рядом последовательных сложений, — то есть практически все¹. Показательно, что здесь суеверие в своей самой популярной и самой безвредной форме оказывается прямо связанным с азартными играми. Следует, однако, признать, что оно не сводится к ним.

Дело представляют так, будто каждый человек, едва встав с постели, уже является выигравшим или проигравшим в грандиозной, непрекращающейся, бесплатной и неизбежной лотерее, которая на двадцать четыре часа вперед определяет его общий коэффициент везения или невезения. Этот коэффициент равно касается обычных поступков, новых предприятий и сердечных дел. Газетный астролог предупреждает, что влияние светил осуществляется в весьма различных пределах, так что даже упрощенное пророчество не может оказаться совсем ложным. Конечно, большинство читателей лишь с улыбкой обращают внимание на эти нелепые предсказания. Но

¹ См. Документацию, с. 195–196.

все-таки они их читают — более того, нуждаются в том, чтобы их читать. Многие даже, сами заявляя о своей неверии, начинают читать газету именно с астрологической рубрики. Судя по всему, крупнотиражные издания просто не решаются лишить свою публику этого удовлетворения, важность и распространенность которого не стоит недооценивать.

Самые доверчивые не довольствуются общими сведениями из газет и иллюстрированных журналов. Они обращаются к специальным изданиям. В Париже одно из них печатается тиражом более ста тысяч экземпляров. Нередко адепты астрологии более или менее регулярно посещают дипломированных толкователей. Приведем несколько показательных цифр: ежедневно сто тысяч парижан получают консультацию у шести тысяч прорицателей, провидцев и карточных гадалок; по данным Национального института статистики, ежегодно во Франции тратится тридцать четыре миллиарда франков¹ на оплату услуг астрологов, магов и прочих «факиров». В Соединенных Штатах социологическое исследование 1953 года насчитало тридцать тысяч одних только профессиональных, официально зарегистрированных астрологов, двадцать астрологических журналов, один из которых тиражом в пятьсот тысяч экземпляров, а также две тысячи других периодических изданий, имеющих рубрику гороскопов. Суммы, затрачиваемые только на толкование светил, не считая иных способов гадания, оценивались в двести миллионов долларов в год.

Не составило бы труда выявить много признаков, по которым азартные игры сближаются с гаданием; один из самых очевидных и непосредственных состоит, пожалуй, в том, что одни и те же карты служат как игрокам, чтобы испытывать удачу, так и гадалкам, чтобы предсказывать будущее. Последние лишь ради большего престижа пользуются особыми, специальными колодами. К тому же это все равно обычные масти, лишь сравнительно поздно дополненные новыми подписями, значащими рисунками и традиционными аллегориями. Да и сами карты таро применялись и применяются для обеих целей. Во всяком случае, существует как бы естественная скользкая дорожка от риска к суеверию.

Что касается констатируемых ныне жадных поисков милостей судьбы, то, вероятно, они служат компенсацией постоянного напряжения, требуемого современной конкуренцией. Тому, кто утратил веру в собственные возможности, приходится рассчитывать на судьбу. Чрезмерная жесткость состязания удручает малодушного и заставляет его полагаться на внешние силы. Познанием и применением тех шансов, которые дает ему небо, он пытается получить

¹ Все денежные суммы, указанные в этой книге, соответствуют курсу 1958 года, когда вышло ее первое издание.

вознаграждение, которое не надеется заслужить своими достоинствами, упрямой работой и терпеливым усердием. Вместо того чтобы упорствовать в неблагодарных трудах, он хочет, чтобы карты или небесные светила указали ему благоприятный момент для успеха его начинаний.

Таким образом, суеверие представляет собой извращение, то есть приложение к реальности принципа *alea*, игрового принципа, состоящего в том, чтобы ничего не ждать от себя и всего — от случая. Параллельным путем идет и искажение *mimicry*: оно происходит тогда, когда подобие больше не считают подобием, когда ряженый сам верит в реальность своей роли, костюма и маски. Он больше не *играет* того *другого*, которого изображает. Уверившись, что он и есть этот *другой*, он ведет себя соответствующим образом и забывает, кто он есть на самом деле. Утрата своей глубинной личности — таково наказание тех, кто не умеет ограничить одной лишь игрой свою склонность приписывать себе чужую личность. Это самое настоящее *отчуждение*, то есть *сумасшествие* [aliénation].

Здесь опять-таки игра служит защитой от опасности. Роль актера строго ограничена пространством сцены и продолжительностью спектакля. Как только он покинет это волшебное пространство, как только закончится фантазмагория, даже самый тщеславный лицедей, даже самый увлеченный исполнитель оказывается грубо принужден самими условиями театра отправиться в раздевалку и вновь «облечься» в свою собственную личность. Аплодисменты публики — это не просто одобрение и вознаграждение. Они обозначают собой конец игры и иллюзии. Также и бал-маскарад заканчивается на рассвете, и карнавал продолжается лишь определенное время. Маскарадный костюм возвращают в магазин или вешают в шкаф. Каждый вновь становится тем человеком, каким был раньше. Точность границ препятствует здесь отчуждению. Оно возникает лишь в результате постоянной незримой работы. Оно появляется тогда, когда нет больше четкой границы между феерией и реальностью, когда субъекту удается постепенно обрести в своих собственных глазах вторичную, химерическую личность, которая захватывает его и требует себе непомерных прав по сравнению с реальностью, закономерно несовместимой с нею. И наступает момент, когда *отчужденный* — ставший иным — начинает яростно и безнадежно отрицать, подчинять себе или же разрушать эту слишком неподатливую обстановку, которая для него невыносима и вызывающе неприемлема.

Примечательно, что в случае *agôn'a*, *alea* или *mimicry* причиной пагубного отклонения никогда не является интенсивность игры. Отклонение всегда возникает из-за смешения игры с обычной

жизнью. Оно происходит тогда, когда управляющий игрой инстинкт вырывается из жестких рамок времени и места, вопреки заранее принятым императивным конвенциям. Можно играть сколь угодно серьезно, доходить до полного изнурения, рисковать всем своим состоянием, даже жизнью, но нужно уметь остановиться на заранее зафиксированном пределе и вернуться в свое обычное состояние, где правила игры, одновременно освобождающие и обособляющие, более не действительны.

Состязание — это закон обычной жизни. Случайность также не противоречит реальности. В ней играет свою роль и симуляция, как это видно на примере жуликов, шпионов, беглецов. Напротив, головокружение практически полностью изгнано из нее, если не считать некоторых редких профессий, где, собственно, профессиональным достоинством человека является умение его преодолеть. К тому же оно почти немедленно влечет за собой угрозу смерти. На ярмарочных аттракционах, служащих для искусственного головокружения, принимаются строгие меры безопасности, чтобы устранить всякий риск несчастного случая. И все равно бывает, что они происходят, даже на таких машинах, которые задуманы и построены с целью обеспечить максимальную безопасность клиентов, да к тому же периодически подвергаются тщательным проверкам. Физическое головокружение, экстремальное состояние, лишаящее человека всяких возможностей защиты, так же трудно вызывать, как и опасно испытывать. Поэтому стремление к расстройству сознания или восприятия, чтобы распространиться на повседневную жизнь, должно принимать формы весьма отличные от тех, которые оно получает в аппаратах, создающих вращение, стремительное перемещение, падение или другое резкое движение, и изобретенных для того, чтобы вызывать головокружение в замкнутом и защищенном мире игры.

Эти дорогостоящие, сложные, громоздкие сооружения существуют лишь в парках аттракционов столичных городов или же периодически сооружаются на ярмарочных площадях. Уже самой своей атмосферой они принадлежат к миру игры. К тому же вызываемые ими потрясения по самой своей природе точно соответствуют определению игры: они кратковременны, непостоянны, точно рассчитаны, прерывисты, словно ряд партий или соревнований. Наконец, они остаются независимыми от реального мира. Их действие ограничено их собственным существованием. Они прекращаются, как только машину останавливают, и не оставляют у любителя таких упражнений иных следов, кроме легкого кружения в голове, пока он не вернется в обычное уравновешенное состояние.

Чтобы головокружение освоилось в повседневной жизни, приходится заменять эти скоротечные эффекты физики темными и смутными силами химии. И тогда за желанным возбуждением или сладостной паникой, которые лишь ненадолго и грубо доставляют

эти ярмарочные сооружения, обращаются к наркотикам и алкоголю. Но на сей раз бурное коловращение оказывается уже не вне реальности, не обособленным от нее — оно утверждает и развивается прямо в ней самой. Хотя опьянение и эйфория, подобно физическому головокружению, тоже способны на время разрушать устойчивость зрения и координацию движений, освобождать человека от тяжести воспоминаний, мук ответственности и давления внешнего мира, но их воздействие не прекращается вместе с приступом. Они постепенно, но надолго вносят нарушения в работу организма. Они мало-помалу создают постоянную потребность и невыносимую тревогу. Все это бесконечно далеко от игры — деятельности всегда побочной и необязательной. В опьянении и интоксикации стремление к головокружению все более вторгается в реальность — все шире и пагубнее, потому что вызывает привыкание, отдаляя тот порог, за которым человек начинает испытывать искомое расстройство чувств.

В данном случае опять-таки поучителен пример насекомых. Среди них есть такие, что любят играть в головокружение, начиная с бабочек, пляшущих вокруг пламени, и заканчивая маниакальным вращением водяных жуков-вертячек, превращающих поверхность малейшей лужицы в серебристую карусельную площадку. Но у насекомых, особенно у общественных насекомых, бывает и «искажение головокружения» в форме опьянения и с самыми бедственными последствиями.

Так, муравьи одного из самых распространенных видов, *Formica sanguinea*, жадно лижут пахучие эфирно-жировые выделения из брюшных желез небольших жесткокрылых под названием *Lochemusa strumosa*. Муравьи заносят их личинки к себе в муравейник и кормят их столь тщательно, что недокармливают своих. Вскоре личинки *Lochemusa* пожирают все потомство муравьев. Муравьиные царицы, не получая должного ухода, производят на свет одних лишь бесплодных псевдогинных особей. Муравейник вымирает и исчезает. Другие муравьи, *Formica fusca*, в свободном состоянии убивают лохемуз, но не трогают их, когда находятся в рабстве у *Formica sanguinea*. Испытывая такой же вкус к пахучему жиру, они держат у себя паразитов вида *Atemeles emarginatus*, которые также приводят их к гибели. Однако они уничтожают этих паразитов, находясь в рабстве у муравьев *Formica rufa*, которые терпеть их не могут. Таким образом, перед нами не какое-то необоримое влечение, а своего рода порок, способный исчезать в определенных обстоятельствах: в частности, рабство то вызывает его, то позволяет ему сопротивляться. Господа передают свои вкусы пленникам¹.

Подобные случаи добровольного одурманивания не являются изолированными. Муравьи еще одного вида, *Idomyrmex sanguineus* из

¹ PIERON H. Les instincts nuisibles à l'espèce devant les théories transformistes // Scientia. 1911. T. IX. P. 199–203.

Квинсленда, разыскивают гусениц серых бабочек-лунок, чтобы выпить пьющей жидкостью, которую те выделяют. Они сдавливают челюстями сочные ткани этих личинок и выжимают содержащийся в них сок. Высосав одну гусеницу, они принимают ее за другую. Беда в том, что гусеницы лунок пожирают яйца муравьев-*iridomyrmex*. Бывает и так, что насекомое, выделяющее пахучую жидкость, само «знает» о своей власти и возбуждает в муравьях их порок. Так, гусеница *Luscapa agion*, изученная Чепменом и Фрохоуком, имеет специальный медовый мешочек. Когда ей встречается рабочий муравей вида *Mutnisa laevipodis*, она приподнимает передние сегменты своего тела, приглашая муравья перенести ее в муравейник. А питается она личинками этих *mutnisa*. Муравей не интересуется ею в те периоды, когда она не выделяет меда. Наконец, яванское полужесткокрылое насекомое *Ptilocerus ochraceus*, описанное Киркальди и Джейкобсоном, имеет в середине брюшка специальную железу, выделяющую токсичную жидкость, и угощает ею муравьев, которые жадно поглощают ее. Они сразу же сбегаются лизать жидкость, она парализует их, и муравьи становятся легкой добычей для *ptilocerus'a*¹.

Пожалуй, такое порочное поведение муравьев говорит о наличии, как утверждали, вредных для вида инстинктов. Скорее оно доказывает, что необоримая тяга к парализующему веществу может нейтрализовать самые сильные инстинкты, в частности инстинкт самосохранения, заставляющий индивида заботиться о собственной безопасности и требующий от него защищать и кормить свое потомство. Можно сказать, что муравьи ради наркотика «забывают» обо всем. Они ведут себя самым пагубным образом, отдаются врагу сами или же оставляют ему свои яйца и личинок.

По странной аналогии, человека отупение, опьянение, одурманивание алкоголем тоже заставляют встать на путь незаметного и непоправимого саморазрушения. В конце концов, лишившись свободы желать чего-либо кроме своего зелья, он становится жертвой постоянного органического расстройств, куда более опасного, чем физическое головокружение, которое лишь на краткое время отнимает у него способность противиться очарованию бездны.

* * *

Что касается *ludus'a* и *raidia*, представляющих собой не категории игр, а способы играть в них, то они переносят в обыкновенную жизнь свой неизменный контраст — контраст между бессмысленным шумом и симфонией, бесформенной мазней и умелым применением законов перспективы. Их оппозиция по-прежнему вызывает

есть тем, что совместная целенаправленная деятельность, где все наличные ресурсы используются наилучшим образом, не имеет ничего общего с простой беспорядочной суетой, стремящейся лишь достичь своего собственного пароксизма.

Нашей задачей было рассмотреть искажение принципов игры или, если угодно, их свободное распространение без всяких ограничений и конвенций. Как мы видели, оно происходит одинаково. Оно влечет за собой последствия, которые — возможно, лишь внешне — весьма неравны по своей значимости. Безумие и одурманивание себя представляются каким-то несоизмеримым наказанием за простое выплескивание игры за те пределы, где она могла бы процветать без всяких непоправимых бед. Напротив, суеверие, порожаемое отклонением принципа *alea*, кажется чем-то безобидным. А ничем не обузданное честолюбие, в которое выливается дух состязательности, избавленный от правил равновесия и честности, нередко даже как бы доставляет преимущество тому, кто дерзко предается ему. Однако склонность полагаться в жизненных делах на непостижимые силы и на очарование вещей знамений, механически прилагая к ним какую-либо систему фиктивных соответствий, не побуждает человека лучшим образом использовать свои главные преимущества. Она толкает его к фатализму. Она делает его неспособным прозорливо оценивать отношения между явлениями. Она отнимает у него мужество, нужное для упорных усилий, чтобы добиться успеха вопреки неблагоприятным обстоятельствам.

Agôn, будучи перенесен в реальность, имеет одну лишь цель — успех. Правила учтивого соперничества оказываются забыты и презрены. Они кажутся теперь просто сковывающими лицемерными условностями. Начинается безжалостная конкуренция. Нечестные приемы оправдываются победой. Если отдельного человека еще как-то сдерживает страх попасть под суд или быть осужденным общественным мнением, то нациям кажется позволительным и даже достославным воевать без пределов и без пощады. Всякого рода ограничения, которые ставились насилью, оказываются устаревшими. Военные действия затрагивают уже не только пограничные области, крепости и войска. Они больше не следуют той стратегии, благодаря которой сама война порой походила на игру. Война далеко отходит от турнира, дуэли, вообще от боя по правилам в замкнутом пространстве, и обретает форму тотальной войны, с массовыми разрушениями и истреблением населения.

Всякое искажение принципов игры выражается в отказе от тех ненадежных, сомнительных конвенций, которые всегда можно, а то и выгодно отрицать, однако нелегкий процесс их установления как раз и совпадает с процессом цивилизации. Действительно, если принципы игр соответствуют тем или иным мощным инстинктам

¹ MORTON-WEELER W. Les Sociétés d'Insectes. (Trad. franç.) 1926. P. 312–317. В Документации (с. 196) приводится пример типичных приемов *ptilocerus'a*.

(состызанию, стремлению к удаче, симуляции, головокружению), то легко понять, что свое позитивное и творческое утоление они могут получить лишь в идеальных, жестко ограниченных условиях, которые и предлагают им правила соответствующих игр. Предоставленные самим себе, эти стихийные побуждения, неистово-разрушительные, как и любые инстинкты, могут привести лишь к пагубным последствиям. Игры дисциплинируют инстинкты, вводя их в рамки институционального существования. Давая им формально-ограниченное удовлетворение, они воспитывают их, делают их плодотворными и как бы делают душе прививку от их вредного воздействия. Одновременно они придают им способность с пользой содействовать обогащению и определению стилей разных культур.

ТАБЛИЦА 2

	Культурные формы на периферии социального механизма	Институциональные формы, интегрированные в жизнь общества	Искажение
Agôn (Состязание)	Спорт	Коммерческая конкуренция Экзамены и конкурсы	Насилие, воля к власти, хитрость
Alea (Удача)	Лотереи, казино Ипподромы Тотализаторы	Биржевая спекуляция	Суеверие, астрология и т. д.
Mimicry (Симуляция)	Карнавал Театр Кино Культ кинозвезд	Униформа, этикет, церемониал, представительские профессии	Отчуждение, раздвоение личности
Pinx (Головокружение)	Альпинизм Лыжи — воздушная акробатика Опьянение скоростью	Профессии, занятия которыми требует преодолеть головокружение	Алкоголизм и наркотики

V. К социологии, основанной на играх

В течение долгого времени изучение игр было почти исключительно историей игрушек. Обращали гораздо более внимания на инструменты и принадлежности игр, чем на их природу, на их характерные признаки и законы, на предполагаемые ими инстинкты, на типы удовлетворения, которое они доставляют. В общем и целом их считали просто незначительными детскими забавами. Поэтому никто и не думал признавать за ними какую-либо культурную ценность. Предпринимавшиеся исследования происхождения игр или игрушек лишь подтверждали это первое впечатление: игрушки и игры суть забавные и малозначительные орудия и действия, предос-

тавляемые детям, с тех пор как у взрослых есть более существенные занятия. Так, устарелое оружие становится игрушками — лук, щит, духовая трубка, праща. Бильбоке и юла первоначально были магическими приспособлениями. Сходным образом и многие игры основываются на утраченных верованиях или воспроизводят форму утративших смысл обрядов. Так, хороводы и считалки представляют собой древние, вышедшие из употребления заклятия.

«В итоге все впадает в игру», — приходится заключить читателю книгу Хирна, Грооса, леди Гомм, Каррингтона, Болтона и многих других¹.

Между тем Хейзинга еще в 1938 году, в своем капитальном исследовании «Homo ludens», выдвинул прямо противоположный тезис: из игры вырастает культура. Игра — это одновременно свобода и выдумка, фантазия и дисциплина. По ее мерке скроены все важнейшие явления культуры. Они основаны на создаваемом и поддерживаемом ею духе поиска, соблюдения правил, отрешенности. В некоторых отношениях наши нормы права, просодии, контрапункта и перспективы, правила сценической постановки и церковной службы, воинской тактики, философской дискуссии — суть игровые правила. Ими образуются конвенции, которые следует соблюдать. Своєю тонкой сетью они создают ни много ни мало — основу цивилизации.

«А не вытекает ли все из игры?» — спрашиваешь себя, дочитав «Homo ludens».

¹ Данный тезис наиболее широко распространен, наиболее популярен; к нему прислушивается общественное мнение. Он же пришел в голову и столь мало сведущему в этой области писателю, как Жан Жироду, который оставил его краткое изложение — импровизированное, образное, фантастическое в подробностях, но значительное в целом. Согласно ему, люди «посредством игры имитируют те телесные — а иногда и моральные — действия, от которых их заставляет отказываться современная жизнь». Теперь достаточно по-вообразить, и все легко объясняется: «Спортсмен-бегун, хотя его преследует соперник, гонится за воображаемым врагом или охотничьей добычей. Воздушный гимнаст взбирается на свои снаряды, собирая доисторические плоды. Фехтовальщик сражается с Гизом или Сирано, а метатель копья — с мидянами и персами. Ребенок, играющий в „кошку на дереве“ (разновидность салок. — *Примеч. пер.*), залезает на дерево, чтобы укрыться от змеи. Хоккеист отражает камни византийских пращников, а игрок в покер использует против своих партнеров в целях гипноза и внушения весь запас колдовства, каким еще располагают современные граждане в пиджаках. От каждого из отмерших занятий сохранилось живое свидетельство — игра; это мимическая история первых веков человечества, и соответственно спорт, то есть пантомима исторических сражений и страданий, в особенности хорош для того, чтобы сохранять наши тела в первозданной ловкости и силе» (GIRAUDOUX J. Sans pouvoirs. Monaco, 1946. P. 112–113).

Эти два тезиса почти полностью противоречат друг другу. Кажется, их еще ни разу не сопоставляли — ни с целью решить, который из них верен, ни с целью примирить их друг с другом. Надо признать, что примирить их как будто нелегко. В одном случае игры систематически расцениваются как деградация взрослых занятий, которые утрачивают свою серьезность и опускаются до уровня безобидных забав. В другом же случае игровой дух оказывается источником продуктивных конвенций, которые делают возможным развитие культур. Он стимулирует изобретательность, утонченность и выдумку. Одновременно он учит быть честным со своим противником и дает примеры состязаний, где соперничество продолжается не более, чем сама игра. Посредством игры человек оказывается в силах одолеть монотонность, детерминизм природы, ее слепоту и одновременно жестокость. Он учится строить порядок, упорядочивать вещи, устанавливать справедливые отношения.

Однако мне кажется возможным разрешить эту антиномию. Игровой дух — важнейшая принадлежность культуры, но с ходом истории игры и игрушки становятся ее остатками. Это непонятные для нас пережитки былого состояния или же заимствования из чужой культуры, лишённые смысла в той культуре, куда они введены; в обоих случаях они оказываются вне функциональной системы общества, где их наблюдают. Их в ней лишь терпят, тогда как на более ранней стадии или же в другом обществе, откуда они пришли, они были неотъемлемой частью основополагающих институтов — светских или сакральных. Конечно, тогда они вовсе не были играми в том смысле, в каком говорят о детских играх, однако они были связаны с духом игры, как его верно определяет Хейзинга. Изменилась их социальная функция, но не природа. Перенос из культуры в культуру, пережитая ими деградация лишили их политического или религиозного значения. Но этот упадок лишь четче выявил, выделил в чистом виде их содержание, а именно структуру игры.

Пора привести кое-какие примеры. Главный и, вероятно, самый примечательный из них дает нам маска — повсеместно распространенный сакральный предмет, чье превращение в игрушку представляет собой едва ли не самую важную переменную в истории цивилизации. Но есть и другие надежно засвидетельствованные случаи подобного сдвига. Ярмарочный шест связан с мифами о завоевании небес, футбол — с борьбой за солнечный шар между двумя противоположными фратриями. Некоторые игры с перетягиванием каната когда-то помогали определять наступление нового времени года и первенство соответствующей ему социальной группы. Воздушный змей, ставший игрушкой в Европе в конце XVIII века, на Дальнем Востоке являл собой «внешнюю» душу своего владельца, который остается на земле, но магически (и реально —

бечевкой, которой удерживают змея) связан с хрупким бумажным сооружением, отданным во власть воздушных потоков. В Корее воздушный змей служил козлом отпущения, с помощью которого греховная община избавлялась от бед. В Китае его использовали для измерения расстояний; как примитивный телеграф — для передачи несложных сообщений; наконец, для того, чтобы перебрасывать веревку через водную преграду, делая возможным наведение плавучего моста. В Новой Гвинее его использовали для буксировки лодок. Игра в «классики», по-видимому, представляла собой лабиринт, где сначала теряется проходящий инициацию. Игра в «кошку на дереве», несмотря на свою детскую невинность и суету, позволяет распознать в себе страшный обычай выбора искупительной жертвы: определенная решением судьбы, а позднее с помощью звучных, но бессмысленных слогов считалки, эта жертва могла (по крайней мере, так предполагается) избавиться от своей скверны, передав ее через прикосновение тому, кого настигнет на бегу.

В Египте во времена фараонов в гробницах часто изображалась шашечная доска, и пять ее нижних клеток справа украшались благотворными иероглифами. Над головой игрока были надписи, говорившие о приговорах судилища мертвых, где председательствует Осирис. В мире ином усопший ставит на кон свою участь и выигрывает или проигрывает вечное блаженство. В ведической Индии жрец раскачивался на качелях, чтобы помочь солнцу подняться на небосклон. Трасктория качелей, как считалось, соединяет небо и землю. Ее сравнивали с радугой — другим связующим звеном между небом и землей. Качели часто ассоциировались с идеей дождя, плодородия, обновления природы. Весной торжественно раскачивали изображения Камы — бога любви — и Кришны — покровителя стад. Все мироздание раскачивалось на космических качелях, и это движение увлекло за собой людей и целые миры.

Торжественные игры, периодически устраивавшиеся в Греции, сопровождалась жертвоприношениями и процессиями. Посвященные тому или иному божеству, они представляли собой благочестивое подношение в форме силы, ловкости или грации. Эти спортивные состязания изначально являлись особым рода культом, религиозной церемонией.

Азартные игры вообще постоянно связывались с гаданием, подобно тому как игры на силу и ловкость или же соревнования в загадках служили проверочными ритуалами при назначении на какую-либо важную должность или миссию. Бывает, что и современные игры не вполне свободны от своих сакральных истоков. Эскимосы играют в бильбоке только в период весеннего равенства — причем только в том случае, если назавтра им не идти на охоту. Такой очистительный срок невозможно было бы объяснить, если бы игра в бильбоке не являлась изначально чем-то большим, чем простая за-

бава. В самом деле, она служит поводом для всевозможных мнемотехнических формул. В Англии существует постоянная дата для игры в юлу, а если в нее играют не вовремя, то ее разрешается отнять. Известно, что в старину в деревнях, церковных приходах и городах имелись гигантские волчки, которые крутили религиозные братства в ритуальных целях и во время определенных праздников. Здесь детская игра, по-видимому, имеет нагруженную смыслом предысторию.

Со своей стороны, хороводы и пантомимы продолжают или дублируют забытые ныне религиозные обряды. Во Франции это, например, «Берегитесь, там на башне», «Северный мост» или «Рыцари у брода», а в Великобритании — «Дженни Джонс» или «Старый Роджерс».

Этого уже достаточно, чтобы обнаружить в сценариях таких потех воспоминания о женитьбах с похищением невесты, о различных табу, о похоронных обрядах и многих других забытых обычаях.

В конечном итоге нет такой игры, где специалисты-историки не обнаружили бы последнюю стадию упадка какой-либо торжественной и принципиально важной деятельности, от которой зависело процветание или свершение судьбы отдельного человека или целого сообщества. Вопрос, однако, в том, не является ли глубоко ошибочной такая доктрина, считающая любую игру последней, унижительной метаморфозой какой-то серьезной деятельности? Не представляет ли она собой на деле просто оптическую иллюзию, никак не разрешающую проблемы?

Да, действительно, лук, праща и духовая трубка сохраняются в виде игрушек, когда на смену им приходит более мощное оружие. Но ведь дети играют также и с водяными или пистонными револьверами, с пневматическими карабинами, в то время как револьвер или ружье не вышли пока из употребления у взрослых. Они также играют и с миниатюрными танками, подводными лодками и самолетами, сбрасывающими игрушечные атомные бомбы. Нет такого нового оружия, которое сразу не превращалось бы в игрушку. И наоборот, ничем не доказано, что дети уже и в доисторическую эпоху не играли с самодельными луками, пращами и духовыми трубками, в то время как их отцы применяли их «по-настоящему» и «взаправду», если воспользоваться красноречивыми выражениями детского языка. Вряд ли нужно было ждать появления автомобиля, чтобы играть в дилижанс. Игра в «монополию» воспроизводит функционирование капитализма — она не приходит ему на смену.

Это замечание столь же действительно в сакральной, как и в профанной области. У индейцев пуэбло из штата Нью-Мексико имеются «качинас» — полубоги, составляющие главный предмет

поклонения; но это не мешает взрослым, почитающим и воплощающим «качинас» в ходе костюмированных танцев, изготавливать их кукольные подобию на потеху своим сыновьям. Так же и в католических странах дети часто играют в мессу, в конфирмацию, в венчание, в похороны. Родители им не препятствуют — по крайней мере до тех пор, пока имитация остается почтительной. Сходным образом и в Черной Африке дети изготавливают маски и магические трещотки, и если их наказывают, то по той же самой причине — в случае если подражание выходит за рамки приличия и принимает слишком пародийно-кошунственный характер.

Итак, предметы, символы и ритуалы религиозной жизни, действия и жесты жизни воинской сплошь и рядом имитируются детьми. Им доставляет удовольствие вести себя как взрослые, на время притворяться взрослыми. Поэтому любая церемония и вообще любая регулярная деятельность, если она имеет впечатляюще-торжественный вид и особенно если совершающий ее надевает для этого специальный костюм, обычно служит основой для игры, которая воспроизводит ее внешние формы. Отсюда популярность игрушечного оружия и доспехов, которые с помощью кое-каких характерных принадлежностей и несложного переоблачения позволяют ребенку превращаться в офицера, полицейского, наездника, летчика, моряка, ковбоя, автобусного кондуктора, вообще в любого чем-то примечательного персонажа, привлекающего детское внимание. Так же обстоит дело и с куклами, которые у всех народов позволяют девочке подражать своей матери, самой быть матерью.

Приходится предположить, что имеет место не деградация серьезной деятельности до детской забавы, а скорее одновременное присутствие двух разных регистров. Уже индийский ребенок тешился на качелях, в то время как жрец торжественно качал Каму или Кришну на священных качелях, пышно украшенных драгоценными камнями и цветочными гирляндами. Сегодня дети играют в солдат, между тем армии вовсе не исчезли. А как вообразить, что когда-нибудь исчезнет игра в куклы?

Если теперь обратиться к занятиям взрослых, то рыцарский турнир — это игра, а война — нет. В разные эпохи на ней погибает много или мало народу. Конечно, можно быть убитым и на турнире, но лишь вследствие несчастного случая, как и на автомобильных гонках, на матче по боксу или в схватке фехтовальщиков, — потому что турнир строже регламентирован, резко отделен от реальной жизни, четче ограничен, чем война. Кроме того, он по натуре своей не имеет последствий вне турнирной площадки: это просто повод к совер-

шению престижных подвигов, которые забываются после новых свершений, подобно тому как новый рекорд отменяет прежнее достижение. Точно так же игрой является рулетка, но не биржевая спекуляция, хотя рискуют в ней не меньше: разница в том, что в первом случае запрещается как-либо воздействовать на приговор судьбы, а во втором, напротив, все стараются повлиять на окончательное решение, сдерживаясь лишь постольку, поскольку боятся скандала или тюрьмы.

Отсюда видно, что игра — вовсе не безобидный пережиток какого-то занятия, оставленного взрослыми, хотя иной раз она и может симулировать некоторые устаревшие занятия. Прежде всего она представляет собой параллельную, независимую деятельность, противостоящую событиям и решениям обыденной жизни по ряду специфических признаков, которые свойственны ей и делают ее игрой. Эти специфические признаки я и пытался определить и проанализировать в начале главы.

Детские же игры отчасти и вполне естественно состоят в том, чтобы подражать взрослым, подобно тому как воспитание детей имеет целью подготовить их к взрослой жизни, к реальной ответственности — а не к воображаемой, которую можно отменить, просто сказав «я больше не играю». Но именно здесь и начинается настоящая проблема. Ведь не следует забывать, что и сами взрослые все время играют в сложные, разнообразные, порой опасные игры, которые остаются играми, потому что переживаются как таковые. Хотя в них может ставиться на карту целое состояние и даже жизнь, как и в «серьезной» деятельности, а то и в большей степени, — каждый сразу же отличает их от такой деятельности, пусть самому игроку она и кажется менее важной, чем игра, которой он увлечен. Действительно, игра остается обособленной, замкнутой в себе, она в принципе не имеет существенного воздействия на прочность и непрерывность коллективно-институциональной жизни.

Многочисленные авторы, упорно видящие в играх, особенно детских, потешно-бессодержательную деградацию некогда осмысленных и считавшихся важными видов деятельности, недооценивали тот факт, что игра и обычная жизнь всегда и всюду представляют собой антагонистические и сосуществующие области. А такая ошибка сама по себе поучительна. Она позволяет уверенно заключить, что вертикальная история игр — то есть история их трансформации на протяжении веков (религиозный обряд превращается в хоровод, магический предмет или принадлежность культа становятся игрушками) — далеко не объясняет природу игры, как казалось эрудитам, кропотливо разыскивавшим эти ненадежные родственные связи. Зато эти связи косвенно показывают, что игра единственна культуре, чьи сложнейшие и значительнейшие проявления тесно сплетены с игровыми структурами — или же просто

представляют собой игровые структуры, принимаемые всерьез, возведенные в институты, в законы, ставшие императивными, принудительными, непреложными структурами, то есть правилами социальной игры, нормами такой игры, которая уже не есть игра.

В конечном счете вопрос о том, что чему предшествовало — игра или серьезная структура, — представляется достаточно праздным. Объяснять игру исходя из законов, обычаев или обрядов или, наоборот, объяснять юриспруденцию, литургию, правила стратегии, силлогизма или эстетики исходя из духа игры — две взаимодополнительных, равно плодотворных операции, если только они не претендуют на исключительность. Структуры игры и полезные структуры часто тождественны, но соответствующие им виды деятельности несводимы друг к другу в том или ином месте и в то или иное время. Во всяком случае, они осуществляются в несовместимых областях.

Тем не менее играми выражается то же самое, что выражается культурой. Совпадают их движущие силы. Конечно, с течением времени, в ходе эволюции культуры то, что было институтом, может прийти в упадок. Договор, некогда имевший основополагающее значение, становится чисто формальной условностью, которую каждый соблюдает или нет по собственному хотению, потому что подчинение ей отныне составляет как бы роскошь, торжественно-чарующий пережиток прошлого, никак не влияющий на нынешний ход дел в обществе. Мало-помалу такое устарелое почтение вырождается до чисто игрового правила. Но сам факт того, что в игре можно распознать некогда важный элемент социального механизма, показывает необычайную близость этих двух областей и возможность самых неожиданных взаимообменов между ними.

Любой институт функционирует отчасти как игра, он и сам представляет собой игру, которую надо было учредить, основать на новых принципах и которой пришлось вытеснить более старую игру. Эта новоявленная игра отвечает иным потребностям, чтит иные нормы и законы, требует иных качеств и способностей. С такой точки зрения революция представляет собой смену правил игры: скажем, преимущества или обязанности, еще недавно распределявшиеся по случайному признаку происхождения, теперь нужно заслуживать самостоятельно, на конкурсе или экзамене. Иначе говоря, принципы, управляющие различными видами игр, — случайность или ловкость, удача или доказанное превосходство — проявляются и вне замкнутого мирка игры. Следует лишь помнить, что в нем они властвуют безраздельно, не встречая никакого сопротивления, словно это какой-то фиктивный, нематериальный и невесомый мир, тогда как в сложном, запутанном мире реальных человеческих отношений их действие никогда не бывает обособленным, всевластным, заранее ограничен-

ным: оно влечет за собой неизбежные последствия. На благо или во зло, но оно обладает естественной продуктивностью.

Однако в обоих случаях работают одни и те же движущие силы, и их можно определить:

- *потребность в самоутверждении, желание показать себя самым лучшим;*
- *любовь к соперничеству, к рекордам или просто к преодолению трудностей;*
- *ожидание милостей судьбы или погоня за ними;*
- *удовольствие от тайны, притворства, переоблачения;*
- *удовольствие испытывать страх или внушать его другим;*
- *стремление к повтору, к симметрии или же, напротив, радость импровизировать, выдумывать, бесконечно варьировать решения;*
- *радость от выяснения тайн, разгадывания загадок;*
- *удовлетворение, доставляемое любым комбинаторным искусством;*
- *желание испытать себя, соревнуясь в силе, ловкости, скорости, выносливости, устойчивости, изобретательности; разработка правил и кодексов, обязанность соблюдать их, соблазн их обойти;*
- *наконец, опьянение и упоение, стремление к экстазу, желание пережить сладостную панику.*

Почти все эти настроения или побуждения, часто совместимые друг с другом, обнаруживаются и в маргинальном и абстрактном мире игр, и в мире социальной жизни, где поступки обычно влекут за собой полновесный результат. Однако в первом и втором случае эти настроения неодинаково необходимы, играют неодинаковую роль, пользуются неодинаковым доверием.

Кроме того, между ними невозможно соблюдать равновесие. В значительной части они взаимно исключают друг друга. Там, где в чести какие-то одни из них, обязательно отвергаются другие. Люди то подчиняются законникам, то прислушиваются к безумцам; полагаются то на расчет, то на вдохновение; уважают то силу, то дипломатию; отдают предпочтение заслугам или опыту, мудрости или какому-то непроверяемому (а значит, неоспоримому) знанию, исходящему, как полагают, от богов. Так в каждой культуре происходит неявное, неточное, неполное распределение ценностей на те, за которыми признают социальную эффективность, и на все остальные. При этом последние развиваются в оставляемых им периферийных областях, среди которых важное место занимает область игры. Поэтому можно задать вопросом, нет ли соотношения между различиями культур, особенными чертами, придающими каждой из них ее оригинальный склад, — и природой некоторых игр, кото-

рые в данной культуре процветают, а в других не пользуются такой популярностью.

Само собой разумеется, что пытаться описать культуру через одни лишь ее игры было бы очень смело и, вероятно, чревато ошибками. В самом деле, каждая культура одновременно знает и практикует большое количество игр разных видов. А главное, невозможно без предварительного анализа решить, какие из них согласуются с институциональными ценностями, подтверждают их, усиливают, а какие, наоборот, противоречат им, ниспровергают их, то есть служат в данном обществе фактором компенсации, предохранительным клапаном. Например, ясно, что в классической Греции игры на стадионе иллюстрировали собой идеал полиса и способствовали его осуществлению, тогда как во многих современных государствах национальные лотереи или тотализатор на скачках идут наперекор провозглашаемому идеалу; тем не менее они выполняют существенную, возможно даже необходимую роль, именно постольку, поскольку создают алеаторный противовес тем вознаграждениям, которые в принципе должны приносить только труд и личная заслуга.

Как бы то ни было, поскольку игра занимает особую область, содержание которой изменчиво и порой даже взаимозаменяемо с содержанием обычной жизни, важно было прежде всего как можно точнее определить специфические черты этого занятия, которое считается детским, но во многих своих формах привлекает и взрослых. Такова была моя первая задача.

Вместе с тем пришлось констатировать, что, когда взрослый предается этой якобы потехе, она поглощает его не менее, чем профессиональная деятельность. Часто она интересует его даже больше. *Иной раз она требует от него большей затраты энергии, ловкости, ума или внимания.* Эта свобода, интенсивность игры и то, что утверждаемая ею деятельность разворачивается в отдельном, идеальном мире, защищенном от непоправимых последствий, — на мой взгляд, объясняют культурную плодовитость игр и позволяют понять, каким образом в выборе игр нам частично раскрываются лицо, стиль и ценности каждого общества.

Итак, убедившись, что между играми, нравами и институтами закономерно существуют тесные отношения компенсации или близости, представляется достаточно разумным поставить вопрос о том, не заложена ли сама судьба различных культур, их шансы на успех или риск застоя, в предпочтении, которое они отдадут той или иной из элементарных категорий, на которые я разделил игры и которые обладают неравной продуктивностью. Иначе говоря, я занимаюсь не просто социологией игр. Моя задача заложить фундамент социологии, *основанной на играх.*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

VI. Расширенная теория игр

ОСНОВНЫЕ настроения, от которых зависят игры, — состязание, удача, симуляция, головокружение — не всегда встречаются отдельно друг от друга. Во многих случаях можно говорить об их комбинации. Есть немало таких игр, которые именно и основаны на их способности к сочетанию. Однако эти резко отличные друг от друга принципы согласуются по-разному. Если брать их по два, то теоретически из четырех основных настроений получается шесть и только шесть равно возможных сочетаний. Каждое поочередно сочетается с одним из трех других:

- состязание-удача (agôn-alea);
- состязание-симуляция (agôn-mimicry);
- состязание-головокружение (agôn-ilinx);
- удача-симуляция (alea-mimicry);
- удача-головокружение (alea-ilinx);
- симуляция-головокружение (mimicry-ilinx).

Можно, конечно, предположить и тройные сочетания, но ясно, что они почти всегда представляют собой случайные соединения, не влияющие на характер тех игр, где их можно заметить: например, конские скачки, типичный agôn для жокеев, являются одновременно зрелищем, относящимся к mimicry, и поводом для заключения пари, то есть служат основой для alea. Однако эти три области остаются относительно автономными. Принцип скачек не меняется от того, что на лошадей делают ставки. Здесь имеет место не союз, а просто встреча разных игровых принципов, хотя она не обусловлена случаем и объясняется самой их природой.

Они даже и попарно сочетаются неодинаково легко. Принципы их таковы, что шесть теоретически возможных сочетаний имеют разную степень вероятности и эффективности. В некоторых случаях сочетание двух принципов либо оказывается изначально немислимым, либо исключается из сферы игр. Некоторые другие

комбинации, не будучи запрещены по природе вещей, все же остаются чисто случайными. Они не соответствуют каким-либо отношениям сродства. Наконец, бывает, что между основными различными тенденциями вдруг возникает глубокая близость.

Поэтому из шести возможных сочетаний два, как выясняется, противостественны, два других не более чем возможны, тогда как два последних — важнейшие соединения принципов.

Необходимо тщательнее разобраться в этой системе.

1. ЗАПРЕЩЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Прежде всего, ясно, что головокружение нельзя соединить с регулярным соревнованием, не лишив последнее его собственной природы. Вызываемый головокружением паралич, а в некоторых случаях и слепая ярость, представляют собой прямое отрицание контролируемых усилий. Ими уничтожаются самые условия, определяющие agôn: эффективное применение ловкости, силы, расчетливости; самообладание; стремление сражаться равным оружием; изначальная покорность решениям арбитра; заранее принятое обязательство ограничивать борьбу условленными рамками и т. д. — ничего этого не остается.

Правила и головокружение решительно несовместимы друг с другом. Столь же не способны к сотрудничеству симуляция и удача. В самом деле, любая хитрость делает бессмысленным испытание судьбы. Бесполезно пытаться обмануть случай. Игроку нужно такое решение, которое убедило бы его в безусловной милости судьбы. Когда он просит о таком решении, ему нельзя имитировать какое-либо иное лицо или представлять себя иным, чем он есть. К тому же ни одна симуляция по определению не способна обмануть рок. Alea предлагает безраздельно отдаться на милость судьбы, отказаться от маскировки и всех ее уловок. Иначе мы вступаем в область магии: ее задача — принудить судьбу. Как в предыдущем случае принцип agôn'a разрушается головокружением, так и здесь разрушенным оказывается принцип alea, и больше нет игры как таковой.

2. СЛУЧАЙНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Напротив, alea без ущерба для себя соединяется с головокружением, а состязание — с mimicry. Действительно, хорошо известно, что в азартных играх и того игрока, к кому судьба милостива, и того, кого преследует невезение, охватывает какое-то особенное головокружение. Они больше не чувствуют усталости и едва сознают происходящее вокруг. словно при галлюцинациях, они вглядываются в шарик рулетки, который вот-вот остановится, или в карту, которую сейчас откроют. Они теряют всякое хладнокровие и порой рискуют

большим, чем имеют. В фольклоре казино множество характерных историй на этот счет. Важно лишь заметить, что *ilinx*, которым разрушается *agôn*, отнюдь не делает невозможной *alea*. Он парализует, заволаживает игрока, доводит его до безумия, но отнюдь не заставляет его нарушать правила игры. Можно даже утверждать, что он делает его еще покорнее решениям судьбы и убеждает еще безраздельнее отдаваться на ее волю. *Alea* предполагает отказ от собственной воли, и можно понять, что ею вызывается состояние транса, одержимости или гипноза. В этом и заключается соединение двух тенденций.

Аналогичное соединение существует и между *agôn*'ом и *mimicry*. Мне уже приходилось это подчеркивать: любое состязание само по себе есть зрелище. Оно разворачивается по таким же правилам, в таком же ожидании развязки. Оно требует присутствия публики, которая толпится у касс стадиона или велодрома, так же как и у касс театров и кинозалов.

При каждом достигнутом успехе противникам аплодируют. В их борьбе бывают перипетии, соответствующие различным актам или эпизодам драмы. Наконец, уместно напомнить, насколько близки роли чемпиона и кинозвезды. Здесь опять-таки происходит соединение двух тенденций, так как *mimicry* не только ничем не вредит принципу *agôn*'а, но и усиливает его, требуя от каждого из конкурентов не обманывать ожиданий публики, которая одновременно и приветствует его и контролирует. Он чувствует себя участником представления, он обязан играть как можно лучше, то есть, с одной стороны, безусловно правильно, а с другой — прилагая все усилия для достижения победы.

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Остается рассмотреть те случаи, в которых констатируется существенное сближение между разными принципами игр. В этом плане показательно строго симметричное соотношение между *agôn*'ом и *alea*: они параллельны и дополняют друг друга. Оба они требуют абсолютно справедливых условий, математически выверенного равенства шансов, которое максимально приближалось бы к безукоризненной точности. И в том и в другом случае — безусловно строгие правила, тщательные измерения, тонкие расчеты. Однако способ выявления победителя в этих двух видах игр прямо противоположный: в одном случае, как мы видели, игрок рассчитывает лишь на свои возможности, в другом же намеренно отказывается их использовать. Но между крайними примерами, которые представляют собой, скажем, шахматы и кости, футбол и лотерея, раскрывается широчайший спектр игр, где обе установки комбинируются в разных пропорциях: тут и карточные игры, не основанные на чистой случайности, и домино, и гольф, и много других, где игрок получает

удовольствие, используя не им созданную ситуацию или лишь отчасти направляемые им перипетии. Удача или неудача выражает собой то сопротивление, которое природа, внешний мир или воля богов оказывают силе, ловкости или знаниям игрока. Игра являет собой образ самой жизни — но образ фиктивный, идеальный, упорядоченный, обособленный, ограниченный рамками. Иначе и не может быть, поскольку все это неотъемлемые свойства игры.

Agôn и *alea* в этом мире относятся к области правил. Без правил не бывает ни состязаний, ни азартных игр. На противоположном полюсе — *mimicry* и *ilinx*, которые в равной мере предполагают мир без правил, где игрок постоянно импровизирует, полагаясь на бурную фантазию или вдохновение свыше, не признающие никакой кодификации. Только что мы видели, как в *agôn*'е игрок опирается на свою волю, а в *alea* отказывается от нее. Теперь же *mimicry* требует от играющего сознавать свое притворство и симуляцию, тогда как для головокружения и экстаза характерно выключение сознания.

Иными словами, в симуляции можно заметить некое раздвоение сознания актера между его собственной личностью и исполняемой им ролью; напротив, при головокружении происходит паническое расстройство или даже полное затмение сознания. А хуже всего то, что симуляция сама по себе есть генератор головокружения, а раздвоение личности — источник паники. Притворяться другим — это занятие, от которого легко обезуметь и выйти из себя. Ношение личины опьяняет и снимает ограничения. Оттого в этой опасной области, где рушится ясность восприятия, сочетание маски и транса грозит особенно серьезными последствиями. Оно вызывает такие припадки, достигает таких пароксизмов, что в галлюцинирующем сознании одержимого временно уничтожается весь реальный мир.

Сочетание *alea* с *agôn*'ом — это игра свободной воли, основанная на удовлетворении от преодоления произвольно придуманной и добровольно принятой трудности. А союз *mimicry* и *ilinx*'а открывает двери в полный, безоглядный разгул, который в наиболее четких своих формах представляет собой прямую противоположность игры, то есть абсолютную метаморфозу всех условий жизни: вызываемое при этом безумие, лишенное всяких мыслимых ориентиров, по своей властности, значимости и интенсивности настолько же превосходит реальный мир, насколько сам реальный мир превосходит формально-юридические, изначально огражденные виды деятельности, какими являются игры, подчиненные взаимодополняющим правилам *agôn*'а и *alea* и четко размеченные. Союз симуляции и головокружения столь могуч и необорим, что он естественным образом принадлежит к сфере сакрального и, пожалуй, образует одну из главных причин характерной для нее смеси страха и очарования.

Сила такого волшебства представляется непобедимой, и ничего удивительного, что на избавление от ее миража человеку потребовались тысячелетия. При этом он достиг того, что обычно называют цивилизацией. Я считаю приход цивилизации следствием примерно одного и того же пари, но заключалось оно всюду на разных условиях. Во второй части своей работы я постараюсь наметить основные черты этого решающего переворота. А в конце, сделав несколько неожиданный шаг в сторону, я попытаюсь установить, каким образом произошло разделение, разрыв, незаметно подорвавшие тайный союз головокругения и симуляции, при том что почти все говорило о его непоколебимом постоянстве.

Однако прежде чем приступить к рассмотрению капитальной перемены, заменившей мир маски и экстаза миром заслуг и удачи, мне еще остается в этих предварительных замечаниях кратко указать на другую симметрию. Как мы только что видели, alea прекрасно сочетается с agôn'ом, а mimisгу с ilinx'ом. Но в то же время характерно, что внутри этого союза и в том и в другом случае один элемент выступает как активно-продуктивный фактор, а другой — как пассивно-разрушительный.

Состязание и симуляция могут создавать и действительно создают формы культуры, за которыми обычно признается либо воспитательная, либо эстетическая ценность. Из них возникают устойчивые, влиятельные, часто встречающиеся, почти неизбежные институты. Действительно, состязание по правилам — это не что иное, как спорт; а симуляция, понимаемая как игра, — не что иное, как театр. Напротив того, поиски удачи, погоня за головокругением за редкими исключениями ни к чему не приводят, не создают ничего способного к развитию и прочному установлению. Чаше бывает, что порождаемые ими страсти оказывают парализующее, прерывающее и разрушительное действие.

Корень такого неравенства, как кажется, нетрудно обнаружить. В первом объединении, где главенствует мир правил, alea и agôn выражают собой диаметрально противоположные волевые установки. Agôn, стремление к победе и усилия для ее достижения, предполагает, что состязающийся рассчитывает на свои собственные ресурсы. Он хочет восторжествовать, доказать свое превосходство. Нет ничего плодотворнее такого стремления. Напротив, alea представляет собой изначальное, безусловное принятие приговора судьбы. Такой отказ от борьбы означает, что игрок всецело полагается на то, как выпадут кости, что он будет только бросать их и смотреть на результат. Его правило в том, чтобы воздерживаться от действий, не искажая решение судьбы и не вырывая его силой.

Конечно, и то и другое суть два симметричных способа обеспечить точное равновесие, абсолютное равенство шансов между конкурентами. Но первое представляет собой волевою борьбу с внешними препятствиями, а второе — отказ от волеизъявления перед лицом предполагаемых знамений свыше. Поэтому соревнование служит постоянным и эффективным упражнением, тренировкой человеческих способностей, тогда как фатализм в основе своей ленив. Одно настроение требует развивать любые свои личные преимущества, другое — неподвижно и немо дожидаться торжества или осуждения, приходящих извне. В такой ситуации неудивительно, что подспорьем и вознаграждением agôn'a являются знание и техника, тогда как нерешительность alea непременно сопровождается магией и суевериями, изучением чудес и совпадений¹.

Такую же двуполярность можно констатировать и в хаотическом мире симуляции и головокругения. Mimisгу заключается в намеренном представлении какого-то персонажа, что легко становится художественным творчеством, делом расчета и умелости. Актер должен выстраивать свою роль и создавать драматическую иллюзию. Ему приходится быть внимательным и постоянно сохранять присутствие духа — точно так же, как участнику состязания. И наоборот, в ilinx'e, который в этом отношении сходен с alea, происходит отречение — причем не только от воли, но и от сознания. Предающийся такой игре устремляется куда кривая выведет, и его пьянит от чувства, что эта кривая направляется чуждыми ему силами. Чтобы достичь такого состояния, нужно лишь отдаться на их волю, для чего не требуется никакого особенного умения.

В азартных играх опасность заключается в том, что игрок не может остановиться, здесь же она в том, что он не может положить конец добровольному расстройству. Из таких негативных игр, казалось бы, все же может вырасти более сильная способность противиться тем или иным чарам. Но на деле все наоборот. Ведь эта способность проявляется лишь при навязчивой obsессии, а значит, она все время вновь испытывается и как бы по природе своей обречена на поражение. Ее не воспитывают — ею рискуют до тех пор, пока она не падет. Игры симуляции приводят к театральным искусствам, выражающим и прославляющим культуру. А стремление к трансу

¹ Нет нужды пояснять, что эти противоположные настроения редко встречаются в чистом виде. У спортсменов бывают фетиши (но все-таки рассчитывают они на силу мышц, ловкость или ум), а азартные игроки, прежде чем сделать ставку, занимаются изошренными, почти бесполезными расчетами (но при этом они, не читавшие Пуанкаре и Бореля, все же чувствуют, что у случайности нет ни сердца, ни памяти). Человек не может быть всецело на стороне agôn'a или на стороне alea. Выбирая один из этих принципов, он одновременно признает в другом какой-то стьдливый противовес первому.

и глубинной панике подавляет в человеке способность желать и различать. Оно делает его пленником двусмысленно-восторженных экстазов, в которых он чувствует себя богом и которые ведут к его уничтожению.

Итак, внутри каждого из двух основных объединений лишь одна категория игр является подлинно творческой: *mitistgu* — в сочетании маски с головокружением и *agön* — в сочетании регулярного соперничества с испытанием удачи. Две другие быстро оказываются разрушительными. В них выражается некое непомерное, нечеловеческое, неисцелимое искушение, какая-то ужасная и пагубная тяга, чью завлекательную силу важно нейтрализовать. В тех обществах, где царят симуляция и гипноз, выход иногда оказывается найден в тот момент, когда спектакль берет верх над трансом, то есть когда маска колдуна становится театральной маской. В обществах, основанных на сочетании заслуги и удачи, также существует непрестанное, не всегда равно успешное стремление увеличивать долю справедливости за счет случайности. Это стремление называют прогрессом.

Теперь пора рассмотреть действие этого двойного соотношения (с одной стороны, симуляции и головокружения, с другой — удачи и заслуги) в ходе перипетий развития человечества, как они предполагаются нами и рисуются современной этнографией и историей.

VII. Симуляция и головокружение

Игры обладают исключительной стабильностью. Рушатся империи, исчезают социальные институты, а игры остаются — с теми же правилами, порой с теми же принадлежностями. Причина этого прежде всего в том, что они являются чем-то незначительным и именно поэтому постоянным. Здесь — первая загадка. Ведь, обладая такой непрерывностью, одновременно текучей и упрямой, они все же не похожи на древесные листья, которые из года в год умирают и из года в год остаются такими же, как прежде; при всем своем постоянстве, они не уподобляются окраске животных, рисунку на крыльях бабочек, спиральному изгибу раковин, которые невозмутимо передаются из поколения в поколение. У игр нет такой наследственной идентичности. Они бесчисленно множественны и переменчивы. Они принимают тысячи форм, неодинаково распространенных, словно виды растений; но они бесконечно успешнее их акклиматизируются, перемещаются и приживаются на новом месте с ошеломительной быстротой и легкостью. Немного найдется таких игр, которые бы долгое время оставались исключительным достоянием какого-то определенного ареала. Можно назвать волчок —

изобретение сугубо западное, воздушного змея, который, по-видимому, был неизвестен в Европе до XVIII века, — но что же еще? Остальные игры еще в давние времена в той или иной форме распространились по всему свету. Они доказывают то, что человеческая природа всюду одинакова. Даже если иногда и удастся определить их происхождение, приходится отказываться от попыток очертить сферу их распространения. Каждая из них везде популярна: волевыми неволей приходится признать какую-то удивительную универсальность игровых принципов, законов, приспособлений, приемов.

А) ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ИГР И КУЛЬТУР

Устойчивость и универсальность взаимно дополняют друг друга. Они особенно значительны потому, что игры в большой мере зависят от культуры, в которой они практикуются. В них сказываются ее предпочтения, в них находят продолжение ее обычаи, в них отражаются ее верования. В античности игра в «классики» была лабиринтом, по которому подталкивают камешек — то есть душу — к выходу. С приходом христианства рисунок «классиков» удлинился и упростился. Теперь они воспроизводят план базилики: требуется довести душу-камешек до Неба, Рая, Венца или Славы, которые совпадают с главным алтарем храма, схематически изображенного последовательностью квадратиков на земле. В Индии играли в шахматы с четырьмя королями. Игра была перенесена в средневековую Европу. Под двойным влиянием культов Богородицы и куртуазной любви один из королей превратился в Королеву или Даму, и она сделалась самой сильной фигурой, тогда как королю была отведена роль идеального, но пассивного приза, за который идет борьба. И все же главное состоит в том, что эти перемены не затронули существенную непрерывность игры в «классики» или в шахматы.

Можно пойти дальше и заявить, что существует взаимосвязь между любым обществом и популярными в нем играми: правила этих игр связаны с типичными достоинствами и недостатками членов данного коллектива. В этих любимых и шире всего распространенных играх проявляются, с одной стороны, самые расхожие вкусы, способы рассуждать, а с другой стороны, они воспитывают и тренируют играющих, закрепляя в них эти достоинства и изъяны, незаметно подтверждая их привычки и предпочтения. Тем самым игра, которую почитает тот или иной народ, может одновременно служить для определения некоторых его моральных или интеллектуальных черт, доказывать точность описания и делать его еще более истинным, подчеркивая эти самые черты у играющих.

Нет ничего абсурдного в том, чтобы ставить диагноз целой цивилизации на основе тех игр, которые в ней особенно процветают. В самом деле, если игры суть факторы и образы культуры, то от-

сюда следует, что в известной мере цивилизация и та или иная эпоха в ее истории может быть описана через свои игры. Они с необходимостью выражают ее общий облик и дают важные указания относительно предпочтений, слабостей и сильных сторон данного общества в данный момент его эволюции. Быть может, для бесконечного ума, для воображаемого демона Максвелла¹ судьбу Спарты уже можно было предсказать по воинской суровости игр в палестре, судьбу Афин — по апориям софистов, падение Рима — по боям гладиаторов, а упадок Византии — по схваткам на ипподроме. Игры дают людям привычки, образуют их рефлексy. Они позволяют ожидать реакций определенного типа и, следовательно, заставляют считать противоположные реакции грубыми или коварными, вызывающими или нечестными. Конечно, контраст между играми двух соседних народов — не самое надежное объяснение причин психологических трений между ними, но задним числом он может стать их впечатляющей иллюстрацией.

К примеру, небезразличен тот факт, что главный англосаксонский спорт — это гольф, то есть такая игра, где каждый в любой момент имеет возможность сколько угодно и как угодно плутовать, но как только в этой игре начинают плутовать, она утрачивает всякий интерес. Ничего удивительного, что в тех же странах существует корреляция между поведением налогоплательщика по отношению к фискальным органам и гражданина по отношению к государству.

Не менее поучительный пример дает аргентинская карточная игра «труко», где все строится на хитрости и даже, если угодно, плутовстве — но только плутовстве кодифицированном, регламентированном, обязательном для всех. В этой игре, сходной с покером и манильей, для каждого игрока главное — сообщить партнеру, какие карты и комбинации карт у него на руках, и чтобы об этом не узнали противники. Для обозначения карт он пользуется мимикой. Есть целый ряд специальных мин, гримас, подмигиваний, которые всегда, предусмотренные правилами игры, должны дать сведения союзнику, не выдавая их врагу. Хороший игрок умеет быстро и незаметно воспользоваться малейшей невнимательностью другой команды: мгновенная игра мимики — и его партнер предупрежден. Что же касается карточных комбинаций, то они имеют названия, например *цветок*; умение игрока заключается в том, чтобы намекать на эти названия партнеру, не произнося их вслух, подводить к ним издали, чтобы партнер понял сообщение. Столь необычные элементы этой крайне

распространенной, можно сказать национальной игры опять-таки с необходимостью вызывают, поддерживают или выражают определенные психологические привычки, влияющие на оригинальный облик повседневной жизни, а порой и на ход общественных дел: это использование хитроумных намеков, острое чувство солидарности между партнерами, склонность к обману — полуплутовому, полусерьезному, в принципе допустимому и благосклонно принимаемому, но с правом отыгрыша; наконец, многоречивость, в потоке которой не так-то просто отыскать ключевое слово и которой также тренируется соответствующая способность их отыскивать.

Китайцы считают шахматную и шашечную игру одним из четырех видов деятельности, в которых должен упражняться образованный человек, — наряду с музыкой, каллиграфией и живописью. Они полагают, что эти игры равно приучают ум получать удовольствие от многообразных решений, комбинаций и ловушек, которые ежеминутно возникают в постоянно обновляющихся ситуациях. В них усмиряется агрессивность, а душа учится безмятежности, гармонии, радости от созерцания возможных вариантов. Это, безусловно, специфическая черта определенной цивилизации.

Ясно, однако, что такого рода диагнозы чрезвычайно сложны. Даже те из них, что кажутся самыми очевидными, следует строго проверять другими данными. Вообще, они изначально теряют всякое значение из-за множественности игр, одновременно пользующихся предпочтением в одной и той же культуре. Наконец, бывает, что игра дает безобидную компенсацию, шутивно-фиктивный выход для преступных склонностей, которые порицаются и осуждаются законом и общественным мнением. В отличие от марионеток на ниточках, чаще всего феерически-грациозных, ручные куклы-гиньоли обычно изображают (это уже отмечал Хирн)¹ персонажей грубых и циничных, склонных к гротеску и аморальности, а то и к кощунству. Такова традиционная история Панча и Джуди². Панч убивает жену и сына, не дает милостыни нищему и колотит его, совершает всевозможные преступления, убивает смерть и черта, а в конце концов вешает на своей же виселице палача, который собирался повесить его. Конечно же, было бы ошибкой усматривать в таком последовательном шарже идеальный образ британской публики, которая аплодирует всем этим мрачным подвигам. Она вовсе не одобряет их, но шумная и безобидная радость дает ей разрядку: восторженными криками в честь скандально-торжествующего паяца она дешево отыгрывается за множество ограничений и запретов, которые в реальности навязывает ей мораль.

¹ Существо, придуманное английским физиком Дж. К. Максвеллом (1831–1879) для иллюстрации динамической теории газов и способное измерять скорость движения каждой отдельной молекулы газа. — *Примеч. пер.*

¹ HIRN Y. Les Jeux d'enfants. (Trad. franç.) Paris, 1926. P. 165–174.

² Персонажи английского народного кукольного театра. — *Примеч. пер.*

Будучи выражением или отдушиной для коллективных ценностей, игры предстают закономерно связанными со стилем и признанием различных культур. Связь может быть свободной или тесной, соотношение — точным или размытым, но оно неизбежно есть. Тем самым, пожалуй, открывается путь к более обширному проекту, который кажется и более смелым, однако в реальности может оказаться менее гадательным, чем простой поиск эпизодических соотношений. Можно предположить, что принципы, от которых зависят игры и которые позволяют их классифицировать, позволят нам распознать их влияние за рамками той по определению обособленной, регламентированной и фиктивной области, которая им отведена и благодаря которой они остаются играми.

Конечно, любовь к состязанию, погоня за удачей, удовольствие от симуляции, тяга к головокружению выступают как главные движущие силы игр, но их действием непременно проникнута и вся жизнь общества. Поскольку игры носят универсальный характер, но при этом не везде играют в одни и те же игры в одних и тех же пропорциях, — где-то больше играют в бейсбол, а где-то в шахматы, — то следует задать вопрос о том, не распределяются ли принципы игр (*agôn*, *alea*, *mimicry*, *ilinx*) и во внеигровой сфере достаточно неравномерно между разными обществами, так что заметные различия в соотношении столь общих причин влекут за собой и явные контрасты в коллективной, а то и институциональной жизни народов.

Я отнюдь не пытаюсь утверждать, что коллективная жизнь народов и их разнообразные институты — это какие-то игры, также управляемые принципами *agôn*'а, *alea*, *mimicry* и *ilinx*'а. Напротив, я полагаю, что в конечном счете область игр образует лишь узкий островок, искусственно отведенный для рассчитанного состязания, ограниченного риска, безобидного притворства и безвредной паники. Но вместе с тем я подозреваю, что принципы игр, эти стойкие и широко распространенные движущие силы человеческой деятельности, — такие стойкие и распространенные, что представляются постоянными и универсальными, — должны отмечать собой различные типы общества. Я даже подозреваю, что они сами могут служить для их классификации, коль скоро социальные нормы дают одному из них почти исключительное преимущество над другими. Стоит ли добавлять: речь не о том, чтобы показать, что в каждом обществе есть честолюбцы, фаталисты, любители притворства и неистовства и что каждое общество дает им неравные шансы на успех и удовлетворение; это известно и так. Задача в том, чтобы определить, какое место уделяют эти различные общества состязанию, случайности, мимике или трансу.

Теперь становится ясной окончательная цель проекта, который направлен на определение глубочайших механизмов общества, его самых диффузных и неразличимых имплицитных постулатов.

Эти основные движущие силы неизбежно оказываются столь непрерывными по природе и действию, что, показав их влияние, мы практически ничего не прибавим к тщательному описанию структуры изучаемых обществ. Самое большее — мы предложим для изучения этих структур новый набор этикеток и родовых наименований. Однако, коль скоро принятая здесь номенклатура соответствует важнейшим оппозициям, она в силу этого стремится создать столь же глубокую дихотомию для классификации обществ, как и та, что разделяет, скажем, тайнобрачные и явнобрачные растения или позвоночных и беспозвоночных животных.

Между обществами, обычно называемыми первобытными, и теми, что предстают в виде сложных и развитых государств, имеются очевидные контрасты. Они не исчерпываются развитием в обществах второго рода науки, техники и промышленности, ролью, которую в них играют администрация, юриспруденция или архивы, теоретическая, прикладная и практическая математика, разнообразными последствиями городского образа жизни и образования обширных империй и всякими иными различиями, чьи результаты порой не менее весомы и сложны. Все говорит о том, что между этими двумя типами коллективной жизни имеется основополагающий антагонизм иного рода, который, быть может, и является корнем всех остальных, вбирает их в себя, питает и объясняет.

Сам я буду описывать этот антагонизм следующим образом: первобытные общества, которые я буду называть *хаотическими* [*sociétés à tohu-bohu*], будь то в Австралии, Америке или Африке, — это такие общества, где в равной мере царят маска и одержимость, то есть *mimicry* и *ilinx*; и наоборот, инки, ассирийцы, китайцы или римляне являют собой упорядоченные общества, где есть административные органы, определенные жизненные поприща, кодексы и таблицы результатов, контролируемые и иерархически соотносенные привилегии, где главными и притом взаимодополняющими элементами социального механизма выступают *agôn* и *alea*, то есть в данном случае заслуга и происхождение. В отличие от обществ первого типа, это общества *бухгалтерские* [*sociétés à comptabilité*]. В обществах первого рода симуляция и головокружение, или, если угодно, пантомима и экстаз, как бы обеспечивают интенсивность и тем самым сплоченность коллективной жизни, тогда как в обществах второго рода, напротив, общественный договор представляет собой компромисс и имплицитный расчет между *наследственностью*, то есть некоторой случайностью, и *способностью*, предполагающей сравнение и состязание.

В) МАСКА И ТРАНС

Одна из главных загадок этнографии, очевидно, заключается в повсеместном использовании масок в первобытных обществах. Этим

средствам метаморфозы всюду придается чрезвычайная, благоговейная значимость. Они появляются в ходе празднества — этого междударствия, когда бал правят головокружение, волнение и текучая подвижность, когда всякая упорядоченность мира временно отменяется, чтобы тем самым обрести новую жизнь. Маски всегда изготовляются втайне, а после использования их уничтожают или прячут; они превращают участников обряда в Богов, Духов, Зверей-Прародителей, во всевозможные сверхъестественные силы, устрашающие и плодотворящие.

Среди праздничного шума и гама, которые беспредельны, питаются сами собой и обретают значимость в самой своей непомерности, выступление масок, как считают, должно укреплять, омолаживать, воскрешать одновременно и природу и общество. Вторжение этих призраков — это вторжение сил, которых человек опасается и над которыми, как он чувствует, у него нет власти. И тогда он сам временно воплощает в себе эти пугающие силы, имитирует их, отождествляет себя с ними, и вскоре, обезумев, в своем бреде и впрямь считает себя богом, которым до тех пор лишь пытался притворяться с помощью тщательного и убогого маскарада. Ситуация выворачивается наизнанку: он сам пугает других, он сам стал грозной и нечеловеческой силой. Ему достаточно для этого надеть себе на лицо им же изготовленную маску, облачиться в костюм, им же сшитый по предполагаемому образу чтимого им существа и своего страха перед ним; достаточно производить невнятное гудение с помощью спрятанной трещотки — инструмента, о котором он только с момента своей инициации узнал, что он существует, как выглядит, как и для чего применяется. Теперь для него это безобидная, сугубо человеческая обиходная вещь — но лишь постольку, поскольку он сам держит его в руках и пользуется им, чтобы устрашать других. Торжество притворства: симуляция приводит к одержимости, которая уже является непритворной. После вызванного ею бреда и неистовства лицедей вновь приходит в сознание, подавленный и изнуренный, сохраняя лишь смутно-неясное воспоминание о том, что происходило в нем самом без его осознанного участия.

Сообщниками этого припадка священных конвульсий является вся группа. Во время празднества пляска, церемониал и мимика суть лишь вступление. Эта прелюдия предвещает массовое возбуждение, которое непрерывно нарастает. Симуляция сменяется головокружением. Как сказано в Каббале, играя в призрака, можно им стать. Женщинам и детям под страхом смерти запрещается присутствовать при изготовлении масок, ритуальных костюмов и разного рода приспособлений, которые затем используются для их устрашения. Но как же они могут не знать, что перед ними просто маскарад и искусственная фантазмагория, где скрываются их же собст-

венные сородичи? Однако они поддаются иллюзии, ибо социальные правила требуют ей поддаваться. Кроме того, они поддаются ей искренне, ибо воображают — как, впрочем, и сами участники обряда, — что эти последние сами превратились во вселившиеся в них сверхъестественные силы, одержимы ими. Чтобы отдаваться существующим лишь в их собственных верованиях духам, чтобы внезапно ощущать на себе их грубую хватку, исполнители должны призывать, притягивать их, *сами себя* подталкивать к полному расстройству чувств, которое и сделает возможной странную иллюзию. С этой целью они пользуются множеством уловок, ни одна из которых не кажется им чем-то подозрительным: здесь и посты, и наркотики, и гипноз, и монотонная или пронзительная музыка, и громкий шум, пароксизмы криков и суеты; опьянение, вопли и прыжки производят одно общее воздействие.

Празднество, расточение запасов, собранных в течение длительного периода, бесчинство, ставшее правилом, переворот всех норм благодаря заразительному присутствию ряженых — все это делает коллективное головокружение вершинной точкой общественной жизни. Оно представляет собой глубинную основу, объединяющую вообще-то не очень прочное общество. Она укрепляет социальную сплоченность, которая слаба и непрочна и с трудом поддерживалась бы без таких периодических взрывов, которые сближают, собирают вместе и делает сопричастными индивидов, в остальное время почти сплошь поглощенных домашними заботами и сугубо частными делами. Эти обыденные заботы очень слабо влияют на их первобытное сообщество, где почти неведомо разделение труда и каждая семья привыкла обеспечивать свое прожитие в условиях практически полной автономии. Маски — это и есть настоящие социальные узы.

Вторжение этих призраков, исходящие от них транс и неистовство, опьянение переживаемым или внушаемым друг другу страхом находят момент высшего выражения в празднестве, но присутствуют и в обычной жизни. Нередко политические или религиозные институты основываются именно на чарах, порождаемых этой ошеломительной фантазмагорией. Посвящаемые в них страдают от суровых лишений, выносят тяжкие мучения, проходят жесточайшие испытания, лишь бы добиться видений, галлюцинаций и спазмов, в которых им откроется дух-покровитель. Они навсегда остаются осенены им и верят отныне, что могут полагаться на его покровительство, которое они считают — вернее, считают окружающие их — непогрешимо-сверхъестественным, навлекающим неизлечимый паралич на того, кто осмелится на кощунство.

Конечно, по своим элементам эти верования бесконечно разнообразны. Их констатируют бесчисленно, невообразимо много. Однако почти во всех, где больше где меньше, четко проявляется од-

но и то же сообщничество между симуляцией и головокружением, так что одно влечет за собой другое. За разнообразием мифов и рядов, легенд и ритуалов, несомненно, скрывается одна и та же движущая сила. Стоит присмотреться, и во всем этом с неумолимой монотонностью проявляется взаимосвязь двух факторов.

Впечатляющей иллюстрацией служит явление, называемое шаманизмом. Как известно, так обозначают сложный, но четко выделяемый и легко опознаваемый феномен, наиболее значительные проявления которого были отмечены в Сибири и вообще в поясе северных стран и народов. Его можно также встретить на берегах Тихого океана, особенно на северо-западе Америки, у индейцев арауканов и в Индонезии¹. При всех местных различиях он всегда заключается в некоем остром припадке, временной потере сознания, когда шаман становится вместилищем одного или нескольких духов. При этом он осуществляет магическое путешествие в иной мир, рассказывая о нем и изображая его жестами. В разных конкретных случаях экстаз может достигаться с помощью наркотиков, галлюциногенного гриба-агарика², пения и конвульсивного дергания, барабанного боя, бани, курения ладана или конопли, а также самогипноза, всматривания в пламя очага, пока не закружится голова.

Обычно шамана выбирают благодаря его психопатическим наклонностям. Кандидат в шаманы, предназначенный к этому либо по наследству, либо по своему темпераменту, либо по какому-то чудесному знаменю, ведет уединенную и дикую жизнь. Как вспоминают, у тунгусов он должен был питаться животными, которых поймает зубами. Откровение, делающее его шаманом, происходит вследствие своеобразного припадка — для него это как бы соизволение переносить другие такие припадки и гарантия их сверхъестественного характера. Это намеренно провоцируемые представления, где почти по сознательному приказу происходит «профессиональная истерия», как ее справедливо назвали. Она про-

¹ При описании шаманизма я пользовался книгой: ELIADÉ M. Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase. Paris, 1951, — где можно найти замечательное по своей полноте изложение фактов, относящихся к различным странам мира.

² О свойствах этого гриба *Agaricus Muscarius*, особенно о макроспии: «Своими расширенным зрачками человек видит все предьявляемые ему предметы чудовищно увеличенными... Небольшое отверстие кажется ему страшнотой пропастью, ложка воды — озером», — см.: LEWIN L. Les Paradis artificiels. (Trad. franç.) Paris, 1928. P. 150–155. О сходных эффектах пейотля и о его применении на праздниках и в религиозных культах индейцев хуйчолов, корна, тепихуана, тарамара и кайова в Мексике и Соединенных Штатах полезные сведения можно почерпнуть из классических работ Карла Лумбольца (библиографию см. в книге: ROUHIER A Le Peyotl. Paris, 1927).

является только во время шаманских действий и обязательно в них присутствует.

Во время инициации Духи расчленяют тело шамана, а затем составляют его заново, вставляя в него новые кости и жилы. Это сразу же дает ему возможность странствовать по загробному миру. В то время как его тело лежит бездыханным, сам он посещает небесный и подземный миры. Он встречается с богами и демонами. От общения с ними он получает свою магическую силу и ясновидение. Во время своих действий он совершает такие путешествия вновь. В плане *ilinx*'а переживаемый им транс нередко доходит до полной каталепсии. Что же касается *timicry*, то она проявляется в пантомиме, которой предается одержимый. Он подражает крику и поведению сверхъестественных животных, перевоплощаясь в них: ползает как змея, рычит и бежит на четвереньках как тигр, подражает нырянию уток или машет руками, словно птица крыльями. Его преобразование обозначается костюмом: он сравнительно редко пользуется звериными масками, но украшает себя перьями или головами орла или совы, которые позволяют ему магически взлетать к небосводу. Тогда, несмотря на тяжелое облачение, которое весит до пятнадцати килограммов из-за нашитых на него железных украшений, он подпрыгивает вверх, показывая, что высоко взлетает. Он кричит, что видит огромные пространства земли. Он рассказывает и изображает приключения, происходящие с ним в мире ином. Он жестами представляет свою борьбу со злыми духами. Под землей, в царстве Тьмы, ему так холодно, что он дрожит и жгится. Он просит себе теплую одежду у Духа своей матери; один из присутствующих накидывает на него одежду. Другие зрители высекают искры кремневым огнивом. Эти искры производят — вернее, они сами *суть* — молнии, которые указывают путь магическому страннику сквозь тьму подземных областей.

Подобное сотрудничество шамана и зрителей постоянно отмечается в шаманизме. Но оно не специфично для него. Его можно обнаружить также в культе воду и вообще почти во всех экстатических действиях. Собственно, оно практически необходимо. Ибо нужно защищать зрителей от возможного насилия со стороны обезумевшего шамана, защищать и его самого от его бессознательного неистовства, от последствий неловкого жеста, наконец, помогать ему правильно играть роль. Очень интересный в этом отношении вид шаманизма существует у цейлонского народа веддов. Шаман все время в предобморочном состоянии, у него тошнота и головокружение. Земля словно уходит у него из-под ног. Он поддерживает в себе состояние обостренной восприимчивости. Как отмечают К. Г. и Бренда Селигман, «это заставляет его почти автоматически и, безусловно, без тщательного раздумья выполнять традиционные части пляски в их последовательном порядке. Кроме того, в пра-

вильном исполнении этих сложных фигур могут принимать важнейшее участие присутствующие, которые следят за каждым движением танцора, сознательно или бессознательно подсказывают ему и готовы удержать его, если он станет падать»¹.

Все здесь сплошное представление. Все здесь также и сплошное головокружение, экстаз, транс, судороги, а у главного исполнителя еще и финальная потеря сознания и памяти, ибо ему не следует знать, что с ним случилось и что он выкрикивал во время приступа. В Сибири шаманское действо обычно служит для исцеления больного. Шаман отправляется на поиски его души, которая блуждает где-то, похищенная или удерживаемая в плену неким демоном. Он рассказывает и разыгрывает перипетии этого возвращения жизненного начала владельцу. Другой прием состоит в том, чтобы высасывать недуг из тела пациента. Шаман приближается к нему и, в состоянии транса, прикасается губами к тому месту, которое души указали ему как вместилище заразы. Через какое-то время он извлекает ее, неожиданно показывая присутствующим камешек, червя, насекомое, перо, кусочек белой или черной нитки, проклинает их, выгаликивает ногой прочь или же зарывает в ямку. Иногда присутствующие вполне понимают, что шаман просто спрятал у себя во рту предъявляемый им предмет перед целительной церемонией, а теперь делает вид, будто извлек его из организма больного. Но они соглашаются с этим, говоря, что предметы эти служат лишь ловушкой или основой, на которую ловят и закрепляют яд. Возможно, даже вероятно, что и сам волшебник разделяет такое верование.

Во всяком случае, здесь, как и в других случаях, симуляция и доверчивость оказываются странно сопряженными между собой. Некоторые эскимосские шаманы требуют, чтобы их привязывали веревкой, дабы странствовать *только духом*, а иначе, по их словам, тело их тоже вознесется в небо и безвозвратно исчезнет. Верят ли они в это сами или же это просто прием для того, чтобы им верили другие? Во всяком случае, по окончании своего магического полета они мгновенно

¹ SELIGMANN C. G., SELIGMANN B. The Veddas. Cambridge, 1911. P. 134. Цит. по: OESTERREICH T. K. Les Possédés. (Trad. franç.) Paris. 1927. P. 310. В этой последней книге собраны очень интересные и оригинальные описания совместных проявлений *mimicry-illux*. В дальнейшем, говоря о культе бори, я буду опираться на описания Триммерна. К ним следует прибавить как минимум работы Дж. Уорнека о батаках с острова Суматра, У. У. Скита о малайцах с полуострова Малакка, У. Маринера о тонга, Кодрингтона о меланезийцах, Дж. А. Джекобсена об индейцах квакиутль из Северо-Западной Америки. В рассказах наблюдателей, которые Т. К. Остеррайх правильно решил воспроизводить *in extenso* (полностью *(лат.)*). — *Примеч. пер.*), содержатся чрезвычайно убедительные аналогии.

венно и без всякой помощи избавляются от своих пут — столь же таинственным образом, как братья Дэвенпорт в своем шкафу¹. Этот факт удостоверен столь опытным этнографом, как Франц Боас². Сходным образом Богораз записал на фонограф «отделяющиеся от тела» голоса шаманов-чукчей: они внезапно умолкают, а вокруг, словно из всех углов чума или откуда-то издалека, слышатся чьи-то нечеловеческие голоса. Одновременно происходят и различные феномены левитации или на землю сыплются камешки или деревяшки³.

Такие явления чревоуещания и иллюзионизма нередки в области, где одновременно проявляется и тенденция, связанная с психопатологией и с фокусничеством: человек не боится огня (держит во рту горящие уголья, берет руками раскаленное железо); поднимается босиком по лестнице с острыми ступеньками; колет себя ножом, нанося раны, из которых не течет кровь или которые тут же сами собой затягиваются. Очень часто в таких случаях недалеко до обычного фокусничества⁴.

¹ На этот счет очень поучительна книга: ROBERT HOUDIN. Magie et Physique amusante. Paris, 1877. P. 205–264, дающая объяснение этого «чуда» и реакции на него зрителей и прессы. В некоторых случаях, отправляясь в этнографическую экспедицию, полезно было бы прикомандировывать к ученым мужам профессионального фокусника, ибо их доверчивость, увы, безгранична и к тому же *корыстна, очарована*.

² BOAS F. The Central Eskimo // VIth annual Report of the Bureau of Ethnology. 1884–1885. Washington, 1888. P. 598 sq. Цит. по: ELIADE M. Op. cit. P. 265.

³ См. ELIADE M. Op. cit. P. 231; а также: TCHOUBINOV G. Beitrage zum psychologischen Verständnis des siberischen Zaubers. Halle, 1914. P. 59–60: «Звуки исходят откуда-то сверху, потом постепенно приближаются, ураганом вторгаются сквозь стены и, наконец, исчезают в глубине земли» (цитируется и комментируется в кн.: OESTERREICH T. K. Op. cit. P. 380).

⁴ Сознательный и организованный иллюзионизм отмечается даже у таких народов, где его меньше всего можно было ожидать, например у африканских чернокожих. В частности, в Нигере целые команды таких специалистов состязаются в искусстве на особых турнирах во время церемоний инициации: скажем, отрубая и приклеивают на место чью-нибудь голову (см.: VERGIAT A. M. Les rites secrets des primitifs de l'Oubangui. Paris, 1936. P. 153). Сходным образом Эмори Тэлбот (TALBOT A. Life in Southern Nigeria London, 1928. P. 72) приводит любопытный фокус, в котором г. Жанмер отметил сходство с мифом о Загрее-Дионисе: «В нашем поселении есть великие волшебники, — говорил вождь Абаси из Ндия, — а наши изготовители фетишей настолько сведущи в тайных науках, что они способны на такое дело: берут у матери ребенка, бросают его в ступу и толкут пестом, на глазах у всех превращая его в кашу. Одну только мать отводят в сторону, чтобы не мешала церемонии своими воплями. Потом выбирают трех человек и велят им подойти к ступе. Одному дают немного содержимого, другому поболь-

Это, однако, неважно: главное не определить соотношение — вероятно, очень различное — между сознательным притворством и реальным восторгом, а установить тесное и практически неизбежное взаимодействие головокружения и мимики, экстаза и симуляции. Собственно, такое взаимодействие — отнюдь не исключительное достояние шаманизма. Его можно обнаружить, например, в явлениях одержимости, берущих свое начало в Африке и распространенных в Бразилии и на Антильских островах под названием воду. Здесь также для достижения экстаза используют ритмический барабанный бой и заразительное движение. Прыжками и скачками обозначается отрыв души от тела. За изменением лица и голоса, потением, утратой равновесия, спазмами, обмороком и мертвой неподвижностью следует настоящая или симулируемая утрата памяти.

Но сколь бы резким ни был такой припадок, он всецело развертывается, как и приступ шаманизма, в строго ритуальном порядке и в соответствии с заранее известной мифологией. Все действие выглядит как драматическое представление, одержимые оказываются ряжеными. Они носят на себе атрибуты вселяющихся в них богов и подражают их характерным поступкам. Тот, кто воплощает крестьянского бога Заку, надевает соломенную шляпу, сумку через плечо и курит трубку-носогрейку; другой, которого «оседлал» морской бог Агуэ, машет веслом; тот, кого посетил змеиный бог Дамбалла, ползает по земле, словно пресмыкающееся. Таково общее правило, у других народов отмеченное еще четче. Одним из лучших документов по этому вопросу остаются комментарии и фотографии Триммерна¹, связанные с культом бори в мусульманской Африке, распространенном от Триполитании до Нигерии; этот полунегритянский, полуисламский культ почти по всем пунктам тесно сблизился с воду, если не в мифологии, то в обрядовой практике. Дух Малам аль-Хаджи является ученым паломником. Одержимый, в которого он вселяется, притворяется дрожащим старцем. Он шевелит пальцами, как будто перебирает правой рукой четки. Он читает воображаемую книгу, держа ее в левой руке. Он горбится, покашливает, на вид совсем хилый. Он присутствует на свадьбах, одетый в белое. Исполнитель одержимого Макадой ходит голым, прикрыва-

ше, а третий должен проглотить весь остаток. Когда все съедят, они выступают лицом к публике — тот, кто съел больше всех, между двух других. Потом начинается танец, во время которого средний танцор вдруг останавливается, вытягивает правую ногу и резко ударяет по ней. И тут же вытаскивает у себя из бедра воскресшего ребенка и показывает присутствующим, чтобы они могли его осмотреть».

¹ TREMERNÉ. Hausa Superstitions and Customs. London, 1913. P. 534–540; IDEM. The Ban of the Bori. London, 1919. См.: OESTERREICH Т. К. Op. cit. P. 321–323.

ясь одной лишь обезьяньей шкуркой, измазанный всякими нечистотами и с удовольствием поедая их. Он скачет на одной ноге и изображает совокупление. Чтобы избавить его от власти бога Макада, ему в рот засовывают луковичу или помидор. Нана Айша Карам являлась причиной глазных болезней и оспы. Женщина, изображающая ее, носит бело-красную одежду. На голове у нее повязаны сразу два платка. Она хлопает в ладоши, бежит туда-сюда, садится на пол, чешется, сжимает руками голову, плачет, если ей не дают сахару, пляшет, чихает¹ и исчезает.

Как в Африке, так и на Антильских островах публика поддерживает исполнителя, подбадривает его, подает ему традиционные принадлежности олицетворяемого им божества, в то время как сам исполнитель играет роль в соответствии с собственными знаниями о характере и жизни своего персонажа и воспоминаниями о других действиях, на которых он присутствовал ранее. Бред мешает ему фантазировать по своей инициативе: он ведет себя так, как от него ожидают, он сам знает, что должен делать. Альфред Метро, анализируя развитие и природу припадка в культе воду, хорошо показал, что он включает в себя вначале сознательное желание субъекта пережить его, затем специальные приемы для его провоцирования и ритуальную стилизацию его хода. Роль, которую играют здесь внушение и просто симуляция, не подлежит сомнению; но обычно они как бы сами исходят из нетерпеливого желания будущего одержимого и служат ему средством, чтобы ускорить наступление одержимости. Они повышают его способность пережить ее. Они накликают ее. Вызываемые ими потеря сознания, восторг и головокружение способствуют настоящему трансу, то есть вторжению бога. Это настолько явно походит на детскую *mimicry*, что автор не колеблясь заключает: «Наблюдая некоторые такие приемы, чувствуешь желание сравнить их с поведением ребенка, который воображает себя, скажем, индейцем или каким-то животным и помогает полету своей фантазии какой-нибудь маскарадной одеждой или принадлежностями»². Разница лишь в том, что здесь *mimicry* — не игра: она приводит к головокружению, составляет часть религиозного мира и выполняет определенную социальную функцию.

Здесь мы подходим к общей проблеме, которую ставит ношение масок. Оно сопровождается также явлениями одержимости, причастности к миру предков, духов и богов. У своего носителя оно вызывает временный восторг и внушает ему, будто он переживает какое-то решительное превращение. Во всяком случае, оно способствует раз-

¹ Ритуальный прием для изгнания духа.

² MÉTRAUX A. La Comédie rituelle dans la Possession // Diogenes. № 11. Juillet 1955. P. 26–49.

гулу инстинктов, вторжению опасных и неодолимых сил. Вначале носитель, вероятно, не обманывается им, но затем поддается охватывающему его опьянению. С замороженным сознанием он всецело отдается расстройству, вызываемому в нем его же собственной мимической игрой. По словам Жоржа Бюро, «индивид больше не осознает себя, из глотки у него вырывается чудовищный вопль, крик зверя или бога, нечеловеческий возглас, чистая эманация боевой силы, первобытной страсти, беспредельных магических способностей, которые, как ему кажется, вселяются в него в этот миг»¹. Он же упоминает о том, как возбужденно ожидают ряженных в недолгих африканских сумерках, как гипнотически звучит тамтам, а потом яростно врываются призраки, совершают гигантские прыжки на ходулях, выбегают из зарослей высокой травы в устрашающем смещении разнообразных звуков — свиста, хрипа и гудения ритуальных погремушек.

Здесь наличествует не только головокружение, порождаемое слепым, иступленным и бесцельным причастием к мировым энергиям, не только образное явление звериных божеств, которые потом возвращаются в свою тьму. Здесь еще и просто упоение от того, что сеешь вокруг страх и тревогу. А главное, эти явления призраков из загробного мира действуют как первичный механизм управления: маска носит институциональный характер. У догонов, например, была отмечена настоящая культура масок, которой пропитана вся публичная жизнь коллектива. Вообще, на этом элементарном уровне коллективной жизни следует искать пока еще зыбкие зачатки политической власти в мужских инициативных обществах с отличительными масками. Маска — это орудие тайных братств. Она служит для устрашения непосвященных и одновременно для сокрытия личности соратников.

Инициация — обряды перехода к мужеству — часто заключается в том, что новичкам раскрывают сугубо человеческую природу Масок. С такой точки зрения инициация — это атеистическое, агностическое, негативное воспитание. Оно раскрывает обман и заставляет сотрудничать с ним. До сих пор подростки пугались появления масок. И вот одна из них гоняется за ними с кнутом. Побуждаемые руководителем инициации, они хватают ее, скручивают, отнимают кнут, раздирают костюм, срывают маску — и узнают одного из старших представителей племени. Отныне они и сами переходят в другой лагерь². Теперь они сами внушают страх. Вымазавшись белой глиной и сами надев маски, они пугают непосвященных, воплощая

духов умерших; они мучают и обижают тех, кого поймают или же сочтут в чем-то виновными. Часто они так и остаются членами полусекретного братства или же проходят вторую инициацию, чтобы вступить в него. Как и первая инициация, она сопровождается жестокостями, болезненными испытаниями, иногда настоящей или притворной каталепсией, симуляцией смерти и воскресения. Как и первая инициация, она научает посвящаемых, что так называемые духи — всего лишь переодетые люди, а их замогильные голоса создаются особо мощными трещотками. Наконец, как и первая инициация, она дает им привилегию чинить всяческие утеснения в отношении непосвященного большинства. Каждое тайное общество имеет свой отличительный фетиш и маску-покровителя. Каждый член даже низшего по рангу братства верит, что маска-покровитель высшего братства — сверхъестественное существо, в то время как он хорошо знает, что представляет собой маска, защищающая его собственное братство¹. У народов бечуана такого рода группа называется *монато*, или тайна, по названию хижины, где происходит инициация. В нее входит буйная молодежь, свободная от обычных верований и разделяемых всеми страхов; своими устрашающими и жестокими действиями ее члены стремятся усиливать суеверный ужас обманываемых ими людей. Таким образом, головокружительный союз симуляции и транса порой оборачивается вполне сознательной смесью обмана и запутывания. Именно в этот момент из него и возникает особого рода политическая власть².

Разумеется, судьба этих ассоциаций различна. Бывает, что они специализируются в отправлении какого-либо магического обряда, танца или мистерии, но бывает также, что они наказывают за супру-

¹ См.: HIMMELHEBER H. Brousse. Léopoldville, 1939. № 3. P. 17–31.

² См.: FROBENIUS L. Die Geheimbünde u. Masken Afrikas // Abhandl. d. k. Leop. Carol. Akad. d. Naturforscher. T. 74. Halle, 1898; WEBSTER H. Primitive secret Societies. New York, 1908; SCHWARTZ H. Alterclassen und Männerbünde. Berlin, 1902. Несомненно, в принципе следует различать внутриплеменную инициацию юношей и обряды вступления в тайные общества, которые часто носят межплеменной характер. Но когда то или иное братство достигает силы, оно вбирает в себя почти всех взрослых данной общины, так что два обряда инициации в конце концов сливаются в один (JEANMAIRE H. Op. cit. P. 207–209). Этот же автор описывает (P. 169–171), вслед за Фробениусом, как в народе рыболовов и земледельцев боссо из Нигера, к юго-западу от Томбукту, высшую власть — безжалостную, тайную и институциональную — отправляет маскированное общество «куманг». Г-н Жанмер сближает главную церемонию этого общества с судом, которому у Платона подвергали друг друга десять царей Атлантиды («Критий», 120 В), после принесения в жертву быка, привязанного к орихалковому столбу. Я воспроизвожу это описание в Документации, с. 198–199.

¹ BURAUD G. Les Masques. Paris, 1948. P. 101–102.

² Этот механизм обращения замечательно описан Анри Жанмером (JEANMAIRE H. Courou et Courètes. Lille, 1939. P. 172–223). В Документации, с. 196–198, воспроизводится одно из его описаний — случай племени бо-бо из Верхней Вольты.

жескую неверность, кражу, черную магию и отравительство. В Сьерра-Леоне известно общество воинов¹, состоящее из местных отделений, которое выносит приговоры и приводит их в исполнение. Оно устраивает карательные экспедиции против непокорных деревень. Оно принимает меры к поддержанию мира и прекращению кровной мести. У народа бамбара на всех постоянно наводит ужас *камо*, «который все знает и за все карает», — своего рода африканский прообраз ку-клуks-клана. Таким образом, братства мужчин в масках поддерживают в обществе дисциплину, и можно без преувеличения утверждать, что головокружение и симуляция, или по крайней мере их непосредственные производные, устрашающая мимика и суеверный ужас, вновь оказываются уже не благоприобретенными элементами первобытной культуры, а поистине фундаментальными движущими силами, лучше всех других способными объяснить ее механизм. Иначе как понять, что маска и паника, как мы видели, присутствуют столь постоянно, *причем совместно*, тесно связанные друг с другом и занимающая центральное место или на праздниках, образующих пароксизм в жизни данных обществ, или в их религиозно-магических практиках, или в еще нечетких формах политической организации, или даже выполняют важнейшую функцию во всех этих трех областях сразу?

Достаточно ли этого, чтобы утверждать, что переход к цивилизации как таковой требует постепенного устранения этого первенства сопряженных вместе *linx'a* и *miticry* и замены его преобладанием в социальных отношениях пары *agôn-alea*, состязания и удачи? Как бы то ни было, но всякий раз, когда из первоначального хаоса удается возникнуть высокой культуре, как причина или же следствие этого отмечается заметное сокращение власти головокружения и симуляции. При этом они лишаются своего бывшего превосходства, вытесняются на периферию общественной жизни, вынуждены играть все более и более скромную, непостоянную или даже тайную и греховную роль, или же они и вовсе замыкаются в ограниченно-регулярной сфере игры и вымысла, где дают людям то же извечное удовлетворение, только уже обузданное и помогающие лишь развеять скуку или отдохнуть от трудов, уже без всякого бреда и безумия.

VIII. Состязание и случай

В хаотических обществах ношение масок позволяет людям воплощать (и чувствовать себя воплощающими) некие силы и энергии, духов и богов. Оно характерно для особого типа культуры, основанного, как мы видели, на могущественном союзе пантомимы и экстаза.

¹ «Поро» у народа темме — см.: JEANMAIRE H. Op. cit. P. 219.

Оно распространено на всей нашей планете и представляет собой неизбежное и чарующее ложное решение, предшествующее медленному, тяжкому и терпеливому пути к настоящему решению. Выход из этой ловушки есть не что иное, как рождение цивилизации.

Понятно, что революция такого масштаба не совершается за один день. Кроме того, она всюду обязательно происходит в такие промежуточные века, когда та или иная культура вступает в историю, и поэтому наблюдению доступны лишь ее последние стадии. Даже древнейшие документы, свидетельствующие о ней, практически не в состоянии показать нам ее первичные акты выбора — неприметные, возможно даже случайные, лишённые немедленных последствий, но в итоге приведшие к тому, что некоторые редкие народы вступили на принципиально новый путь. Однако разрыв между исходной точкой эволюции, которую мы вынуждены представлять себе по общему образу жизни первобытного человека, и ее окончательной точкой, которую позволяют воссоздать памятники той или иной культуры, — не единственный довод, убеждающий, что возвышение данных народов стало возможным лишь в длительной борьбе против соединенных чар симуляции и головокружения.

О пагубной силе этих двух факторов в прежние времена говорят в изобилии сохранившиеся следы. В ряде случаев существуют и показательные признаки борьбы с ними. Опьяняющие свойства конопля применялись скифами и иранцами, чтобы вызывать экстаз; поэтому небезразлично, что, как утверждает «Яшт» 19–20, Ахурамазда «не знает ни транса, ни конопля»¹. Точно так же в Индии множество раз засвидетельствована вера в магические полеты, но существенно, что в «Махабхарате» (V, 160, 55 sq.) есть пассаж, где сказано: «Мы тоже можем летать на небо и выступать в разных обликах, но только *иллюзорно*». Таким образом, настоящее мистическое вознесение четко отличается от небесных прогулок и метаморфоз, якобы переживаемых волшебниками. Известно, сколь многим индийский аскетизм, особенно формулы и метафоры йоги, обязаны шаманским практикам и мифам; аналогия между ними столь близка, столь последовательна, что нередко наводила на мысль о родственной связи между ними. Однако йога, как это подчеркивают все пишущие о ней, есть интериоризация сил экстаза, их перенос в духовный план. Кроме того, в ней происходит не иллюзорное завоевание мировых просторов, но освобождение от той иллюзии, которую образует сам мир. А главное, весь смысл усилий

¹ Ахурамазда (Ормузд) — верховное божество древнеиранской мифологии; «Яшт» — название посвященных богам гимнов в древнем Иране. — *Примеч. пер.*

оказывается прямо противоположным. Задачей является не искусственно вызываемая паника сознания, позволяющая стать согласной жертвой любой нервной разрядки, но, напротив, методическая тренировка, школа самообладания.

В Тибете, в Китае опыты шаманов оставили множество следов. Тибетские ламы распоряжались погодой, возносились на небо, исполняли магические танцы в облачении из «семи костяных уборов», пользовались заумным, звукоподражательным языком. Китайские даосы и алхимики Лю Ань и Ли Чжао-кунь летали по воздуху. Другие достигали небесных врат, расталкивали в полете кометы и взбирались по радуге. Но все это опасное наследие не мешало развитию критического мышления. Ван Чун разоблачал лживость речей, которые якобы произносят мертвые устами живых людей, впадающих в транс, или же колдунов, которые призывают их дух, «играя на своих черных струнах». Уже в древности книга «Го юй» рассказывала, как царь Чжао (515–488 до н. э.) спрашивал своего министра: «Письмена династии Чжоу утверждают, что Чжун-ли был послан вестником в недоступные области Неба и Земли. Как такое было возможно? Возможно ли для людей подниматься на Небо?» И министр объяснял ему, что такие явления носят только духовный характер. Праведный человек, умеющий сосредоточиться, достигает высшего познания. Он попадает в высшие сферы и спускается в сферы подземные, чтобы узнать там, «как вести себя, какие дела вершить». В том же тексте говорится, что он, подобно чиновнику, должен при этом следить, чтобы богам отводилось достойное их место, приносились жертвы, использовались принадлежности и церемониальные облачения, соответствующие времени года¹.

Шаман, человек одержимости, головокружения и экстаза, превращается в чиновника-мандарина, церемониймейстера, озабоченного соблюдением протокола и точным распределением почестей и привилегий, — это прямо-таки утрированная, карикатурная иллюстрация к свершившейся революции!

А) ПЕРЕХОД

Если для Индии, Ирана и Китая у нас имеются лишь разрозненные признаки, показывающие, как техники головокружения эволюционировали в сторону методического контроля, то в других культурах есть и более многочисленные и более эксплицитные документы, позволяющие подробно проследить разные этапы этой капитальной метаморфозы. Так, в индоевропейском регионе противополож-

¹ См. эти тексты в книге: ELIADE M. *Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase*. P. 359, 368, 396–397, где они используются в противоположном смысле — в подтверждение ценности шаманических опытов.

ность двух систем долгое время проявлялась в оппозиции двух форм верховной власти, освещенной в работах Ж. Дюмезиля. С одной стороны, имеется верховный бог-Законник, следящий за соблюдением завета, точный, сдержанный, дотошный, консервативный, сурово-механический гарант нормы, права, регулярности; его действия связаны с добросовестными и по определению конвенциональными формами агôn'a — либо это равный поединок на турнирной площадке, либо беспристрастное применение закона в судебном заседании; а с другой — также верховный Неистовый бог, вдохновенно-грозный, непредсказуемый и парализующий своей экстатической властью, могущественный волшебник, чудотворец и оборотень, во многих случаях покровитель и заступник толпы беснующихся масок.

Между этими двумя аспектами власти — административным и молниеносным — по-видимому, долгое время шла конкуренция, не всегда с одними и теми же перипетиями. Например, у германских народов долгое время сохранял превосходство бог головокружения. Бог Один, чье имя, согласно Адаму Бременскому, равнозначно «бешенству», в главных мифах представлен настоящим шаманом. У него есть восьминогий конь, который даже в Сибири засвидетельствован именно как животное, на котором ездит шаман. Он превращается в любых зверей, мгновенно переносится в любое место, узнает обо всем от двух сверхъестественных воронов, Хугина и Мунина. Он девять дней и ночей висит на дереве, чтобы получить от него знание тайного языка рун, обладающего принудительной силой. Он основал некромантию, вопрошая мумифицированную голову мудреца Мимира. Более того, он практикует (по крайней мере, его в этом упрекают) seidhr, то есть настоящее шаманское действие (синий плащ, черная ягнячья шапка, белые кошачьи шкуры, посох, подушка из куриных перьев), и странствия в иной мир, и хор услужливых помощников, и транс, экстаз и прорицание. С масочными обществами прямо связаны и воины-берсерки, превращающиеся в диких зверей¹.

Напротив, в Древней Греции, хотя отправная точка была той же самой, благодаря относительному обилию документов очень хорошо видно, сколь быстро и отчетливо шла эволюция, сколь широко и стремительно был достигнут успех, который из-за этого да-

¹ DUMEZIL G. *Mitra-Varuna (Essai sur deux représentations indo-européennes de la Souveraineté*. 2^e éd., Paris, 1948, особенно глава II, p. 38–54; сходные сведения явствуют и из книг: ASPECTS DE LA FONCTION GUERRIÈRE CHEZ LES INDO-EUROPÉENS. Paris, 1956; WIKANDER S. *Der arische Männerbund*. Lund, 1938; ELIADE M. *Op. cit.* P. 338, 342, 348; о новом появлении такой власти харизматического типа в XX веке (Адольф Гитлер) см.: CAILLOIS R. *Instincts et société*. Paris, 1964. Ch. VII. P. 152–180.

же назвали чудом. Следует, однако, помнить, что это слово верно лишь при учете одного факта: полученные результаты — церемонии и храмы, любовь к порядку, гармонии, мере, идея логики и науки — выступают на фоне легенд, где действуют магические братства танцоров и кузнецов, циклопов и куретов, кабиров, дактилей или корибантов, буйные толпы страшных масок, полубогов-полузверей, в которых, как и в кентаврах, уже давно распознали эквивалент африканских инициатических обществ. Спартанские юноши изображали волков, точно так же как люди-пантеры и люди-тигры в Экваториальной Африке¹.

Во время криптии — связанной или нет с охотой на илотов², — они несомненно вели обособленную жизнь, устраивая засады и ловушки. Им нельзя было дать себя увидеть или застигнуть врасплох. Речь идет отнюдь не о военной подготовке — такая тренировка совершенно не согласуется с боевыми приемами гоплитов. Здесь юноша живет по-волчьи и нападает по-волчьи — в одиночку, внезапно набрасываясь диким зверем. Он безнаказанно крадет и убивает, если только жертвам не удастся его поймать. Такое испытание включает в себя опасности и преимущества инициации. Неофит завоевывает возможность и право вести себя по-волчьи; его пожирает волк, и он сам воскресает волком; он рискует быть растерзанным волками и проходит испытание, чтобы самому терзать людей.

В братстве ликантропов на Ликейской горе в Аркадии, чьим покровителем был Зевс, волком становился тот, кто поест мяса ребенка, смешанного с другими видами мяса, или же посвящаемый переплывал пруд и на девять лет становился волком в том месте, где выйдет на берег. Аркадский Ликург, чье имя значит «изображающий волка», преследовал юного Диониса. Он угрожал ему каким-то таинственным приспособлением. Он испускал страшное рычание и бил, по словам Страбона, в «подземный барабан, издающий тяжело пугающий гром». Нетрудно узнать в этом устрашающий грохот африканской трещотки — универсального орудия масок.

Нет недостатка в доводах, позволяющих связать аркадского Ликурга с Ликургом спартанским; между VI и IV веками до н. э. сверхъестественное видение, вызывавшее панику, превращается в великого законодателя, колдун, заправлявший инициацией, становится педагогом. Точно так же люди-волки из Лакедемона переста-

¹ Анри Жанмер (JEANMAIRE H. Couroi et Courètes. Lille, 1939) собрал на этот счет впечатляющие данные, откуда я и черпаю приводимые ниже факты. В этой книге на с. 540–568 можно найти важнейшие тексты о ликантропии в Спарте, а на с. 569–588 — о Ликурге и аркадских культах.

² Криптия — инициатическое испытание у спартанцев, в ходе которого, в частности, испытываемые юноши чинили насилия против рабов-илотов. — *Примеч. пер.*

ют быть дикими зверями, одержимыми богом и ведущими в свои отроческие годы нечеловеческую, зверскую жизнь. Теперь они образуют своего рода политическую полицию, на которую возлагается обязанность устраивать карательные экспедиции и держать в страхе и подчинении покоренные народы.

То, что раньше было экстатическим припадком, теперь хладнокровно используется в целях подавления и устрашения. Метаморфозы и транс остаются лишь в воспоминаниях. Конечно, криптия по-прежнему вершится в тайне, но теперь она служит одним из регулярных механизмов воинской республики, чьи жесткие установления искусно сочетают в себе демократию и деспотизм. Меньшинство завоевателей, для себя самих уже принявшее совсем иные законы, продолжает пользоваться старыми рецептами по отношению к поработенной массе.

Эта эволюция поразительна и полна смысла. Она иллюстрирует собой лишь один частный случай. В то же самое время почти по всей Греции отправлялись оргиастические культы, использующие танец, ритм, опьянение, дабы вызывать у адептов экстаз, нечувствительность и божественную одержимость. Но все эти культы головокружения и симуляции были побеждены. Они больше никоим образом не образовывали главные ценности общества. В них лишь продолжалась древняя традиция. О сошествиях в ад и путешествиях на небеса, осуществляемых духом, в то время как бесчувственное тело странника лежит на постели, осталось лишь воспоминание. Так, душа Аристея Проконнезского была «схвачена» богом Аполлоном и летала вслед за ним в облике ворона. Гермотим из Клазомена мог на целые годы покидать свое тело, отправляясь добывать знание о будущем. Благодаря посту и экстазу Эпименид Критский получил в божественной пещере на Идской горе запас своих магических способностей. Пророк и целитель Абарис летал по небу верхом на золотой стреле. Но и в самых стойких, самых развитых из этих рассказов уже проявлялась новая ориентация, обратная первоначальному смыслу. Орфей больше не выводит из подземного мира умершую супругу, за которой он туда спустился. Возникает понимание того, что смерть не знает пощады и что никакая магия не может ее одолеть. У Платона экстатическое путешествие Эра Памфильского — это уже не шаманская одиссея, избыливающая драматическими перипетиями, но аллегория, к которой прибегает философ для изложения законов Космоса и Судьбы.

Исчезновение маски — с одной стороны, как средства метаморфозы, приводящей в экстаз, а с другой стороны, как орудия политиче-

ской власти, — представляет собой медленный, неровный, трудный процесс. Маска была высшим знаком превосходства. В масочных обществах главный вопрос в том, носишь ли ты маску и пугаешь других или не носишь ее и пугаешься сам. При более сложной общественной организации речь идет уже о том, что человек должен бояться одних и может пугать других, в зависимости от степени посвящения. Перейти на более высокую ступень — значит познать тайну новой, более тайной маски. Это значит узнать, что устрашающее сверхъестественное явление — вовсе не сверхъестественное, а просто переодетый человек, подобно тому как ты сам надеваешь маску, чтобы устрашать профанов или посвященных низшего уровня.

Безусловно, существует проблема упадка масок. Как и почему людям пришлось отказаться от них? Этим вопросом как-то мало задавались этнографы. Между тем он исключительно важен. Попробую выдвинуть следующую гипотезу. Она никоим образом не исключает — напротив, требует — множественных, разных, несопоставимых между собой путей, соответствующих каждой конкретной культуре и ситуации. Но она предлагает некую общую для них движущую силу. Система маски и инициации функционирует лишь в том случае, когда есть точное и постоянное соответствие между раскрытием секрета маски и правом самому использовать его для достижения богоподобного трансa и устрашения новичков. Знание и применение также тесно связаны между собой. Только тот, кто знает истинную природу маски и ряженого, может сам рядиться в какое-либо страшное обличье. Ведь нельзя испытывать на себе его влияние, или по крайней мере испытывать его в той же степени, с тем же чувством священной паники, если знаешь, что перед тобой просто ряженный. Между тем не знать этого практически невозможно — по крайней мере, невозможно не знать этого долго. Отсюда постоянная трещина в системе, которую приходится защищать от любопытства профанов целым рядом запретов и наказаний, причем вполне реальных. Фактически только смерть служит единственно действенным средством против разоблачения секретов. Отсюда следует, что несмотря на интимное подтверждение, получаемое от экстаза и одержимости, весь этот механизм остается неустойчивым. Его приходится всечасно предохранять от случайных разоблачений, от нескромных вопросов, от кощунственных предположений и объяснений. Неизбежно наступает момент, когда изготовление и ношение масок или маскарадных нарядов, не утрачивая своего сакрального характера, перестают быть защищены запретами, грозящими смертью нарушителю. И тогда, через ряд нечувствительных превращений, они становятся ритуальными украшениями, принадлежностью торжественных церемоний, танцев или театральных представлений.

Возможно, последней попыткой политического господства с помощью маски было правление Хакима аль-Моканны, Потаенно-

го Пророка из Хорасана, который в VIII веке в течение нескольких лет, с 160 по 163 год хиджры, побеждал войска халифа. Он носил на лице зеленое покрывало или, по другим сведениям, завел себе золотую маску и никогда ее не снимал. Он объявлял себя Богом и скрывал свое лицо якобы потому, что ни один смертный не может узреть его, не ослепнув. Однако все дело в том, что его притязания резко оспаривались противниками. Летописцы — правда, все они были историками халифа — писали, что он делал так потому, что был лыс, одноглаз и отвратительно безобразен. Ученики стали требовать от него доказательств, что он говорит правду, и пожелали видеть его лицо. Он показал его им. Некоторые действительно обожглись, а остальных это убедило. Однако официальная история объясняет это чудо, открывая (или придумывая) примененную в нем хитрость. Вот как рассказывается этот эпизод в одном из древнейших источников — «Топографическом и историческом описании Бухары» Абу-Бака Мохаммада ибн Джафара Наршахи, законченном в 332 году¹:

«Пятьдесят тысяч воинов Моканны собрались у ворот замка и с поклонами начали просить, чтобы он вышел к ним. Но они не получили никакого ответа. Они стали настаивать и умолять, говоря, что не сдвинутся с места, пока не увидят лица своего Бога. У Моканны был слуга по имени Хаджеб. Он сказал ему: „Ступай и скажи моим созданиям: Моисей просил меня показать ему мое лицо; но я не согласился явиться ему, ибо он не смог бы вынести моего вида, — и если кто меня узрит, он тут же умрет“. Однако воины снова стали умолять. Тогда Моканна сказал им: „Приходите же в такой-то день, и я покажу вам лицо свое“.

Между тем женщинам, которые находились с ним в замке (было их числом сто, в большинстве крестьянских дочерей из Согда, Кеша и Накшаба, и он держал их у себя в замке, и рядом с ним там не было никого, кроме этих ста женщин и особого слуги по имени Хаджеб), он велел взять каждой зеркало и выйти на крышу замка. [Он научил их, как] держать зеркало, стоя лицом друг к другу и чтобы зеркала были тоже обращены друг к другу — и все это в момент, когда солнечные лучи бьют [особенно ярко]... И вот воины собрались. Когда солнце отразилось в зеркалах, то в результате этого отражения все окрестности того места оказались затоплены светом. И тогда он сказал слуге: „Скажи моим созданиям — вот Бог ваш является вам. Взирайте на него! Взирайте на него!“ Видя, как все вокруг затоплено светом, люди испугались. И они поклонились ему».

¹ Я цитирую буквальный перевод, любезно сделанный для меня г-ном Ашена с сокращенного персидского перевода книги Наршахи (выполненного в 574 году хиджры). См. диссертацию: SADIQI G. H. Les Mouvements religieux iraniens au II^e et III^e siècle de l'Hégire. Paris, 1938, — где приводится исчерпывающее критическое описание источников, касающихся Хакима (С. 163–186).

Когда Хаким был побежден, он, подобно Эмпедоклу, хотел исчезнуть бесследно, чтобы думали, будто он вознесся на небо. Он отравил своих сто женщин, отрубил голову слуге и бросился нагишом в яму с негашеной известью (или в котел с ртутью, или в чан с серной кислотой, или в печь, где плавилась медь, или смола, или сахар). Здесь летописцы также разоблачают его хитрость. Царство маски хоть и остается действенным (сторонники Хакима поверили, что он не умер, а превратился в божество, и в Хорасан еще долго не возвращался мир), но все же оказывается теперь царством обмана и фокусничества. Оно уже побеждено.

В самом деле, царство *mimicry* и *ilinx*'а как двух признанных, чтимых, господствующих культурных традиций оказывается обречено с того момента, когда человеческий дух приходит к концепции Космоса, то есть упорядоченного и устойчивого мироздания, без всяких чудес и метаморфоз. Такое мироздание предстает как область регулярности, необходимости, меры — одним словом, как область чисел. В Греции этот переворот замечен даже в очень частных моментах. Так, первые пифагорейцы еще пользовались конкретными числами. Они мыслили их обладающими формой и очертаниями. Одни числа были треугольными, другие квадратными, третьи продолговатыми; то есть их можно было изобразить треугольниками, квадратами и прямоугольниками. Вероятно, они были сходны с группами точек на гранях игральные кости и домино, а не с цифрами — знаками, не имеющими иного значения, кроме себя самих. Кроме того, они образовывали последовательности, отношения в которых управлялись тремя главными музыкальными аккордами. Наконец, они были наделены различными свойствами, соответствующая браку (число 3), справедливости (число 4), удачному случаю (число 7) или какому-то иному понятию либо основанию, в силу традиционной или же произвольной связи. Однако очень скоро из этого частично качественного счисления, обращающего внимание на особые свойства некоторых привилегированных прогрессий, выделился абстрактный числовой ряд, исключаяющий всякую арифмософию, требующий чистого расчета и тем самым способный служить орудием науки¹.

Число и мера, распространяемый ими дух точности несомнестимы со спазмами и пароксизмами экстаза и маскарада, зато делают возможным подъем *agôn*'а и *alea* как правил социальной игры. В то же самое время, когда Греция отходила от масочных обществ, заменяла неистовство древних празднеств спокойствием

торжественных процессий, устанавливала в Дельфийском храме строгий порядок даже для пророческого бреда, — она придавала институциональную значимость соревнованию по правилам и даже розыгрышу по жребию. Иначе говоря, благодаря организации великих игр (Олимпийских, Истмийских, Пифийских и Немейских), а порой и благодаря способу, каким выбирались городские магистраты, *agôn* и вместе с ним *alea* получают в жизни общества то привилегированное место, которое в обществах хаотических занимает пара *mimicry-ilinx*.

На стадионных играх было изобретено и предложено (как пример для подражания) соперничество ограниченное, специализированное и упорядоченное правилами. Очищенное от всяких чувств личной ненависти и обиды, это состязание нового типа становится школой честности и благородства. Одновременно оно распространяет привычку к арбитражу и уважение к нему. Его цивилизующая роль подчеркивалась уже не раз. Действительно, торжественные игры возникают почти во всех великих цивилизациях. У ацтеков игры в мяч были ритуальными празднествами, на которых присутствовал царь со всеми придворными. В Китае конкурсы по стрельбе из лука давали и подтверждали аристократическое достоинство — даже не столько по результатам стрельбы, сколько по умению правильно выпустить стрелу или подбодрить неудачливого противника. Ту же функцию исполняли рыцарские турниры на христианском Западе: они учили, что идеалом является не одержать победу над кем угодно и какими угодно средствами, но показать свою доблесть в равной борьбе, проявляя уважение и при необходимости оказывая помощь сопернику, используя только разрешенные, заранее условленные приемы, в определенном месте и в определенные сроки.

Развитие административного быта также способствует распространению *agôn*'а. Набор чиновников все чаще осуществляется через конкурсы и экзамены. Стараются собрать самых способных и компетентных, а затем ввести их в рамки иерархии, мандарината, *cursus honorum*¹ или «чина», где продвижение вверх подчиняется определенным фиксированным нормам и насколько возможно контролируется автономными правомочными органами. Тем самым бюрократия оказывается фактором особого рода конкуренции, где *agôn* возводится в принцип любой административной, военной, университетской или судебной карьеры. Она вводит его в институции — поначалу еще робко, лишь для второстепенных должностей. Остальные еще долго остаются в зависимости от произвола правителя или же от привилегий, доставляемых рождением или богатством. Бывает, конечно, что теоретически доступ к ним регулируется конкурсом; но характер испытаний или состав жюри та-

¹ BRENIER E. Histoire de la Philosophie. T. I. Fasc. 1. 5^e éd. Paris, 1948. P. 52–54.

¹ Карьера (лат.). — Примеч. пер.

ковы, что нередко высшие воинские звания, важнейшие посты в дипломатии или администрации остаются монополией некоей плохо определенной касты, которая ревниво и зорко блюдет корпоративную солидарность. Однако прогресс демократии заключается именно в развитии справедливой конкуренции, равноправия, а затем и в относительном уравнивании разных сословий, что позволяет осуществить на деле, в реальности то юридическое равенство, которое зачастую остается скорее абстрактным, чем действенным.

* * *

Собственно, уже первые теоретики демократии в Древней Греции разрешили это затруднение — способом по видимости странным, но на деле едва ли не безупречным, если только попытаться представить себе, сколь новой была сама задача. Действительно, они считали абсолютно уравнительной процедурой отбор магистратов по жребию. Всякие выборы они рассматривали как обман, как аристократическое по своему духу компромиссное решение.

Так рассуждал, в частности, Аристотель. Собственно, его тезисы соответствовали обычной практике. В Афинах почти все должностные лица выбирались по жребию, за исключением военачальников и финансовых чиновников — то есть технических специалистов. Члены Совета тоже выбирались по жребию из числа кандидатов, представленных демами и прошедших квалификационный экзамен. Напротив, делегаты в Беотийскую лигу избирались голосованием. Причина этого ясна. Выборы становятся предпочтительными, как только величина управляемой территории или многочисленность участников делают необходимым режим представительной демократии. Тем не менее уравнительной по преимуществу системой считалось решение судьбы, выражаемое жребием. Одновременно в нем усматривали предохранительную меру (в данном случае трудно заменимую) против интриг и происков олигархов или «заговорщиков». Итак, при самом своем начале демократия весьма показательно колеблется между *agôn* и *alea* — двумя противоположными формами справедливости.

Таким неожиданным соперничеством высвечивается глубинное соотношение этих двух принципов. Это соотношение доказывает, что они дают обратные, взаимодополнительные решения одной и той же проблемы — проблемы всеобщего равенства исходных возможностей: либо это равенство перед лицом случая, если люди отказываются как-либо использовать свои природные способности и довольствуются строго пассивным поведением; либо это равенство по отношению к условиям конкурса, если от них требуется, напротив, максимально мобилизовать свои ресурсы и неоспоримым образом доказывать свое превосходство.

Фактически победу одержал дух состязательности. В политике верным правилом считается обеспечить каждому кандидату одинаковые юридические возможности добиваться поддержки избирателей. Вообще, наиболее распространенная и, возможно, наиболее разумная концепция демократии склонна рассматривать всякую межпартийную борьбу как своеобразное спортивное соревнование, где должно присутствовать большинство признаков состязаний на стадионе, турнирной площадке или ринге — ограниченность ставок, уважение к противнику и к решениям арбитра, честность, искреннее сотрудничество соперников после вынесения вердикта.

Еще более расширяя рамки описания, можно заметить, что и вся общественная жизнь в целом, а не только ее институциональная составляющая, после изгнания из нее *mimicry* и *ilinx*'а зиждется на неустойчивом и бесконечно многообразном равновесии между *agôn* и *alea*, то есть между заслугой и удачей.

В) ЗАСЛУГА И УДАЧА

Не имея еще слов для обозначения личности и сознания¹, на которых основывается этот новый порядок, греки зато по-прежнему располагали точными понятиями для обозначения удачи (*tychê*), рокового удела (*moira*), благоприятного момента (*kairos*), то есть такого случая, который включен в незыблемый и неизменный порядок вещей и, составляя его часть, не повторяется дважды. При этом рождение служит как бы билетом в принудительной жизненной лотерее, дающей каждому определенную сумму талантов и привилегий. Одни из них — врожденные, другие социальные. Подобная концепция иногда выражается еще более эксплицитно; во всяком случае, она распространена шире, чем полагают. Центральноамериканские индейцы, хоть и обращенные в христианство уже несколько веков назад, считают, что каждый человек рождается со своей личной *suerte*². Ею определен характер каждого, его таланты, слабости, общественное положение, профессия, наконец, удачливость, то есть предназначенность к успеху или неудаче, способность пользоваться случаем. При этом невозможны никакие честолюбивые стремления, немыслима никакая конкуренция. Все рождаются и становятся такими, как предписано судьбой³. *Agôn* — желание тор-

¹ MAUSS M. Une catégorie de l'esprit humain: la notion de personne, celle de moi // Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol. LXVIII. Juil. — déc. 1938. P. 263–281.

² Судьбой (*исп.*). — *Примеч. пер.*

³ MENDELSON M. Le Roi, le Traître et la Croix // Diogène. № 21. Hiver 1938. P. 6.

жествовать над другими — обычно служит противовесом такому чрезмерному фатализму.

С определенной точки зрения, бесконечное разнообразие политических режимов определяется предпочтением, отдаваемым одному из двух разнонаправленных порядков определения превосходства. Приходится делать выбор между наследственностью, то есть лотереей, и заслугами, то есть состязанием. Некоторые режимы стараются максимально увековечить исходные неравенства с помощью системы закрытых каст или классов, закрепленных за ними занятий, наследственных должностей. Другие же стараются, напротив, ускорить ротацию элит, то есть сократить влияние исходного *alea* и соответственно увеличить место, отводимое соперничеству, все строже и строже кодифицируя его.

Ни тот ни другой из этих крайних режимов не может быть абсолютным: сколь бы подавляющие привилегии ни связывались с именем, богатством или каким-то другим наследственным преимуществом, все равно сохраняются пусть минимальные шансы для смелости, доблести и честолюбия. И наоборот, в самых уравнилельных обществах, где даже не допускается никакая форма наследования, невозможно представить себе, чтобы происхождение вовсе не имело значения, чтобы положение отца не влияло на карьеру сына и автоматически не облегчало бы ее. Трудно устранить преимущество, заключающееся в самом факте того, что юноша вырос в определенной среде, принадлежит ей, изначально имеет в ней связи и поддержку, знает ее обычаи и предрассудки, может получать советы и ценный опыт от отца.

Действительно, во всех обществах и на всех ступенях эволюции, если только общество достигло некоторого масштаба, противостоят друг другу богатство и нищета, незаметность и слава, могущество и рабство. Даже если провозглашается равенство граждан, это всего лишь юридическое равенство. Происхождение продолжает тяготеть над всеми как неустранимое препятствие, как закон случая, выражающий собой непрерывность природы и инертность общества. Иногда пытаются законодательно компенсировать его действие. Тогда законы и конституции направляются на то, чтобы установить справедливую конкуренцию по способностям и умениям, чтобы победить классовые преимущества и возвысить одно лишь бесспорное превосходство, доказанное перед лицом квалифицированного жюри, официально зарегистрированное наподобие спортивных достижений. Но ведь понятно, что соперники находятся в неординарном положении для удачного старта.

Богатство, воспитание, образование, положение семьи — все эти внешние, но нередко решающие обстоятельства на практике

уничтожают равенство, записанное в законах. Чтобы наверстать отставание низкородных от привилегированных, порой требуется несколько поколений. Установленными правилами добросовестного *agôn'a* открыто пренебрегают. Даже очень одаренный сын батрака из бедной и удаленной провинции изначально не может соперничать с заурядным по уму сыном высшего столичного чиновника. Статистика изучает происхождение молодых людей, получающих высшее образование, такие исследования считаются лучшим средством измерить социальную мобильность. И они убедительно констатируют, что эта мобильность остается слабой — даже в социалистических странах, и даже несмотря на неоспоримый прогресс.

Конечно, есть экзамены, конкурсы, стипендии, всевозможные отличия для способных и компетентных. Но это лишь внешние отличия, а то и паллиативы, которые по большей части остаются плачевно недостаточными; это отдельные поправки, показные образцы-алиби, а не общие нормы и правила. Следует смотреть в глаза реальности — включая ситуацию в странах, которые считают себя единственно справедливыми. И тогда мы заметим, что в общем и целом реальная конкуренция бывает лишь между людьми одного социального уровня, одного происхождения, одной среды. Политический режим здесь мало что меняет. Сын высокопоставленного лица всегда имеет преимущества, чем бы ни обеспечивался доступ к высокому положению. В демократическом (или социалистическом, или коммунистическом) обществе сохраняется острая проблема: чем эффективно уравновесить случайность рождения?

Конечно, права и преимущества, которые она влечет за собой, никак не поддерживаются принципами эгалитарного общества, но фактически они могут оказываться в нем столь же весомыми, как и при кастовом строе. Даже если вводить многочисленные и строго действующие компенсаторные механизмы, призванные ставить всех в один идеальный ряд и давать преимущество лишь за действительные заслуги и за проверенное превосходство, — даже и в этом случае сохраняется фактор удачи.

Прежде всего, он сохраняется в *alea* наследственности как таковой, которая не поровну распределяет таланты и пороки. Далее, он непременно играет роль даже в тех испытаниях, которые организуются для обеспечения торжества наиболее заслуженных. Действительно, нельзя сделать так, чтобы случай не отдавал предпочтение кандидату, выткнувшему билет с единственным хорошо изученным им вопросом, и не испортил все дело тому бедняге, кого тщательно расспрашивают именно по тому вопросу, который он недоучил. Тем самым в сердце *agôn'a* вновь вводится алеаторное начало.

Фактически удача, счастливый случай, умение им пользоваться играют постоянную и значительную роль в реальных обществах. В них сложным, бесконечно разнообразным способом взаимодей-

ствуют физически или социально природенные преимущества (ими могут быть как почести и материальные блага, так и красота, здоровье или какие-то ценные наклонности) и завоевания воли и терпения, труда и умения (относящиеся к заслугам). По одну сторону — дар богов или удачного стечения обстоятельств; по другую — награда за усилия, упорство, умелость. Точно так же в карточной игре победой увенчивается смешанное превосходство, в котором участвуют и расклад карт и умение игрока. Следовательно, *alea* и *agôn* взаимно противоречивы, но и солидарны. Их противопоставляет постоянный конфликт, и их объединяет сущностный союз.

• • •

По своим принципам, а все более и более и по своим учреждениям, современные общества стремятся расширить область регулярного состязания, то есть заслуг, за счет происхождения и наследственности, то есть случайности. Такая эволюция удовлетворяет требованиям справедливости, разума и наилучшего использования талантов. Поэтому политические реформаторы все время стараются придумать более справедливую конкуренцию и ускорить ее наступление. Однако результаты их усилий остаются скудными и обманчивыми — а кроме того, отдаленными и маловероятными.

Пока же каждый человек, едва достигнув сознательного возраста, легко понимает, что для него уже слишком поздно и игра сыграна. Он пленник собственного удела. Возможно, своими заслугами он сумеет его улучшить, но не выйти за его рамки. Заслуги не позволят ему радикально изменить уровень своей жизни. Отсюда рождается ностальгия по окольным путям, по мгновенным решениям, открывающим перспективу стремительного, хотя бы и относительного, успеха. Такого успеха приходится просить у судьбы, поскольку труд и квалификация бессильны его предоставить.

Кроме того, большинство людей понимают, что им не придется многого ожидать от своих заслуг как таковых. Они хорошо видят, что другие заслуживают большего, чем они сами, что у других больше ловкости, силы, ума, трудолюбия или стремления к успеху, что те здоровее или памятьнее, привлекательнее или убедительнее в глазах окружающих. И тогда, сознавая свою неполноценность, они не связывают надежды с точным, беспристрастно-расчисленным состязанием. Они тоже обращаются к удаче и ищут такой принцип различения, который был бы к ним более милостив. Не рассчитывая победить в турнирах *agôn*'а, они обращаются к всевозможным лотереям и жеребьевкам, где малоодаренные, глупые, больные, неловкие и ленивые наконец-то оказываются наравне с одаренными и проницательными людьми перед лицом чудесной слепоты этого нового типа справедливости.

В такой ситуации *alea* вновь представляет собой необходимую компенсацию, как бы естественное дополнение к *agôn*'у. Если бы существовал один-единственный, окончательный принцип оценки, то у отвергнутых им не оставалось бы никакого будущего. Нужно какое-то другое, запасное испытание. Обращение к удаче помогает переносить несправедливость фальсифицированных или слишком суровых состязаний. Одновременно оно оставляет надежду тем, кому при честном конкурсе достались бы лишь плохие, по необходимости самые многочисленные места. Поэтому, по мере того как случайность происхождения утрачивает свое древнее верховенство и расширяется владычество регулярного состязания, наряду с ним развиваются и множатся вторичные механизмы, призванные иногда вдруг, вне всякого порядка превозносить како-нибудь ошеломленного своей победой счастливица.

Этой цели служат прежде всего азартные игры, а также и разнообразные другие испытания, в которых скрыты азартные игры; всем им свойственно представлять себя как состязания, тогда как на деле в них решающую роль играет фактор пари, риска, простой или сложной случайности. Такого рода испытания и лотереи обеспечивают удачливому игроку более скромный, чем он полагал, выигрыш, но одной лишь перспективы такого выигрыша достаточно, чтобы ослепить его. Избранником судьбы может оказаться каждый. Эта почти иллюзорная возможность все-таки помогает малым мира сего легче переносить заурядность своего положения, из которого у них нет, по сути, никакого другого способа вырваться. Для этого нужна необычайная удача — чудо. И вот *alea* как раз и занимается тем, что все время сулит такое чудо. Отсюда неизменное процветание азартных игр. Оно выгодно и государству. Устраивая вопреки протестам моралистов официальные лотереи, оно рассчитывает на значительный доход от этого источника средств, которые — случается же! — люди отдают ему с воодушевлением. Если же оно отказывается от такого средства и уступает выгоду его эксплуатации частной инициативе, оно хотя бы облагает высокими налогами различные операции, имеющие признаки пари и заклада.

Играть — значит отказываться от труда, терпения, бережливости ради удачного броска костей, который в один миг дает столько, сколько не даст целая жизнь в изнурительных трудах и лишениях, если только в нее не вмешается удача и если не прибегать к спекуляции, которая отчасти связана именно с удачей. Чтобы быть привлекательными, лотерейные выигрыши, по крайней мере главные из них, должны быть крупными. И наоборот, сами билеты должны стоить как можно дешевле, и даже следует делать их делимыми, чтобы они были доступны множеству нетерпеливых любителей игры. Отсюда следует, что большие выигрыши достаются немногим. Но это

неважно — сумма, которой вознаграждают самого удачливого, кажется оттого еще более желанной.

Возьмем первый попавшийся, вероятно не самый убедительный пример: в тотализаторе на Гран-при Парижа величина наибольшего выигрыша составляет сто миллионов франков, то есть сумму, которая должна казаться просто баснословной подавляющему большинству покупателей билетов, зарабатывающих тяжелым трудом несколько десятков тысяч франков в месяц. Действительно, если принять годовой заработок среднего рабочего за четыреста тысяч франков, то эта сумма оказывается эквивалентом примерно двухсот пятидесяти лет работы. При этом большинству трудящихся не под силу купить билет тотализатора, стоящий восемнадцать тысяч пятьсот франков, чуть более половины месячного заработка. Им приходится довольствоваться покупкой «десятых долей», которые стоят две тысячи и обольщают их перспективой выиграть десять миллионов — мгновенно и вдруг получить столько, сколько заработаешь за четверть века. Влекущая сила такого внезапного обогащения неизбежно пьянит игрока, ибо оно на деле означает радикальную перемену в социальном положении, практически недостижимую нормальными путями, — чистую милость судьбы¹.

Рукотворная магия оказывается действенной: согласно последним статистическим данным, в 1955 году французы потратили сто пятнадцать миллиардов только на азартные игры, контролируемые государством. Из этого числа общий доход Национальной лотереи составляет сорок шесть миллиардов, то есть по тысяче франков на каждого француза. За тот же год было выплачено выигрышей на двадцать пять миллиардов. Крупные выигрыши, размер которых по отношению к общей сумме выплат постоянно растет, явно рассчитываются так, чтобы вызывать надежду на обогащение, и клиентам открыто предлагают рассматривать выигравших как примеры подражания.

Доказательством этому может служить хотя бы полуофициальная реклама, которой так или иначе заставляют заниматься внезапно обогатившихся таким образом людей, хотя по желанию им и могут гарантировать анонимность. Тем не менее обычай таков, что газеты подробно сообщают обществу об их быте и намерениях на будущее. Можно сказать, что задача таких публикаций — подстрекать толпу попытать удачи в следующий раз.

Азартные игры не во всех странах организуются как грандиозные жеребьевки, осуществляемые в общенациональном масшта-

бе. Там, где они не имеют официального характера и лишены государственной поддержки, их размах быстро уменьшается. Абсолютная сумма выигрышей падает вместе с числом играющих. Нет больше почти бесконечной диспропорции между суммой вложенных и ожидаемых денег. Но из этого более скромного масштаба ставок отнюдь не следует, что в конечном итоге общая сумма ставок менее значительна.

Напротив — ибо в таком случае тираж уже не оформляется как торжественная, относительно редкая процедура. Объем ставок с лихвой возмещается частотой розыгрышей. В часы работы казино на нескольких десятках столов крупье в установленном дирекцией ритме непрестанно бросают шарик в рулетку и объявляют результаты. В мировых игорных столицах — например, Довиле, Монте-Карло, Макао или Лас-Вегасе — суммы, находящиеся в непрерывном обороте, могут и не достигать тех фантастических цифр, которые мы склонны воображать, однако закон больших чисел гарантирует практически неизменный доход от этих быстрых и бесперывных операций. Этого довольно, чтобы город или государство получали от них броское и скандальное процветание, легко заметное по блеску праздников, агрессивной роскоши, вольности нравов, всевозможным соблазнам, которые функционируют также как реклама и открыто предназначаются для завлечения клиентов.

Правда, такого рода столицы привлекают главным образом приезжих игроков, которые развеиваются здесь за несколько дней, в возбуждающей обстановке доступных удовольствий, но вскоре возвращаются к более суровой трудовой жизни. При всех необходимых оговорках, такие города, дающие прибежище и рай для игорной страсти, похожи на огромные публичные дома или на гигантские опиумные курительни. Общество проявляет к ним терпимость, контролируя их и получая от них прибыль. Через них проезжает, не поселяясь в них, кочевой народ любопытных, праздных и одержимых. Ежегодно семь миллионов туристов оставляют шестьдесят миллионов долларов в Лас-Вегасе, что составляет около 40% бюджета штата Невада. Однако для них проведенное там время — лишь перерыв в обычном течении жизни. Общий стиль цивилизации не изменяется от этого сколько-нибудь существенно.

В существовании больших городов, чьим почти исключительным назначением и занятием являются азартные игры, очевидно проявляется сила инстинкта, который находит себе выражение в погоне за удачей. Однако опаснее всего этот инстинкт проявляет себя не в таких городах — исключениях из правила. В других местах букмекерские конторы позволяют каждому играть на скачках, даже не приходя на ипподром. Социологами замечена тенденция заводских рабочих создавать своеобразные клубы, где они разыгрывают относительно крупные суммы (пожалуй, даже непомерно большие

¹ Цифры указаны по курсу 1956 года (года первого издания), то есть в старых франках. Сегодня их намного превосходят суммы, разыгрываемые в «тройку» — лотерею, где игроку дается иллюзия, что он может частично защищаться от воли судьбы.

по сравнению с их зарплатой), делая ставки на результаты футбольных матчей¹. В этом тоже — черта цивилизации².

Государственные лотереи, казино, ипподромы, разнообразные ставки у букмекеров остаются в рамках чистой аде, строго соблюдая законы математической справедливости.

Действительно, за вычетом общих расходов и отчислений, осуществляемых администрацией, выигрыш в таких играх, сколь бы огромным он ни казался, всегда строго пропорционален ставкам и степени риска каждого игрока. Более примечательным нововведением наших дней является то, что я бы назвал замаскированными лотереями: это те, которые не требуют никакого вложения средств и внешне выдаются за вознаграждение таланта, эрудиции, находчивости или каких-то иных заслуг, по природе не поддающихся объективной оценке и законной поддержке. Существуют крупные литературные премии, которые приносят писателю настоящее состояние и славу, по крайней мере на несколько лет. По образцу таких премий учреждены тысячи других, которые мало что дают реально, зато поддерживают и как бы разменивают собой престиж более крупных премий. Девушку, победившую одну за другой грозных соперниц, в конце концов провозглашают Мисс Вселенной — и она становится кинозвездой или выходит замуж за миллиардера. По ее примеру избирают и множество других непредсказуемых Королев, Фрейлин, Муз, Сирен и т. д., которые в лучшем случае один сезон пользуются упоительной, хоть и сомнительной известностью, ведут роскошную, но ненадежную жизнь в одном из фешенебельных отелей по соседству с модными пляжами. Каждая группа желает иметь свою такую королеву. Пределов этому нет. Даже врачи-радиологи присвоили титул «Мисс Скелет» некоей молодой девушке

¹ См.: FRIEDMANN G. *Où va la travail humain*. Paris, 1950. P. 147—151. В Соединенных Штатах пари заключают главным образом на «номера», то есть «на три последние цифры общей суммы акций, продаваемых каждый день на Уолл-стрит». Из этого вырастают рэкет и значительные состояния, рассматриваемые как деньги сомнительного происхождения. См.: *Ibid.* P. 149. № 1; *Le travail en miettes*. Paris, 1956. P. 183—185.

² Влияние азартных игр оказывается предельно сильным тогда, когда подавляющее большинство населения мало работает и много играет, особенно если оно играет каждый день. Но, чтобы такое случилось, требуется достаточно редкое сочетание климата и общественного строя. Тогда под этим влиянием изменяется вся национальная экономика и возникают специфические формы культуры, связанные, как следовало ожидать, с параллельным развитием суеврий. Некоторые примеры этого описываются ниже, в дополнении под названием «Как важны бывают азартные игры». См. также в Документации (с. 192) численные показатели сумм, затрачиваемых в игровых автоматах жителями Соединенных Штатов и Японии.

(м-ль Лоис Конвей, восемнадцати лет), которая, как показали рентгеновские лучи, обладала самой красивой грудной клеткой.

Иногда к испытанию нужно специально готовиться. На телевидении сулят небольшое состояние тому, кто правильно ответит на ряд все более сложных вопросов на определенную тему. Благодаря отобранному персоналу и впечатляющим аксессуарам это еженедельное представление облекается некоторой торжественностью: к публике обращается опытный оратор; обязанности секретаря выполняет в высшей степени фотогеничная молодая женщина; охранники в форме делают вид, что сторожат чек, выложенный на виду у алчущей публики; электронная машина обеспечивает несомненно беспристрастный выбор вопросов; наконец, есть специальное помещение, где кандидаты могут уединиться и сосредоточенно, в одиночестве и на виду у всех, готовить решающий ответ. Выходцы из скромной социальной среды, они с трепетом предстают перед бесстрастным судьей. Их тревоге сопереживают издали сотни тысяч зрителей, для которых одновременно лестно контролировать подобное соревнование.

На вид перед нами экзамен-агон, где вопросы намеренно и постепенно усложняются, чтобы измерить широту познаний человека. На самом же деле нам предлагается ряд пари, где шансы на выигрыш сокращаются по мере того, как возрастает стоимость предлагаемого вознаграждения. Такую игру часто называют «на квит или вдвое» — название, не оставляющее сомнений на сей счет. Оно указывает также на быстроту роста ставок. Достаточно менее десяти вопросов, чтобы риск сделался предельным, а вознаграждение — завораживающим. Прошедшие всю дистанцию на какое-то время становятся национальными героями: так в Соединенных Штатах пресса и общество болели то за сапожника — специалиста по итальянской опере, то за чернокожую школьницу с абсолютной грамотностью, то за полицейского, увлеченного Шекспиром, то за старушку, внимательно читавшую Библию, то за солдата-гастронома. Каждая неделя приносит свежие примеры¹.

¹ Небесполезно будет привести цифры. Некий молодой преподаватель, которого описывают как «застенчивого», выиграл 51 миллион франков (129 000 долларов), отвечая в течение четырнадцати недель на вопросы о бейсболе, античных модах, симфониях великих композиторов, математике, естественных науках, географических открытиях, медицине, Шекспире и истории американской революции. В числе лауреатов значительное место занимают дети. Одиннадцатилетний Ленни Росс выиграл 64 000 долларов (то есть 23 миллиона франков) благодаря своим познаниям в биржевой игре. Через несколько дней десятилетний Роберт Стром выиграл 80 000 долларов (30 миллио-

Вызываемый такими сменяющимися друг друга пари энтузиазм, успех телепередач ясно показывают, что такая формула соответствует широко ощущаемой потребности. Во всяком случае, эксплуатировать ее выгодно — так же как конкурсы красоты и, вероятно, по тем же самым причинам. Эти стремительно обретаемые и в то же время чистые (как будто бы всецело заслуженные) богатства дают компенсацию за недостаточный размах социальной конкуренции, которая в конечном счете осуществляется лишь между людьми одного класса, одного уровня жизни или образования. Повседневная конкуренция, с одной стороны, сурова и безжалостна, а с другой — монотонна и утомительна. Она не только не развлекает, но и накапливает обиды. Она изматывает и обескураживает. Ведь она практически не дает надежды выбраться из своего положения с помощью одного лишь профессионального заработка. Поэтому каждый жаждет отыграться. Он мечтает о деятельности, наделенной противоположными свойствами — одновременно и увлекательной и дающей шанс одним махом добиться настоящего продвижения в жизни. Конечно, по здравом размышлении обольщаться тут нечем: утешение, доставляемое такими конкурсами, смехотворно, но их резонанс усиливается рекламой, и не так важно ничтожное число выигрывающих, как огромная масса болельщиков, которые у себя дома следят за перипетиями соревнований. Они в большей или меньшей степени отождествляют себя с состязающимися. Они упиваются торжеством победителя, *сопереживая* ему.

С) СОПЕРЕЖИВАНИЕ

Здесь перед нами новое явление, чей масштаб и смысл следует правильно понимать. *Сопереживание* [délégation] — это вырожденная, размытая форма мимисгу, которая единственно и может процветать

нов франков), отвечая на вопросы по электронике, физиологии и астрономии. В Стокгольме в феврале 1957 года шведское телевидение объявило неправильным ответ юного Ульфа Ханнетца (14 лет), сказавшего, что Umbra Krameri — это рыба, имеющая веки на глазах. Из Штутгартского музея немедленно выслали самолетом два ее живых экземпляра, а из Британского института естественных наук — фильм, снятый в глубине морей. Опровергавшие мальчика были посрамлены. Юный герой получил 700 000 франков, а американское телевидение пригласило его в Нью-Йорк. Все болеют за таких игроков, и это возбуждение умело поддерживается. «Тридцать секунд, чтобы сделать состояние», — пишут газеты, уделяя этим конкурсам почти регулярную рубрику и публикуя фотографии победителей, а рядом, крупным пририфтом, баснословную сумму, завоеванную ими якобы в один миг. Даже самый изобретательный и прилежный теоретик не смог бы придумать ситуации, где бы так ярко комбинировались ресурсы подготовки и завораживающая сила вызова.

в современном мире, где совместно господствуют принципы заслуги и удачи. Большинство людей терпят неудачу на конкурсах или же не в состоянии участвовать в них. Эти конкурсы для них либо недоступны, либо безуспешны. Каждый солдат может носить в своем ранце маршалский жезл, а достойнейший и впрямь получить его — но все-таки имеется лишь один маршал, командующий целыми колоннами рядовых. Удача, как и заслуга, отмечают своей милостью лишь редких избранных. Большинство остается ни с чем. Каждый желает быть первым; справедливость и законы дают ему на это право. Но каждый знает или догадывается, что он, вполне возможно, и не станет первым, по той простой причине, что первым может быть только один. И тогда он пытается быть победителем вчуже, сопереживая кому-то другому, и это единственный способ торжествовать победу всем сразу, без усилий и без риска неудачи.

Отсюда — в высшей степени характерный для современного общества культ кинозвезд и чемпионов. Он по праву может считаться неизбежным в мире, где столь большое место занимают спорт и кино. Тем не менее у этого единодушного и спонтанного поклонения есть и другая, менее очевидная, но не менее убедительная мотивировка. Кинозвезда и чемпион являют собой чарующий образ того грандиозного успеха, который единственно может выпасть, если повезет, любому, самому неизвестному и бедному. Этим беспримерным культом встречают мгновенный апофеоз человека, который для успеха не имел ничего, кроме собственных личных, природно-неотчуждаемых ресурсов — мускулов, голоса или обаяния, то есть человека без всякой социальной поддержки.

Успех выпадает редко, и к тому же неизменно включает в себя долю непредсказуемости. Он приходит не в конце долгой карьеры, как последняя из ее неизменных ступеней. Им вознаграждается какое-то необычайное и таинственное совпадение, где складываются и сходятся вместе дары фей у колыбели младенца, непоколебимая настойчивость в преодолении препятствий и окончательное испытание, то есть опасный, но решающе важный случай, встретив который нужно не колеблясь за него хвататься. С другой стороны, очевидно, что почитаемый идол победил в скрытой, неявной конкуренции, конкуренции безжалостной, ибо нужно, чтобы успех пришел быстро. Ведь подобные ресурсы, которые может получить в наследство даже самый обездоленный и которые составляют ненадежный шанс бедняка, существуют лишь некоторое время. Красота увядает, голос ломается, мускулы слабеют, гибкость тела утрачивается. А между тем кто не мечтает смутно о том, чтобы воспользоваться феерической и в то же время, казалось бы, столь близкой возможностью попасть в недостижимый эмпирей роскоши и славы? Кто не желает стать звездой или чемпионом? Но сколь многие из этого множества мечтателей теряют мужество при первых же труд-

ностя! Многие ли подступают к ним? Многие ли реально готовы однажды столкнуться с ними? Оттого-то почти все предпочитают побеждать *по доверенности*, через посредство героев романов или кинофильмов или, еще лучше, тех реальных и родственных персонажей, какими являются кинозвезды и чемпионы. Каким-то образом они чувствуют себя представленными в лице маникюрши, избранной королевой красоты, или продавщицы, получившей главную роль в дорогостоящем фильме, или сына лавочника, выигравшего «Тур де Франс», или автомеханика, надевшего сверкающий костюм и ставшего тореадором высшего класса.

Вероятно, не бывает более тесного переплетения принципов *agôn'a* и *alea*. Заслуга, на которую как будто бы может претендовать каждый, сочетается с невиданной удачей крупного выигрыша; казалось бы, первому встречному человеку выпадает исключительный, почти чудесный успех. И тут вступает в действие *timiscy*. Каждый мысленно соучаствует в грандиозном триумфе, который, как кажется, может выпасть и ему, хотя всем известно, что в этой игре выигрывает лишь один из миллионов. Таким образом, каждый одновременно и получает право на иллюзию, и избавляется от усилий, которые ему пришлось бы прилагать, если бы он действительно хотел рискнуть и попробовать стать счастливым избранником.

Такая поверхностная, зыбкая, зато постоянная, стойкая и всеобщая самоидентификация образует один из важнейших компенсаторных механизмов демократического общества. У большинства только и есть что эта иллюзия, позволяющая им обмануться, отвлечься от тусклой, монотонной и изнурительной жизни¹. Подобный перенос — или, может быть, лучше сказать, подобное отчуждение личности — заходит столь далеко, что очень часто приводит к драматическим индивидуальным жестам или же к своеобразной заразительной истерии, внезапно охватывающей всю молодежь. К тому же эту фасцинацию поддерживают пресса, кино, радио, телевидение. Благодаря рекламным афишам и иллюстрированным еженедельникам лицо чемпиона или звезды становится вездесущим, неизбежно-соблазнительным. Между этими сезонными божествами и толпой их поклонников существует непрерывный осмос. По-

¹ О способах, распространенности и интенсивности такой самоидентификации см. превосходную главу в книге: MORIN E. *Les Stars*. Paris, 1957. P. 69–145, — особенно ответы на социологические опросы в Великобритании и Соединенных Штатах о фетишизме, которым окружены кинозвезды. У явления соперничества есть две возможности: поклонение звезде другого пола и идентификация со звездой одного пола и возраста. Последняя форма встречается чаще всего — в 65% случаев, согласно статистическим данным Motion Picture Research Bureau (MORIN E. *Op. cit.* P. 93).

клонникам сообщают об их вкусах, пристрастиях, суевериях, о самых незначительных подробностях их жизни. И те подражают им, копируют их прическу, усваивают их привычки, манеру одеваться и краситься, режим питания. Они живут их жизнью и в их образе, так что некоторые даже не могут утешиться в случае смерти идола и отказываются жить после нее. Ибо подобные страстные эпидемии не исключают ни коллективного неистовства, ни эпидемических самоубийств¹.

Очевидно, что ключ к такому фанатизму дают не спортивные достижения атлета и не искусство исполнителя, а скорее некая общая потребность отождествлять себя с чемпионом или кинозвездой. Такого рода привычка быстро становится второй натурой.

Кинозвезда выражает собой олицетворение успеха, победы, преодолевшей давящую и грязную рутину повседневного быта, все препятствия, которые общество ставит перед человеческой доблестью. Непомерностью своей славы этот идол иллюстрирует постоянную возможность триумфа, который уже является отчасти достоянием каждого — во всяком случае, отчасти создан каждым из поклонников. Этим возвышением, казалось бы, первого попавшегося мужчины или женщины посягается установленная иерархия, резко и радикально отменяется гнетущий каждого человека роковой удел². Поэтому в такой карьере легко заподозрить что-то подозрительное, нечистое и неправильное. Сохраняющаяся при всем обо-

¹ См. Документацию, с. 199–200.

² С этой точки зрения в высшей степени показателен энтузиазм, недавно вызванный в Аргентине Эвой Перон, которая, собственно, соединяла в своем лице три основных чарующих фактора: обаяние звезды (она происходила из мира мюзик-холла и киностудий), обаяние власти (как супруга и вдохновительница президента республики) и обаяние своего рода воплощенного провидения всех обездоленных и отверженных (она любила играть эту роль и ради нее тратила часть государственных денег в форме личных вспомоществований). Стремясь опорочить ее, враги указывали на ее норковые манто, жемчуга и изумруды. Я сам слышал, как она отвечала на эти обвинения в ходе грандиозного митинга в буэнос-айресском театре Колумба, перед многотысячной толпой поклонников. Она не отрицала ни манто, ни брильянтов, которые, собственно, и были на ней в тот момент. Она сказала: «А что, разве мы, бедняки, не имеем права носить меховые манто и жемчужные ожерелья, как и богатые?» Толпа разразилась долгими и горячими аплодисментами. Каждая из бесчисленных работниц и продавщиц чувствовала, что и она тоже носит самые дорогие украшения и драгоценности — в лице этой женщины, которая у нее на глазах «репрезентировала» ее в ту минуту.

жании зависть неизбежно заставляет замечать в ней двусмысленный успех амбиций и интриг, бесстыдства или рекламы.

От таких подозрений избавлены короли, но своим положением они отнюдь не противоречат социальному неравенству, а, напротив, дают самую яркую его иллюстрацию. Между тем известно, что пресса и публика с не меньшей страстью, чем звездами, увлекаются и личностью монархов, придворным церемониалом, любовными историями принцесс и отречениями от престола глав государств.

Наследственное величество, легитимность, гарантируемая многими поколениями абсолютной власти, создают альтернативный образ величия, получающего от прошлого и истории более устойчивый престиж, чем даваемый внезапным и преходящим успехом. Как любят повторять, чтобы быть наделенными этим решительным превосходством, монархам достаточно лишь дать себе труд родиться. Их заслуги признаются ничтожными. Считается, что они несут бремя своих исключительных привилегий, которые они ничем не заслужили и которые им даже не пришлось желать или выбирать: таков чистый вердикт абсолютной аlea.

В этом случае идентификация оказывается гораздо меньшей. Короли по определению относятся к запретному миру, вступить в который позволяет только высокое происхождение. Они олицетворяют не мобильность общества и даваемые ею шансы, а, напротив, его тяжесть и сплоченность, со всеми пределами и препонами, которые оно ставит перед заслугой и справедливостью. Легитимность монархов предстает как высшее, чуть ли не скандальное воплощение естественного закона. Ею увенчивается (в буквальном смысле слова) и предназначается для престола человек, которого ничто, кроме этой удачи, не отличает от толпы других, царствовать над ними он призван в силу слепого решения судьбы.

И вот народ ощущает необходимость в своем воображении максимально приблизить к общему делу жизнь того, кто отделен от него непреодолимой дистанцией. Хочется видеть его простым, чувствительным, а главное, страдающим от торжественности и почестей, на которые он обречен. Чтобы не так ему завидовать, ему начинают сочувствовать. Считают очевидным, что ему заказаны самые простые радости, настойчиво твердят, что он не свободен в любви, скован долгом перед короной, этикетом, обязанностями своего положения. Так высшая власть окружается странной смесью зависти и сострадания, привлекая к королевским процессиям толпы народа, который своими приветственными возгласами старается убедить сам себя, что короли и королевы созданы так же, как и он, и что королевский скипетр приносит не столько счастье и власть, сколько скуку, утомление и несвободу.

Королей и королев изображают обделенными теплотой, искренности, уединением, возможностью удовлетворять свои капри-

зы, вообще свободой. «Я не могу даже купить себе газету», — якобы говорила английская королева во время своего визита в Париж в 1957 году. Это и есть типичное высказывание из тех, которые общественное мнение приписывает главам государств, нуждаясь в том, чтобы считать их соответствующими какой-то важнейшей реальности.

Пресса обращается с королевами и принцессами как со звездами, но только эти звезды — пленницы своей уникальной, подавляюще-незыблемой роли, от которой они только и мечтают избавиться. Это звезды поневоле, пойманные в ловушку собственного персонажа.

Общество, даже уравнильное, почти не оставляет малым мира сего надежды выбраться из своего удручающего положения. Оно обрекает их почти всех пожизненно оставаться в узких рамках того круга, где они родились. Чтобы обмануть их честолюбие, которое оно само же оправдывает и внушает им в школе и химеричность которого быстро показывает им жизнь, общество убаюкивает их лучезарными картинками: в то время как спортивный чемпион или кинозвезда манят их ослепительным взлетом наверх, доступным даже самому обездоленному, деспотично жесткий придворный протокол напоминает им, что жизнь монархов счастлива лишь постольку, поскольку сохраняет что-то общее с их собственной жизнью, то есть не такое уж это великое преимущество — получить по воле судьбы общественное положение, превосходящее любые мерки.

Эти верования причудливо противоречивы. При всей своей лживости, они выражают какое-то необходимое обольщение: провозглашают веру в дары удачи, когда они выпадают малым сим, и отрицают приносимые ими выгоды, когда ими с самой колыбели обеспечивается великолепная участь сыновьям властителей.

Подобные взгляды, при всей их массовой распространенности, не могут не казаться странными. Необходимо объяснение, соразмерное их широте и устойчивости. Они занимают место в числе постоянно действующих механизмов того или иного общества. Как мы видели, современная социальная *игра* определяется спором между происхождением и заслугами, между победой, которую одерживает лучший, и счастьем, которым оделяется самый удачливый. Однако, несмотря на то что общество зиждется на провозглашаемом им всеобщем равенстве, лишь очень немногие его члены рождаются или попадают на первые места, которые очевидным образом не могут занимать все — разве что в порядке какой-то немыслимой очередности. Отсюда уловка, связанная с соперничеством.

Рудиментарный, безобидный миметизм дает безвредную компенсацию покорному большинству, не имеющему ни надежды, ни

твердого намерения попасть в слепящий его мир роскоши и славы. *Mimicry* здесь — диффузно-вырожденная. Лишенная маски, она приводит уже не к одержимости и гипнозу, а лишь к пустой мечтательности. Эта мечтательность зарождается в чарах темного кинозала или залитого светом стадиона, когда все взгляды прикованы к действиям лучезарного героя. Она подхватывается рекламой, прессой и радио. Она заставляет тысячи жертв замороженно отождествлять себя со своими любимыми идолами. Она заставляет их жить воображаемой пышно-насыщенной жизнью, обстановку и драматические события которой им описывают день ото дня. Хотя маску теперь носят лишь в редких случаях и она почти полностью вышла из употребления, бесконечно размытая *mimicry* служит опорой или же противовесом для новых норм, которыми управляется общество.

В то же время *головокружение*, лишенное своей былой власти, оказывает постоянное и мощное воздействие лишь в силу соответствующего ему искажения, то есть силой опьянения, вызываемого алкоголем или наркотиками. Подобно маскам и маскарадам, оно образует теперь всего лишь игру в собственном смысле слова, то есть деятельность упорядоченную, обособленную, отделенную от реальной жизни. Такие эпизодические роли, конечно, далеко не исчерпывают собой всей опасной мощи отныне усмирённых сил симуляции и транса. Поэтому они возникают вновь в лицемерно-извращённых формах, посреди мира, отбрасывающего их на периферию и, как правило, не признающего за ними никаких прав.

Пора делать выводы. В конечном счете, моей задачей было всего лишь показать, каким образом сочетаются между собой основные движущие силы игр. Отсюда вытекают результаты проведенного двойного анализа. С одной стороны, головокружение и симуляция, оба тяготеющие к отчуждению личности, обладают преимуществом в определенном типе общества, из которого все же не исключены состязание и удача. Просто состязание в нем не кодифицировано и занимает лишь небольшое институциональное место, если вообще его имеет, причем чаще всего оно имеет форму простого соревнования в силе или в престиже. К тому же сам этот престиж в большинстве случаев остается магическим по происхождению и fasciniрующим по природе: он достигается с помощью транса и спазмов, а обеспечивают его маска и мимика. Что же касается удачи, то она в таком обществе представляет собой не абстрактное выражение статистического коэффициента, но опять-таки тайный знак благоволения богов.

Напротив, регулярное состязание и приговор случая, которые оба предполагают точный расчет и размышления с целью справедливого распределения рисков и наград, образуют два взаимодопол-

няющих принципа другого типа общества. Ими создается право, то есть точный, абстрактный, внутренне согласованный кодекс, а тем самым так глубоко меняются все нормы общественной жизни, что римское изречение «*Ubi societas, ibi jus*»¹, предполагающее безусловное соотношение между обществом и правом, как бы утверждает, что с этого переворота начинается и само общество. В подобном мире известны и экстаз и пантомима, но они здесь как бы понижены в звании. В обычное время они даже кажутся там вообще отмененными, отброшенными или же прирученными, как это показывают множество их проявлений — обильных по количеству, но при этом второстепенных и безобидных. Однако их захватывающая сила остается достаточно мощной, чтобы они могли в любой момент увлечь толпу в какое-нибудь чудовищное неистовство. История дает тому достаточно поразительных и страшных примеров, начиная с крестовых походов детей в средние века и вплоть до искусно оркестрированного головокружения нюрнбергских съездов во времена «третьего рейха»; а в промежутке между ними — многочисленные эпидемии скакунов и плясунов, конвульсионеров и флагеллантов, мюнстерских анабаптистов XVI века, так называемая *Ghost-Danse Religion*² у индейцев сиу конца XIX века, еще не приспособившихся как следует к новому стилю жизни, или религиозное «пробуждение» в Уэльсе в 1904–1905 годах, и еще множество других мгновенных, неудержимых поветрий, порой разрушительных, противоречащих фундаментальным нормам тех цивилизаций, где они происходят³. Недавний и характерный, хоть и сравнительно малый по масштабу пример явили собой проявления насилия, которому предавались подростки в Стокгольме на Новый 1957 год, — не поддающийся пониманию взрыв разрушительного, бессмысленного и упрямого безумия⁴.

Подобные эксцессы, или же приступы, больше не могут ни стать правилом, ни казаться временем и знаком особой милости, ожидаемым и почитаемым взрывом божественной силы. Ныне одержимость и подражание приводят лишь к необъяснимому помутнению рассудка — преходящему и ужасающему, как война, которую мне уже доводилось описывать как эквивалент первобытного празднества. Буйнопомешанного больше не считают смятенным вырази-

¹ «Где общество, там и право» (*лат.*). — *Примеч. пер.*

² Религия танцев с привидениями (*англ.*). — *Примеч. пер.*

³ Неполная, но все равно впечатляющая документация на сей счет собрана в книге: FELICE PH. DE Foules en délire, extases collectives. Paris, 1947.

⁴ См. статью (воспроизведенную в Документации, с. 200–202): FREDEN E. // Le Monde. 4 janvier 1957. Весьма вероятно, что эти проявления следует соотносить с успехом таких американских фильмов, как «Дикарь» и «Бунтовщик без причины».

телем вселившегося в него бога. Мы больше не воображаем, будто он пророчесствует и обладает властью исцелять. Общество согласно в том, что власть должна отправляться спокойно и обдуманно, а не в неистовом увлечении. Для этого пришлось обуздать как безумие, так и празднество — любой чарующий хаос, рожденный бредовым умом или же кипением толпы. Такой ценой смог родиться и вырасти Город, а люди — перейти от иллюзорно-магической власти над миром, внезапно возникающей, целостной и тщетной, к медленному, зато действительно покорению природных энергий с помощью техники.

Проблема еще далеко не решена. Нам по-прежнему неизвестно, благодаря какому ряду счастливых и бесповоротных решений некоторые редкие культуры смогли пройти в самые узкие врата, выиграть самое невероятное пари — то, что вводит в историю, делает возможными бесконечные притязания, а авторитет прошлого перестает быть чисто парализующей силой и превращается в силу обновления и в предпосылку прогресса, из наваждения становится наследием.

Общество, сумевшее выполнить такой обет, вырывается из беспамятного и безбудущного времени, от которого оно ожидало лишь циклического, леденящего страхом возвращения Масок-Творцов, которым оно само подражало через определенные промежутки времени в смятенном отказе от сознания. Оно вступает в иное, более дерзкое и продуктивное движение, которое носит линейный характер, которое не возвращается периодически к одному и тому же порогу, которое испытует и исследует, которое не имеет конца и которое есть не что иное, как путь цивилизации.

Конечно, неразумно было бы заключить, что для такой попытки было достаточно когда-то однажды отречься от влияния пары *mimicry-ilinx*, чтобы утвердить на его месте мир, правление которыми разделяют заслуга и удача, *agbn* и *alea*. Это были бы пустые умозаключения. Но, как мне кажется, вряд ли можно отрицать, что этим разрывом сопровождается решительная революция, что он должен учитываться при ее корректном описании, пусть даже данный отказ поначалу дает лишь ничтожно малые результаты; возможно, позднее покажется, что он даже слишком очевиден и не нуждается в подчеркивании.

IX. Современные проявления

Поскольку *mimicry* и *ilinx* поистине являются постоянными соблазнами для человека, то их невозможно легко устранить из общественной жизни, чтобы они оставались в ней лишь в качестве детских забав и отклоняющегося поведения. Как бы тщательно ни лишать доверия их власть, как бы ни делать редким их применение, как бы ни приручать и ни нейтрализовывать их последствия, маска и одер-

жимость все же отвечают настолько опасным инстинктам, что им приходится давать кое-какое удовлетворение, пусть и ограниченно-безвредное, зато широковещательное и как минимум приоткрывающее дверь к двусмысленным удовольствиям тайны и трепета, паники, отупения и неистовства.

При этом дают свободу диким, взрывчатым энергиям, готовым внезапно дойти до опасного пароксизма. Однако главная их сила возникает при их союзе; и чтобы легче укрощать эти энергии, лучше всего разделять их силы и не давать им действовать согласно. Симуляция и головокружение, маска и экстаз постоянно связывались воедино в мире утробно-галлюцинаторных переживаний, и он долго держался на их совместном действии. Ныне же они проявляются лишь по отдельности, обедненными и обособленными, в мире, который их отвергает и, собственно, процветает лишь постольку, поскольку умеет сдерживать или обманывать заключенную в них неистовую силу.

Действительно, в обществе, избавленном от колдовской власти пары *mimicry-ilinx*, маска закономерно утрачивает свою способность к метаморфозе. Носящий ее больше не чувствует себя воплощающим какие-то чудовищные силы, облеченным их нечеловеческим лицом. Те, кого он пугает, тоже не обманываются этим неузнаваемым привидением. Сама маска изменила свой вид, а в значительной мере и назначение. Действительно, она получает новую, сугубо утилитарную роль. Когда она служит орудием маскировки для злоумышленника, стремящегося скрыть свое лицо, то она уже не являет зрителям чье-то чужое присутствие — она прикрывает личность своего носителя. Да и зачем тут маска? Достаточно надвинуть на лицо шарф. Маска — это скорее приспособление, которым пользуются, чтобы изолировать дыхательные пути во вредной среде, или же чтобы снабжать легкие необходимым кислородом. Оба эти случая очень далеки от древней функции масок.

МАСКА И УНИФОРМА

По верному замечанию Жоржа Бюро, современное общество знает, по сути, лишь два пережитка колдовских масок: бальная полумаска и гротескные маски на карнавале. Первая из них, сведенная к минимуму, элегантная и как бы абстрактная, долгое время была принадлежностью эротических праздников и конспирации. Она царила на двусмысленных играх чувственности и при тайных заговорах против власти. Она была символом интриги — любовной и политической¹. Она вызывает беспокойство и легкий трепет. Одновременно она обеспечивает анонимность, укрывает и освобождает. На бале-

¹ См. Документацию, с. 202–204.

маскараде сходятся и танцуют не просто двое незнакомцев — это два человека, демонстрирующих знак тайны и уже связанных молчаливым обещанием хранить секрет. Маска очевидным образом избавляет их от гнета общественных ограничений. Показательно, что в мире, где половые отношения являются предметом многочисленных запретов, полумаска-«волк», названная по имени хищного, живущего по инстинкту зверя, традиционно выступает как средство и почти открыто заявляемое намерение не считаться с ними.

Все приключение разворачивается как некая игра — согласно каким-то заранее установленным конвенциям, в особой атмосфере и во временных рамках, которые отделяют ее от обычной жизни и в принципе позволяют оставаться без последствий для нее.

Карнавал по своему происхождению представляет собой взрыв вольности, который еще больше бала-маскарада требует переодевания и зиждется на производимой им свободе. Огромные, нелепые, грубо раскрашенные картонные маски — это то же самое в народном быту, что бальные полумаски в быту светском. Здесь речь идет не о галантных приключениях, не об интригах, завязывающихся и развязывающихся по тщательно разработанным правилам словесного поединка, где партнеры поочередно атакуют или уклоняются от атаки. Здесь царят грубые шутки, толкотня, вызывающий хохот, расхристанность, шутовские выходки, постоянные призывы к шуму и гаму, к обжорству, к неумеренности в речах, крике, движении. Маски ненадолго берут реванш над благопристойной сдержанностью, которую приходится соблюдать остальное время года. Они подступают к прохожим, притворно пугая их. Те, вступая в игру, притворно пугаются или же, наоборот, притворяются неустрашимыми. Если они начинают сердиться, это дисквалифицирует их — они отказываются играть, не понимая, что сейчас социальные конвенции заменены другими, направленными именно на посрамление старых. В рамках определенного времени и пространства карнавал дает выход неумеренности, буйству, цинизму и инстинктивной жадности. Но одновременно он направляет их на путь бесцельной, пустой и ликующей суеты, он предлагает им вести *шутовскую* игру, по точному выражению Ж. Бюро, хотя тот и не имел в виду *игры*. Он не ошибается. Эта предельно упадочная форма сакральной *mimicry* есть не что иное, как игра. Собственно, в ней содержится большинство признаков игры. Просто она находится ближе к *paidia*, чем к *ludus*'у, сближается с анархической импровизацией, хаосом и жестикуляцией, с чистой тратой энергии.

Да и этого, как видно, уже слишком много. Даже на такое возбуждение скоро налагают порядок и меру, и все заканчивается праздничными процессиями, забрасыванием друг друга цветами, конкурсами ряженных. С другой стороны, власти прекрасно видят, что маска — это непосредственный источник разнузданности, и

они просто запрещают носить ее в тех случаях, когда общее неистовство, как в Рио-де-Жанейро, грозит на двенадцать дней подряд принять масштабы, вообще не совместимые с нормальной деятельностью государственных структур.

На место маски из обществ, практиковавших головокружение, в цивилизованном обществе приходит униформа. Она представляет собой почти точную противоположность маски. Во всяком случае, она знак власти, основанной на диаметрально противоположных принципах. Задачей маски было скрывать и устрашать. Ею знаменовалось вторжение какой-то опасной и своевольной, периодически действующей неимоверной силы, которая возникает, чтобы вызывать почтительный страх у массы профанов и карать их за неосторожные и греховные поступки. Униформа — это тоже маскарадный костюм, но только официальный, постоянный, уставной, а главное, оставляющий открытым лицо. Она делает индивида представителем беспристрастно-незыблемого правила, а не добычей заразительно-бредового неистовства. Укрывшись за маской, искаженное лицо одержимого может безнаказанно корчиться и гримасничать, тогда как чиновник в униформе должен следить, чтобы на его открытом лице можно было прочесть лишь то, что он — разумный и хладнокровный человек, облеченный властью только применять закон. Пожалуй, ничто так четко, во всяком случае так впечатляюще не обозначает противоположность двух типов общества, как этот красноречивый контраст между двумя отличительными видами внешности — одна из них скрывает, другая провозглашает, — принимаемыми теми, кому положено поддерживать два резко противоположных друг другу вида порядка.

ЯРМАРОЧНОЕ ПРАЗДНЕСТВО

Если не считать применения — притом в скромных масштабах — трещоток и бубнов, если не считать хороводов и фарандол, карнавал содержит в себе до странности мало инструментов и поводов для головокружения. Он как бы обезоружен, вынужден ограничиваться лишь своими собственными возможностями — правда, значительными, возникающими благодаря ношению масок. Собственная область головокружения — в другом месте, как будто кто-то мудро и небескорыстно разделил силы *ilinx*'а и *mimicry*. Ярмарочные площади и парки аттракционов, где, наоборот, не принято носить маски, являются зато избранными местами, где собраны вместе семена, ловушки и зовы головокружения.

Подобные места обладают основными признаками игровых площадок. Они отделены от окружающего пространства воротами, гирляндами, светящимися рампами и вывесками, шестами, флагами,

всевозможными декорациями, которые видны издали и обозначают собой границу особого, освященного мира. В самом деле, перейдя границу, попадаешь в необыкновенный мир, более плотный, чем мир обычной жизни: здесь собирается возбужденно-шумная толпа, роскошно сверкают краски и огни, царит непрерывная, изнурительно-пьянящая суета, где каждый запросто окликает других или пытается привлечь к себе внимание; вся эта суматоха располагает к непринужденности, панибратству, говорливости, добродушной наглости. Все это придает своеобразный климат общему оживлению. Кроме того, циклический характер ярмарочных празднеств прибавляет к разрыву в пространстве еще и членение времени, когда миг пароксизма противопоставляется монотонному ходу повседневной жизни.

Как мы видели, ярмарка и парк аттракционов образуют специфическую территорию машин, кружащих голову — вращающих, раскачивающих, подвешивающих в воздухе, резко бросающих вниз, сконструированных для того, чтобы вызывать в человеке утробное чувство паники. Но здесь сходятся воедино, соединяют свои соблазны все категории игр. Стрельба из карабина или из лука представляет собой состязательные игры на ловкость в самой классической их форме. В павильонах для борьбы каждому предлагается померяться силой с увешанными медалями, пузатыми и выпячивающими грудь чемпионами. В другом павильоне игроки запускают по покатою, но коварно поднимающейся в конце дорожке тележку, которую нагружают все большим числом все более тяжелых гирек.

Всюду происходят лотереи: их барабаны вращаются и замирают, обозначая волю судьбы. Благодаря им напряжение агон'а чередуется с томительным ожиданием удачи. Между тем факиры, гадалки и астрологи объясняют посетителям небывалые методы, гарантии и облик будущего. Они применяют небывалые методы, гарантируемые новейшими достижениями науки, — «ядерную радиэстезию», «экзистенциальный психоанализ». Так удовлетворяется вкус к alea и к ее греховной душе — суеверию.

Нет недостатка и в mimis: шуты, паяцы, клоуны и танцовщицы выступают у дверей павильонов и пляшут на эстраде, зазывая публику. Они иллюстрируют собой притягательность симуляции, очарование маскарадного костюма, но они обладают исключительным правом его носить — на сей раз публика невольна сама участвовать в маскараде.

И все-таки тон здесь задает головокружение. Прежде всего, надо принять во внимание размах, важность и сложность устройств, которые каждые три или шесть минут порциями раздают посетителям опьянение. В одном месте по арочным, почти кольцевым рельсам катятся вагонетки, которые то падают почти отвесно, то вы-

прямяются, и пассажиры, пристегнутые к их сиденьям, сами словно падают вместе с ними. В другом — человека запирают в тесной клетке и раскачивают в ней, поднимая головой вниз высоко над публикой. В третьем — его в челноке катапультируют вдоль дорожки мощными пружинами, потом он медленно возвращается назад, и механизм выталкивает его снова. Все рассчитано так, чтобы вызывать утробные ощущения, физиологический страх и панику: тут и скорость, и падение, и сотрясения, и стремительное вращение в сочетании с чередующимися подъемами и спусками. В одном новейшем изобретении используется центробежная сила. Пол огромного цилиндра уходит из-под ног, опускаясь на несколько метров, и ни на что уже не опирающиеся тела людей центробежной силой прижимает к стенкам в самых странных позах, в одинаковом ошеломлении. Как говорится в рекламе этого аттракциона, они «прилипают как мухи».

К этому физиологическому штурму прибавляется множество других, вспомогательных воздействий, способных сбивать человека с толку, вызывать в нем растерянность, смущение, тревогу, тошноту, какой-то мгновенный ужас, который быстро разрешается смехом, подобно тому как при выходе из адских механизмов физическое расстройство внезапно сменяется невыразимым облегчением. Такую роль играют зеркальные лабиринты; представление чудовищ и гибридов — гигантов и карликов, сирен, мальчиков-обезьян, женщин-спрутов, людей с пятнистой, как у леопардов, кожей. Для пущего ужаса посетителю предлагают до них дотронуться. Напротив предлагаются столь же двусмысленные соблазны — поезда-призраки, замки с привидениями, с множеством темных коридоров, а в них призраки, скелеты, липнувшая к лицу паутина, пролетающие над головой летучие мыши, люки в полу, чьи-то резкие дуновения, нечеловеческие вопли и множество других не менее ребяческих средств, — наивный арсенал забавных ужасов, способных лишь щекотать уже натянутые нервы, ненадолго вызывать мурашки на коже.

Тому же результату способствуют игры с зеркалами, их небывалые явления и призраки — они создают фиктивный мир, задуманный по контрасту с обычной жизнью, где царит фиксированная номенклатура видов и нет никаких демонов. Сбивающиеся с толку отражения, в которых множится и рассеивается образ нашего тела, странная фауна, включающая в себя составных существ из мифов, чудовищные порождения кошмаров, создания какой-то ужасной хирургии и мягкий ужас эмбрионального кишения, толпы духов и вампиров, автоматов и марсиан (ничто странное и беспоящее не оказывается здесь без дела) — все это дополняет особого рода смущением то чисто физическое потрясение, которым машины головокружения на миг нарушают устойчивость нашего восприятия.

Стоит ли напоминать? Все это остается игрой, то есть чем-то свободным, обособленным, ограниченным и условным: и само головокружение, и упоение, ужас, тайна. Переживаемые ощущения порой страшно резки, но как длительность, так и интенсивность головокружения рассчитаны заранее. Что касается остального, то каждый понимает: фантазмагория здесь ненастоящая и призвана скорее потешить, чем действительно ввести в заблуждение. Все мельчайшие детали упорядочены согласно чрезвычайно консервативной традиции. Даже сласти, которые продаются на лотках, самой своей природой и оформлением говорят о какой-то неизбежности: это нуга, яблочная карамель или пряники в глянцево-пакетиках с картинками и длинной блестящей бахромой, поросята-коврижки, на которых тут же пишут имя покупателя.

Удовольствие возникает от возбуждения и иллюзии, от добровольного расстройств чувств, от прерываемых в последний миг падений, от амортизируемых толчков, от безвредных столкновений. Идеальным образом такого ярмарочного увеселения является автородео, где симуляция управления (надо видеть серьезное, почти торжественное лицо некоторых водителей) сочетается с элементарным удовольствием от *raidia*, детской возни — радость преследовать другие машины, наезжать на них, преграждать им дорогу, все время устраивать ненастоящие аварии, где не бывает ни материального ущерба, ни пострадавших, — иными словами, делать, пока не надоест, точно то самое, что в реальности строже всего запрещается правилами.

Кроме того, для людей постарше на этом ненастоящем автородео, да и вообще на ярмарке, на любом аттракционе, вызывающем панику, в любом павильоне ужасов, где тела людей сближаются под действием вращения или же от трепета и страха, — над всем этим диффузно и вкрадчиво витает иное беспокойство, иная услада, связанная с поисками сексуального партнера. Здесь мы выходим за рамки игры как таковой. Во всяком случае, ярмарка в этом сближается с балом-маскарадом и карнавалом, создавая столь же подходящую атмосферу для желанного приключения. Разница между ними только одна, но важнейшая — маску здесь заменяет головокружение.

ЦИРК

С ярмарочным празднеством естественно сближается цирк. Это особое, отдельное общество, где есть свои обычаи, своя гордость и свои законы. Оно объединяет народец, ревниво хранящий свою необычность и гордый своей обособленностью. Здесь женятся только свои на своих. Секреты каждой профессии передаются от отца к сыну. Конфликты стараются разрешать, не прибегая к обычному правосудию.

Дрессировщиков, жонглеров, клоунов и акробатов с детства воспитывают в строгой дисциплине. Каждый стремится усовершен-

ствовать номер, точное исполнение которого должно приносить ему успех, а порой и обеспечивать его безопасность.

Этот замкнутый и строго упорядоченный мирок — как бы суровая сторона ярмарки. В нем непременно присутствует самое страшное наказание — смерть, с которой имеет дело как дрессировщик, так и акробат. Это входит в состав молчаливого соглашения между исполнителями и зрителями. Это входит в правила данной игры, предполагающей тотальный риск. Очень показательны, сколь единодушно циркачи отказываются использовать сетки и фалы, предохраняющие от смертельного падения. Государственная власть вынуждена против воли принуждать их к тому, что предохраняет их жизнь, но зато делает не совсем честной игру.

Для циркача шапито — это даже не профессия, а образ жизни, причем это трудно сопоставить с тем, чем спорт, казино или сцена является для профессионального атлета, игрока или актера. Здесь есть еще какой-то наследственный рок и гораздо более резкий разрыв с миром непосвященных. В этом смысле жизнь цирка никак не может считаться игрой. Я даже вообще не стал бы о ней здесь говорить, если бы два основных вида цирковой деятельности не были очень тесно и показательны связаны с *ilinx*'ом и *mimicry*: я имею в виду воздушную акробатику и постоянные мотивы некоторых клоунад.

АКРОБАТИКА

Спорт образует ремесло, соответствующее *agôn*'у; привычка хитрить со случайностью образует ремесло — или, вернее, отказ от ремесла, — соответствующий *alea*; театр образует ремесло, соответствующее *mimicry*. Акробатика представляет собой ремесло, соответствующее *ilinx*'у. Действительно, головокружение проявляется в ней не только как препятствие, трудность или опасность; в этом отношении игра на трапециях далека от альпинизма, от вынужденного пользования парашютом и от тех профессий, где рабочий вынужден работать в подвешенной люльке. Здесь головокружение составляет самую суть упражнений, единственной целью которых является совладать с ним. Такая игра заключается именно в том, чтобы летать в пустом пространстве, как будто эта пустота не затягивает и не представляет никакой опасности.

Чтобы притязать на эту высшую ловкость, приходится вести аскетическую жизнь — здесь и строгий режим лишений и воздержания, и непрерывные гимнастические упражнения, и регулярное повторение одних и тех же движений, и выработка безукоризненных рефлексов и безошибочного автоматизма. Прыжки производятся в состоянии полугипноза. Их необходимым условием являются гибкость и сила мышц, невозмутимое самообладание. Конечно, акробат должен рассчитывать силу прыжка, время и расстояние, траек-

торию трапедии. Но он все время боится задуматься об этом в решающий миг. Такая внимательность почти неизбежно ведет к роковым последствиям. Она не помогает, а парализует, когда малейшее колебание грозит гибелью. Сознательность смертоносна. Она нарушает сомнамбулическую четкость механизма, который в своей предельной точности не терпит ни сомнений, ни колебаний. Канатоходец успешно выполняет свои упражнения лишь тогда, когда он загнипнотизирован своим канатом, акробат — когда он вполне уверен в себе и готов не противиться, а вверяться головокружению¹. Головокружение — составная часть природы; как и ею, им можно повелевать, лишь подчиняясь ему. Во всяком случае, подобные игры смыкаются с подвигами мексиканских *voladores*, утверждая и иллюстрируя собой естественную продуктивность контролируемого *йипх'а*. Эти две маргинальные дисциплины, осуществляемые впустую и без всякой выгоды, бескорыстные, смертоносные и бесполезные, все же заслуженно должны быть признаны великолепным свидетельством человеческого упорства, честолюбия и храбрости.

ПАРОДИЙНЫЕ БОГИ

Проделок клоунов так много, что и не перечесать. Они зависят от прихоти и наития того или иного клоуна. Однако среди них есть одна особенно устойчивая категория, которая, как кажется, свидетельствует и об одной очень древней и жизненно важной заботе людей — склонности дублировать всякую торжественную мимику ее гротескной версией, исполняемой смешным персонажем. В цирке такую роль играет Август. Его залатанная, нескладная, слишком просторная или слишком тесная одежда, его всклокоченный рыжий парик контрастируют с сияющими блестками других клоунов и с белыми колпаками у них на голове. Этот бедняга неисправим: одновременно претенциозный и неуклюжий, он силится имитировать своих партнеров и вызывает одни лишь катастрофы, жертвой которых сам же и становится. Он непременно делает все не так. Его осмеивают, осыпают колотушками и обливают водой.

Между тем такой клоун — то ли это случайное сходство, то ли дальнейшее родство — часто встречается в мифологии. В ней он изображает незадачливого, то проказливого, то глупого героя, который при сотворении мира неудачно подражает действиям демиургов, искажая их творение, а порой и внося в него зародыш смерти.

Индейцы навахо в штате Нью-Мексико отмечают праздник бога Ебичая, добываясь излечения больных и благословения племенных духов. Главными его участниками являются танцоры

в масках, числом четырнадцать — шесть мужских духов, шесть женских, сам Говорящий Бог Ебичай и наконец Водяной Бог Тоненили. Последний является в этой труппе рыжим Августом. Он носит такую же маску, что и мужские духи, но одет он в лохмотья, а к поясу привязана и волочится за ним старая лисья шкура. Он нарочно пляшет невпопад, путая других и делая всякие глупости. Он делает вид, что его лисья шкура ожила и что он стреляет в нее из лука. А главное, он передразнивает благородные позы бога Ебичая, выставляет его в смешном виде. Выпячивая грудь, он изображает значительную особу. Но он и есть значительная особа. Он одно из главных божеств у навахо. Однако это пародийный бог [*le Dieu qui parodie*].

У живущих в том же регионе индейцев суньи среди сверхъестественных существ, которых они зовут Качинас, есть десять особых. Это так называемые Коемши — сын жреца, совершивший в первоначальные времена кровосмешение со своей сестрой, и девять детей от этого запретного союза. Они отвратительно безобразны, и их безобразие не только отталкивающее, но и комично. Кроме того, они «как дети» — отсталые, бессвязно бормочущие, лишённые половой силы. Они могут демонстрировать всякие непристойности — неважно, говорят люди, они же как дети. У каждого из них своя особая личность, из которой вытекает особый комический характер, всегда один и тот же: скажем, Пилешиванни — трус, он все время притворяется испуганным. Калуди, как считается, все время хочет пить. Муйяпона, якобы уверенный в своей невидимости, укрывается за всякими мелкими предметами. У него овальный рот, две шишки вместо ушей, еще одна шишка на лбу и двое рогов. Посуки непрерывно смеется; у него вертикально вытянутый рот и несколько шишек на лице. Напротив того, Набаши печален, рот и глаза у него выпячены, а на голове огромная бородавка. То есть вся эта группа представляет собой труппу четко опознаваемых клоунов.

Поскольку они волшебники и пророки, то те, кто воплощает их, скрываясь под страшными шишковатыми масками, должны соблюдать многочисленные посты и добровольные муки. Поэтому считается, что те, кто соглашается быть Коемши, посвящают себя общественному благу. Пока они носят маски, их боятся. Кто откажет им в даре или услуге, рискует навлечь на себя большую беду. В конце самого главного праздника Шалако все селение преподносит им великие дары — еду, одежду и банкноты, которые они затем торжественно демонстрируют. Во время церемоний они насмехаются над другими богами, устраивают состязания в загадках, отвечивают грубые шутки, выделывают множество шутовских выходок и издеваются над публикой: одного обвиняют в скупости, про другого рассказывают истории о его супружеских неудачах, над третьим сме-

⁶⁹ HIRN Y. Op. cit. P. 213–216; Le Roux H. Les jeux du Cirque et la vie foraine. Paris, 1890. P. 170–173.

ются, потому что он пытается жить как белый. Все это строго церемониальное поведение.

Примечательно и значительно то обстоятельство, что у суньи и навахо те, кто носит маски и изображает богов — как пародийных, так и остальных, — не подвержены приступам одержимости и вовсе не скрывают свою личность. Все знают, что перед ними их переодетые родичи и друзья. Хотя в их лице и почитают и боятся представляемых ими духов, все же их ни в какой момент не принимают, да и сами они не принимают себя, за богов. Это подтверждается и богословием. Рассказывают, что в старину Качинас лично приходили к людям и приносили им процветание, но также и увлекали некоторое количество их в Страну Смерти — кого по доброй воле, восхищенными, а кого и силой, по принуждению. Видя такие пагубные последствия своих визитов и желая приносить одно лишь добро, Боги в Масках решили не приходить больше физически к живым, а появляться среди них лишь в духовном плане. Они наказали суньи изготовить маски, похожие на их маски, и обещали, что будут вселяться в эти свои рукотворные подобия. Таким образом был разбит могущественный, как мы видели в других обществах, заговор секрета, тайнства и страха, экстаза и миметизма, оцепенения и томления. Происходит маскарад, но без одержимости, и магический ритуал эволюционирует, сближаясь с церемонией и спектаклем. *Mimicry* решительно одерживает верх над *ilinx*'ом, вместо того чтобы играть подчиненную роль введения к нему.

Еще одна конкретная деталь дополняет сходство между Августом или цирковыми клоунами и пародийными богами. В тот или иной момент их обливают водой, и публика хохочет, видя, как вода стекает с них и как они перепуганы этим неожиданным потоком. У суньи в период летнего солнцестояния женщины с террас поливают водой Коемши, после того как те пройдут по всем домам в селении, а навахо, объясняя, почему Тоненили одет в лохмотья, говорят, что этой одежды довольно тому, кто будет облит¹.

Имеется здесь или нет прямая родственная связь, но мифология и цирк здесь сходятся, высвечивая один особый аспект *mimicry*, чья социальная функция не вызывает сомнений, — а именно сатиру. Конечно, она разделяет этот аспект с карикатурой, эпиграммой и песенкой, с шутами, сопровождающими своими выходками триумфаторов и монархов. Вероятно, во всем этом комплексе различных и широко распространенных, но одушевленных одной и той же целью институтов следует усматривать выражение одной и той

же потребности в равновесии. Избыточное величие требует гротескной копии. Ибо народное почтение и благоговение, поклонение перед великими мира сего, почести, воздаваемые высшей властью, рискуют опасно вскружить голову тому, кто исполняет эту должность или же носит маску Бога.

Верующие не соглашаются быть совершенно замороженными и не считают безопасным то неистовство, которое может охватить идола, ослепленного собственным величием. В этой своей новой роли *mimicry* служит не трамплином к головокружению, а мерой предосторожности против него. Если так трудно совершить решительный скачок, если тесные врата, дающие доступ к цивилизации и истории (прогрессу, будущему), совпадают с заменой чар *mimicry* и *ilinx*'а как основ коллективной жизни нормами *alea* и *agôn*'а, то, безусловно, следует выяснить, благодаря какому же таинственному и в высшей степени маловероятному счастливому случаю некоторым обществам удалось разорвать inferнальный круг, в который замыкал их союз симуляции с головокружением.

Очевидно, спастись от опасной околдованности человек может разными путями. Как мы видели, в Лакедемонии колдун стал законодателем и педагогом, шайка человековолоков в масках эволюционировала в политическую полицию, а неистовство в один прекрасный день сделалось социальным институтом. Здесь же проглядывает иной выход, более плодотворный и благоприятный для развития изящества, свободы и выдумки, во всяком случае направленный на уравновешенность, отрешенность и иронию, а не на стремление к неумолимому господству, которое, чего доброго, и само однажды станет головокружительным. Не исключено, что в итоге эволюции мы внезапно обнаружим, что в некоторых — причем, вероятно, привилегированных — случаях первой третиной, которой было суждено вместе со многими другими разрушить всемогущее единство симуляции и головокружения, было не что иное как это странное, почти незаметное, внешне абсурдное, по видимости кощунственное нововведение: включение в группу божественных масок таких персонажей, которые, будучи равны с ними по рангу и авторитету, призваны пародировать их чарующий миметизм и смягчать смехом то, что без этого противоядия роковым образом вело бы к трансу и гипнозу.

¹ В описании обрядов навахо и суньи я следовал книге: CAZENAVE J. Les Dieux dansent à Cibola. Paris, 1957. P. 73–75, 119, 168–173, 196–200.

ДОПОЛНЕНИЯ

I. Как важны бывают азартные игры

ДАЖЕ в цивилизации промышленного типа, основанной на ценности труда, страсть к азартным играм остается чрезвычайно сильной, потому что они предлагают прямо противоположный способ зарабатывать деньги или, по выражению Т. Рибо, «завораживающую возможность приобрести их сразу, без труда, в один миг». Отсюда постоянная соблазнительность лотерей, казино, тотализаторов на скачках или на футбольных матчах. Вместо теплых усилий, которые приносят мало, зато надежно, эта завораживающая возможность дает мираж мгновенного обогащения, внезапную перспективу досуга, богатства и роскоши. Для множества людей, которые тяжело трудятся, не намного увеличивая этим свое весьма посредственное благополучие, возможность сорвать банк предстает как единственный шанс когда-либо вырваться из униженного или даже нищенского состояния. Игра посрамляет труд и представляет собой другое, конкурирующее решение, которое по крайней мере в некоторых случаях приобретает столь большую значимость, что отчасти определяет собой стиль жизни целого общества.

Хотя эти соображения порой заставляют признавать за азартными играми некоторую социально-экономическую функцию, этим еще не доказывается их культурная продуктивность. Над ними тяготеет подозрение в том, что они развивают лень, фатализм и суеверие. Соглашались с тем, что некогда изучение их законов способствовало зарождению теории вероятностей, топологии, теории стратегических игр. Но все же никому не приходит в голову, чтобы они могли образовать модель мировосприятия или организовать, хотя бы вслепую, какое-либо рудиментарное энциклопедическое знание. А между тем фатализм и безусловный детерминизм, отрицающие свободу и ответственность выбора, представляют себе весь мир в целом как грандиозную лотерею —

всеобщую, обязательную и непрестанную, — где каждый неизбежный выигрыш дает лишь возможность, вернее, необходимость участвовать в следующем тираже, и так далее до бесконечности¹. Кроме того, у относительно праздных народов, по крайней мере таких, у которых труд поглощает далеко не всю наличную энергию и не подчиняет себе всю повседневную жизнь в целом, нередко оказывается, что азартные игры приобретают неожиданную культурную значимость, оказывая влияние равно на искусство, этику, экономику и даже знание.

Мне представляется возможным, что подобное явление характерно для промежуточных общественных состояний, когда в обществе уже более не правят совместно силы маски и одержимости или, если угодно, пантомимы и экстаза, но которые еще не дошли до институциональной коллективной жизни, где главную роль играют регулярная конкуренция и организованное соревнование. Бывает, в частности, что тот или иной народ оказывается резко вырван из-под власти симуляции и транса в результате контакта или господства другого народа, который освободился от этого адского порабощения благодаря долгой и трудной эволюции. Те народы, которым этот последний навязывает новые для них законы, совершенно не готовы их принять. Скачок оказывается слишком резким. В таком случае на стиль жизни меняющегося общества налагает свою печать не *agôn*, но *alea*. Людям, чьи базовые ценности оказались неуместными, нравится полагаться на волю судьбы. Более того, через посредство суеверия и магических практик, обеспечивающих удачу и милости Высших сил, эта бесспорная и простая норма связывает их с традициями и частично восстанавливает для них тот мир, где они первоначально жили.

Итак, в подобных ситуациях азартные игры получают неожиданно важную роль. В тенденции они заменяют труд, если только это позволяет климат, если забота о пропитании, одежде и крове не вынуждает, как в других местах, самых немощных к постоянной деятельности. У зыбкой толпы нет слишком уж прихотливых потребностей. Она живет одним днем. Ее опекает государственная администрация, в которой она не принимает участия. Вместо того чтобы дисциплинированно заниматься монотонным и отгаливающим трудом, она предается игре. В итоге игра становится организующим началом верований и знаний, привычек и устремлений этих беспечно-увлеченных людей, которым вольше не приходится управлять собой и в то же время крайне трудно встроиться в общество нового типа; оно предоставляет им прозябать где-то на обочине, словно вечным детям.

¹ Это с очевидностью явствует из притчи Хорхе Луиса Борхеса «Вавилонская лотерея» (в книге: BORGES J. L. Fictions. Paris, 1951. P. 82–93).

Я бегло опишу несколько примеров такого необычайного расцвета азартных игр, когда они становятся привычкой, правилом и второй природой. Они формируют собой стиль жизни всего народа, ибо никто, судя по всему, не противится их заразительности. Начну со случая, где нет смешения народов и рассматриваемая культура остается по-прежнему проникнута старинными ценностями. Существует род игры в кости, весьма распространенный на юге Камеруна и на севере Габона. В нее играют костями, вырезанными ножом из очень твердых, почти как кость, семян дерева *Baillonella toxisperma pierre* (то же *Mimusops djave*), которое дает растительное масло, ценимое выше пальмового. У этих костяшек всего две грани. На одной из них вырезан символ, и нужно, чтобы его сила превосходила силу эмблем, которыми располагает соперник.

Эти символы многочисленны и многообразны. Они составляют своего рода энциклопедию в картинках. Одни из них изображают персонажей, либо замерших в иератической позе, либо переживающих какой-то драматический момент, либо занятых разнообразными делами повседневного быта: мальчик учит говорить попугая, женщина ловит курицу на обед, на мужчину напал питон, другой мужчина заряжает ружье, три женщины мотыжат землю и т. д. На других костяшках — идеограммы с изображением различных растений, женских гениталий, ночного неба с луной и звездами. В изобилии изображаются и животные — млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, рыбы и насекомые. Последняя категория рельефов указывает на предметы, которыми желает завладеть игрок: топоры, ружья, зеркала, барабаны, часы или танцевальные маски.

Эти кости с эмблемами служат также амулетами, помогающими своему владельцу в реализации малейших желаний. Обычно владелец не держит их дома, а прячет в лесу, подвесив в мешочке к ветвям дерева. В некоторых случаях они служат для передачи сообщений на условном языке.

Что касается самой игры, то она крайне проста. Ее принцип тот же, что в орлянке. Каждый игрок вносит одинаковую ставку; решение судьбы узнают с помощью семи кусочков бутылочной тыквы, которые бросают вместе с костями. Если меньшая часть этих кусочков выпадает изнанкой, тогда выигрыш получают те игроки, чьи кости также выпали решкой, — и наоборот. Эта игра пользовалась такой популярностью, что власти были вынуждены ее запретить. Из-за нее возникали самые серьезные беспорядки: мужья ставили на кон своих жен, вожди — свою власть, нередко происходили драки,

а в результате некоторых слишком напряженных партий даже вспыхивали межклановые войны¹.

Перед нами простейшая игра, без комбинаций и переноса. Однако легко убедиться в том, как важны ее воздействия на культуру и общественную жизнь народа, у которого она популярна. При всех возможных оговорках, по символично-энциклопедическому богатству эмблем африканские кости сравнимы с романскими капителями. Во всяком случае, они исполняют сходную функцию. Кроме того, из необходимости по-разному оформлять одну из граней каждой кости родилось целое искусство рельефа, которое можно считать главным видом пластического творчества местных племен. Небезразлично и то, что костям приписывают магические свойства, тесно связанные с верованиями и заботами их владельцев. Особенно же следует подчеркнуть, насколько разорительны последствия страсти к этой игре, которые порой превращаются в настоящие бедствия.

Подобные явления отнюдь не носят эпизодического характера; их можно встретить и в случае заметно более сложных азартных игр, которые в смешанных обществах обладают сходной притягательностью и влекут за собой столь же опасные последствия.

Впечатляющим примером может служить популярность игры в «китайскую шарату» (*Rifa Chiffa*) на Кубе. Эта лотерея — по выражению Лидии Кабрера, «неизлечимый рак народного хозяйства», — разыгрывается с помощью картинки, изображающей китайца и разбитой на тридцать шесть секторов; им соответствует столько же символов — людей, животных или различных аллегорий: лошадь, бабочка, моряк, монахиня, черепаха, улитка, покойник, пароход, драгоценный камень (который может истолковываться как красивая женщина), креветка (которая означает также мужской половой орган), коза (которая означает также какое-либо грязное дело и женский половой орган), обезьяна, паук, курительная трубка и т. д.² У банкомета имеется набор соответствующих фишек из картона или дерева. Он вытягивает наугад, сам или с чьей-то помощью, одну из них, завертывает ее в тряпочку и выкладывает на виду у игроков.

¹ DELAROZIERE S., LUC G. Une forme peu connue de l'Expression artistique africaine: l'Abbia // Etudes camerounaises. № 49–50. Sept.—déc. 1955. P. 3–52. Сходным образом в Судане, в краю С'онраи, костями и одновременно деньгами служат мелкие ракушки *saugis*; каждый игрок бросает четыре таких ракушки и, если они падают одной стороной, получает 2500. Играют на большие суммы денег, на землю, на жен. См.: PROST A. Jeux et Jouets // Le Monde noir. № 8–9 de Présence africaine. P. 245.

² Те же символы встречаются в карточной колоде, применяемой в Мексике при играх на деньги, принцип которых сближается с принципом лото.

Эта операция называется «повесить зверя». Дальше он начинает продавать билеты, на каждом из которых начертан китайский иероглиф, обозначающий ту или иную фигурку. Тем временем его подручные ходят по улицам и записывают пари. В условленный час завернутую эмблему раскрывают и выдают выигравшим тридцатикратную сумму их ставки. Десять процентов прибыли банкомет выделяет своим помощникам.

Таким образом, эта игра выглядит как разновидность рулетки в картинках. Но если в рулетке возможны любые комбинации номеров, то в Rifa Chiffa символы сочетаются по таинственным законам сродства. В самом деле, каждый из них имеет или же не имеет одного или нескольких «товарищей» и «слуг». Скажем, у лошади «товарищем» является драгоценный камень, а «слугой» павлин; у большой рыбы — «товарищем» слон, а «слугой» паук. У бабочки нет «товарища», но есть «слуга» — черепаха. Зато у креветки есть «товарищ» — олень, но нет «слуги». У оленя целых три «товарища» — креветка, козел и паук, — но нет «слуги», и т.д. Естественно, рекомендуется делать ставки одновременно на выбранный символ, на его «товарища» и «слугу».

Кроме того, тридцать шесть лотерейных эмблем сгруппированы в семь неравных серий (quadrillas): «торговцы», «щеголи», «пьяницы», «священники», «нищие», «наездники» и «женщины». Принципы, по которым осуществлено это разделение, опять-таки в высшей степени неясны: например, серия «священников» состоит из большой рыбы, черепахи, курительной трубки, утря, петуха, монахини и кошки; серия «пьяниц» — из покойника, улитки, павлина и маленькой рыбы. Эта странная классификация управляет всем миром игры. В начале каждой партии, «повесив зверя», банкомет произносит загадку (charada), служащую для участников игры подсказкой (или обманкой). Это намеренно двусмысленная фраза такого, например, типа: «Верховой едет очень медленно. Он не глуп, но пьян и вместе с товарищем получает много денег»¹. Игрок делает вывод, что ставить надо на серию «пьяниц» или же «наездников». Он может также сделать ставку на животное, которое управляет той или иной серией. Но, скорее всего, разгадкой является какое-то другое, не столь ясно выраженное слово.

В другой раз банкомет объявляет: «Хочу сделать вам одолжение. Слон убивает свинью. Тигр предлагает ее на продажу. Жаба несет ее на рынок, а Олень забирает сверток». Старый игрок объясняет, что достаточно поразмыслить: «Жаба — это колдун. Олень — помощник колдуна. Он носит заколдованный сверток. В нем хранится заклятие, наложенное на кого-то врагом. В нашем случае это Тигр против Слона. Олень уходит со свертком. Он положит его там,

где сказал колдун. Разве не ясно? Вот здорово! Выигрышный номер 31, Олень, потому что Олень убегает».

Игра имеет китайское происхождение¹. В Китае шараду заменял загадочный намек на традиционные тексты. После тиража какой-нибудь ученый должен был обосновать правильное решение, приводя в подтверждение цитаты. На Кубе же для правильной разгадки шарад необходимо знать все негритянские верования. Скажем, банкомет объявляет: «Птица клюет и улетает». Нет ничего яснее: мертвец умеет летать; душа умершего сравнивается с птицей, потому что может пробраться куда угодно в облике совы; бывают неприкаянные души, голодные и обиженные. «Клюет и улетает» — это значит вызывает неожиданную смерть человека, который не подозревал об опасности. Значит, следует выбирать номер 8, покойника.

«Собака, которая все кусает» — это язык нападок и клеветы; «свет, который все озаряет», — это 11, петух, поющий на восходе солнца; «король, который все может», — это 2, бабочка, она же деньги; «клоун, который красится в укромном месте», — это 8, покойник, которого накрывают белой простыней. В последнем случае объяснение годится только для профанов. На самом деле речь идет о посвященном (sampe или sacigo muerto); действительно, во время тайной церемонии жрец рисует ему белым мелом ритуальные знаки на лице, ладонях, груди, руках и ногах².

Угадать верный номер помогает также сложный сонник. В нем очень много сочетаний. Мотивы, взятые из жизненного опыта, распределены по судьбоносным числам. Эти числа доходят до 100, благодаря книге, которая хранится в банке Шарады и из которой можно получать справки по телефону. Этот набор ортодоксальных соответствий дает начало особому символическому языку, который, как полагают, «очень полезно знать для проникновения в тайны жизни». В любом случае цифры часто заменяются картинкой. Алехо Карпентьер видел, как в доме дяди его жены мальчик-негр производит сложение: $2+9+4+8+3+5=31$. Мальчик не произносил числа, а говорил: «Бабочка плюс слон плюс кошка плюс покойник плюс моряк плюс монахиня равно оленю». Точно так же, имея в виду, что 12 разделить на 2 равно 6, он говорил: «Шлюха поделить на бабочку равно черепахе». Знаки и соответствия игры проектируются на весь комплекс знаний.

Китайская шарада имеет широкое распространение, хотя и запрещена статьей 355 Уголовного кодекса Кубы. Начиная с 1879 года множество людей выступали против наносимого ею вреда. Ею особенно увлекаются рабочие, рискуя теми немногими

¹ Как известно, Гавана, наряду с Сан-Франциско, является одним из самых значительных скоплений китайского населения за пределами самого Китая.

² Из сообщения Лидии Кабрера.

¹ ROCHE R. La Policia y sus Misterios en Cuba. La Habana, 1914. P. 287–293.

деньгами, что у них есть, и проигрывая, как пишет один автор, средства на пропитание своей семьи. Они поневоле не делают больших ставок, зато играют беспрерывно, ибо «зверя вешают» по четыре-шесть раз за день. В такой игре относительно легко сплутовать: поскольку банкometу известен список закладов, при некоторой ловкости рук ему ничто не мешает в момент раскрытия подменить символ, на котором скопилось опасно много ставок, другим, на который не ставил почти никто¹.

В любом случае считают, что банкometы, честные или нет, быстро обогащаются. В прошлом столетии они, как говорят, зарабатывали до сорока тысяч песо в день; один из них вернулся к себе на родину с капиталом в двести тысяч золотых песо. Ныне, как полагают, в Гаване имеется пять крупных организаций Шарады и более двенадцати мелких. В них разыгрывается более ста тысяч долларов *в день*².

На соседнем острове Пуэрто-Рико в 1957 году Planning Board³ оценила суммы, вкладываемые в разного рода игры, в сто миллионов долларов ежегодно, что составляет половину бюджета острова; из них семьдесят пять миллионов долларов составляли легальные игры (государственная лотерея, петушиные бои, скачки, рулетка и т. д.). В докладе прямо заявляется: «Когда игра достигает таких масштабов, она, вне всяких сомнений, становится серьезной социальной проблемой... Она разрушает частные сбережения, парализует бизнес и побуждает население связывать свои надежды со случайными выигрышами, а не с производительным трудом». Учитывая эти выводы, губернатор Луис Муньос Марин принял решение ужесточить законы об играх, с тем чтобы в течение десяти последующих лет сократить их до размеров менее разорительных для национальной экономики⁴.

* * *

В Бразилии теми же признаками, что и китайская шарада на Кубе, обладает Jogo do Bicho, игра в зверей, — здесь и полуподпольная лотерея с многочисленными сочетаниями символов, и огромная организация, и ежедневно делаемые ставки, поглощающие значительную часть скромных средств, которыми располагают низшие слои населения. Кроме того, бразильская игра обладает еще и тем преимуществом, что превосходно показывает отношения между *alea* и суеверием. С другой стороны, она влечет за собой настолько значительные эко-

номические последствия, что мне придется привести здесь описание этой игры, данное мною по другому поводу и с другой целью:

«В своей нынешней форме эта игра восходит к 1880-м годам. Происхождение ее связывают с обычаем барона Драммонда каждую неделю вывешивать у входа в зоологический сад изображение какого-нибудь зверя. Публике предлагалось угадать, какой зверь будет выбран в следующий раз. Так зародился тотализатор, который оказался долговечнее своей первопричины и благодаря которому фигуры животных на афишах стали устойчиво связываться с числовым рядом. Вскоре игра превратилась в тотализатор на основе номеров, выигравших в национальной лотерее, наподобие *quinela* в соседних странах. Сто первых чисел были разделены на группы по четыре и соотнесены с двадцатью пятью животными, размещенными примерно в алфавитном порядке, начиная с *орла* [aigle] (номера от 01 до 04) и кончая *коровой* [vache] (номера от 97 до 00). С тех пор игра уже не претерпела значительных изменений.

Комбинаций бесчисленное количество: можно играть на единицу, на десяток, на сотню или на тысячу, то есть на одну, две, три или четыре последних цифры номера, который в этот день выиграет в лотерею. (С тех пор как федеральная лотерея из ежедневной стала еженедельной, по остальным дням разыгрывают условную, чисто теоретическую лотерею без билетов и выигрышей, которая служит только для определения победителей в Bicho.) Кроме того, можно ставить одновременно на несколько зверей, то есть на несколько групп из четырех чисел, и ставить на каждую комбинацию *с переворотом*, то есть не только на число как таковое, но и на любое число, составленное из тех же цифр. Например, играть на 327 *с переворотом* означает, что ты выигрываешь также на 372, 273, 237, 723 и 732. Можно себе представить, каким нелегким делом оказывается расчет таких выигрышей пропорционально ставкам. Благодаря этому в народе распространились углубленные познания в арифметике: какой-нибудь почти неграмотный человек умеет поразительно быстро и уверенно решать задачи, которые потребовали бы сугубой внимательности от недостаточно натренированного в подобных операциях математика.

Однако Jogo do Bicho благоприятствует не только арифметическим расчетам. Эта игра благоприятствует также суевериям. В самом деле, она связана с целой системой толкования снов, где есть свой код, свои классики и свои квалифицированные толкователи. Какого зверя выбрать, игроку указывают сны. Однако не всегда рекомендуется ставить именно на то животное, что привиделось во сне. Осмотрительнее будет сперва полистать специальную книжку, особого рода сонник, озаглавленный обычно «Interpretacão dos sonhos para o Jogo do Bicho» (Толкование сновидений для Jogo do Bicho). Из нее можно узнать надежные соответствия: тот, кому при-

¹ Rosne R. Op. cit. P. 293.

² Из сообщения Алехо Карпентьера и на основе предоставленных им документов.

³ Комиссия по планированию (англ.). — Примеч. пер.

⁴ New York Times. 6 oct. 1957.

снилась летающая корова, должен ставить не на Корову, а на Орла; тот, кому приснилось, как кошка падает с крыши, должен ставить на Бабочку (потому что настоящая кошка не падает с крыши); тот, кому приснилась палка, должен ставить на Кобру (которая поднимается словно палка); тот, кому приснился бешеный пес, должен ставить на Льва (который так же смел), и т. д. Иногда соотношение остается непонятным: тот, кому приснился покойник, должен ставить на Слона. Бывает, что соотношение заимствуется из сатирического фольклора: тот, кому приснился португалец, должен ставить на Осла. Самые аккуратные игроки не довольствуются механическими соответствиями — они обращаются к гадалкам и гадалкам, которые прилагают свои знания и таланты к данному конкретному случаю и умело извлекают из него непреложные оракулы.

Нередко обходятся вообще без зверей: сновидение непосредственно дает нужное число. Если человеку приснился кто-то из друзей, он ставит на его телефонный номер; если он оказался свидетелем уличной аварии, то ставит на номер разбившейся машины, или на номер присхавшей полицейской машины, или на какую-то их комбинацию. Не менее важными, чем случайные знаки, являются рифма и ритм. Характерен анекдот, где священник, отпуская грехи умирающему, произносит ритуальные слова: «Иисус, Мария, Иосиф» — и вдруг умирающий поднимается с возгласом: «Орел, Страус, Кайман!»; то есть звери из *bicho*, чьи названия по-португальски (*Águia, Avestruz, Jacaré*) более или менее похожи на произносимые имена. Примеры легко умножить до бесконечности. Вообще, применяются самые разнообразные виды гадания. Служанка пролила на пол воду из опрокинутого сосуда ← форму лужи она истолковывает по сходству с одним из игровых зверей. Умение распознавать нужные соотношения считают ценным даром. Многие бразильцы приведут вам пример со слугой кого-либо из своих знакомых, который сделался необходимым хозяевам благодаря своему умению разбираться в комбинациях *bicho* или же разгадывать приметы и в итоге начал заправлять всем в доме¹.

Теоретически игра в зверей запрещена во всех бразильских штатах. Фактически же ее более или менее терпят — в зависимости от настроения или интересов губернатора или, внутри штата, в зависимости от прихотей или политики местных руководителей, главным образом начальника полиции. В любом случае, формально преследуемая или тайно покрываемая, она сохраняет сладость запретного плода, и ее организация остается подпольной, даже если такая секретность никак не оправдана поведением властей предер-

¹ Кроме того, слуги, почти исключительно негры или мулаты, служат естественными посредниками между колдунами и жрецами африканских культов и теми, кто верит в действенность их чар, но гнушается вступать с ними в контакт.

жащих. Более того, народное сознание, практически все время озабоченное ею, внешне все-таки считает ее грехом — мелким грешком, простительным пороком, вроде курения табака; и все же, предаваясь ей, народ как-то втайне видит в ней предосудительное дело. Политики, нередко сами организующие эту игру, использующие ее или получающие от нее доход, непременно бранят ее в своих речах. Армия, которая любит заниматься морализаторством и в которой все еще живуче влияние Огюста Конта и позитивизма, косо глядит на *bicho*. Во время *macumbas*, обрядов одержимости духами, очень ценимых негритянским населением, а также в распространенных и могущественных кружках спиритов, принято изгонять тех, кто просит у конвульсионеров или у вертящихся столов прогноза о тираже *bicho*. Игру осуждают повсюду — от одного до другого полюса духовной жизни бразильцев.

Постоянная опасность, угрожающая игре в зверей, смутное осуждение, которому она продолжает подвергаться даже у тех, кто ею увлечается, и особенно то, что она не может быть официально признана, — все это влечет за собой следствие, неизменно поражающее ее клиентов: это скрупулезная честность сборщиков ставок. Как уверяют, ни один из них никогда не обманул игрока ни на сантиметр. Если не считать богатых игроков, дающих распоряжения по телефону, обычно люди где-нибудь на углу улицы вручают сборщику сложенную записку, где указана сумма ставки (порой значительная), комбинация, на которую она сделана, и условное имя, взятое человеком для этого случая. Сборщик передает бумажку своему товарищу, тот — еще одному, чтобы полиция в случае облавы ничего не нашла при обыске задержанного. Вечером или на следующий день все выигравшие приходят в условленное место и называют имя, которым воспользовались при подаче ставки. И сборщик, ставший теперь кассиром, тут же незаметно вручает им конверт, соответствующий этому имени и содержащий совершенно точную сумму, которая полагается счастливому игроку.

Если бы какой-то *bichego* оказался нечестным, игрок не мог бы никому на него пожаловаться. Но таких не бывает. Людей это удивляет и восхищает: в этой подозрительной игре, где через руки нищих то и дело проходят соблазнительные суммы денег, больше честности, чем в других областях, в отношении которых бразильцы обычно сокрушаются об упадке нравов. Однако причина этого вполне ясна. Просто подлый промысел не мог бы долго продолжаться без доверия. Стоит нарушиться доверию, и все пропало. Где немислимы ни контроль, ни претензии, там добросовестность оканчивается не роскошью, а необходимостью.

По самым скромным подсчетам, в *bicho* играют семьдесят процентов населения Бразилии, и каждый из этих людей ежедневно

посвящает игре примерно один процент своего месячного дохода, так что, *если не выигрывать*, к концу месяца она поглощала бы не менее тридцати процентов этого дохода. Однако здесь имеется в виду лишь среднестатистический игрок. Для заядлого же игрока пропорция оказывается намного большей. В предельных случаях человек отдает игре практически все свои доходы, а сам живет у кого-либо нахлебником или же просто побирается.

Поэтому не приходится удивляться, что, несмотря на тяготеющий над нею официальный запрет, игра в зверей представляет собой такую силу и такой ресурс, с которыми вынуждены считаться государственные органы. Однажды политзаключенные потребовали предоставить им право играть в *bicho* из тюрьмы — и они его получили. Департамент социальной помощи штата Сан-Паулу, созданный в 1931 году без всякого бюджета, долгое время работал исключительно на субсидии, которые предоставляли ему местные устроители *bicho*. Этих субсидий хватало на содержание многочисленного персонала и на удовлетворение постоянных прошений со стороны нуждающихся. Организация игр весьма иерархизирована; возглавляющие ее получают огромные прибыли и обычно охотно дают деньги политикам, без различия партий, ожидая от них в ответ покладистого отношения к своей деятельности.

Но сколь бы существенными ни казались моральные, культурные, даже политические последствия игры в зверей, следует прежде всего отметить ее экономическую значимость. На практике она сковывает *слишком быстрым оборотом* значительную часть денежной массы, которая тем самым оказывается потерянной для экономического развития нации или для повышения уровня жизни населения. Деньги, идущие на игру, не служат для покупки мебели или же дополнительной пищи, то есть на такие нужды, удовлетворение которых влекло бы за собой рост сельского хозяйства, торговли или промышленности в стране. Они растрачиваются впустую, изымаются из общего оборота ради быстрого и непрерывного обращения в замкнутом контуре, так как выигрыши редко выводятся прочь из этого адского круга. Их вновь вкладывают в игру, если не считать расходов на устраиваемую по такому случаю невинную пирушку. Таким образом, в общеэкономический оборот могут вернуться одни только прибыли банкометов и организаторов *bicho*. Да и то надо думать, что это происходит не в самой продуктивной для экономики форме. В то же время идет постоянный приток новых денег в игру, поддерживая или увеличивая общую сумму ставок и соответственно сокращая возможности сбережений или инвестиций¹.

¹ CAILLOIS R. Instincts et société. Paris, 1964. Chap. V. L'Usage des richesses. P. 130–151.

* * *

Как видно, в некоторых условиях азартные игры обладают такой культурной значимостью, которой обычно монопольно владеют состязательные игры. Даже в таких обществах, где якобы безраздельно правит заслуга, как мы убедились, не менее ощутимы и соблазны удачи. Находясь под подозрением, они тем не менее сохраняют существенную роль, правда более зрелищную, чем решающе важную. Во всяком случае, в том, что касается игр, *alea* в соперничестве, а нередко и в сочетании с *agôn* имеет своим следствием грандиозные проявления: устраивает национальную лотерею в противовес «Тур де Франс», строит казино, подобно тому как для спорта сооружают стадионы, создает ассоциации и клубы, этакие масонские ложи для посвященных и правоверных, выпускает специальную прессу, привлекает не менее значительные инвестиции.

Более того, наблюдается любопытная симметрия: в то время как спорт часто служит предметом правительственных субсидий, азартные игры, постольку поскольку они контролируются государством, способствуют пополнению казны. Иногда они даже составляют ее основные доходы. Тем самым удача, пусть и порицаемая, принижаемая, осуждаемая, сохраняет права даже в самых рациональных и административно благоустроенных обществах, которые более всех удалились от соединенных чар симуляции и головокружения. Причину этого нетрудно выяснить.

Головокружение и симуляция абсолютно, по самой своей природе враждебны кодификации, умеренности и организованности. Напротив того, *alea*, равно как и *agôn*, требует расчета и правил. Однако эта базовая солидарность отнюдь не исключает конкуренции между ними. Выражаемые ими принципы слишком резко противоположны, чтобы в тенденции не исключать друг друга. Очевидно, что тяжкий труд несомвместим с пассивным ожиданием удачи, а несправедливые милости судьбы — с законными требованиями вознаграждения за усилия и заслуги. Отказ от симуляции и головокружения, от маски и экстаза всякий раз означает лишь выход из зачарованного мира и вступление в рациональный мир распределительной справедливости. При этом многие проблемы остаются неразрешенными.

При этом *agôn* и *alea*, вероятно, представляют собой противоречащие и дополняющие друг друга принципы общества нового типа. Однако они отнюдь не выполняют параллельную функцию, которую бы признавали равно необходимой и превосходной. Ценным считается только *agôn* — начало честной конкуренции и плодотворной состязательности. На нем зиждется все здание общества. Прогресс заключается в его развитии и совершенствовании его условий — то есть, по сути, в последовательном устранении *alea*. В самом деле, *alea* выступает как сопротивление природы, которое не даст сделать желаемые социальные институты вполне справедливыми.

Более того, удача составляет не просто яркую форму несправедливости, произвольно-незаслуженной милости, но также и насмешку над трудом, над терпеливой и упорной работой, над бережливостью, над добровольными лишениями во имя будущего — одним словом, над всеми добродетелями, которые необходимы в мире, посвятившем себя росту благосостояния. Поэтому усилия законодателей естественно направлены на то, чтобы ограничить ее область и влияние. Из всех принципов игры одна лишь регулярная конкуренция поддается прямому переносу в область действия, где она может оказаться эффективной и даже незаменимой. Остальные игровые принципы вызывают опаску: их контролируют, в лучшем случае терпят, при условии что они остаются в рамках дозволенного; и их считают пагубными страстями, пороками или безумствами, если они распространяются в жизни, перестают подчиняться изоляции и нейтрализующим их правилам.

В этом плане *alea* не составляет исключения. Постольку, поскольку она являет собой лишь пассивность природных предпосылок, приходится нехотя, но признавать ее. Все знают, что происхождение — это лотерея, но обычно лишь сожалеют о ее нетерпимых последствиях. За исключением очень редких случаев, как, например, выбор по жребию должностных лиц в Древней Греции и присяжных в наши дни, не может быть и речи о том, чтобы признать за случайностью какую-либо институциональную функцию. Полагаться на ее решение в серьезных делах кажется нам недопустимым. Общественное мнение единодушно признает как очевидную, не допускающую никаких споров истину, что именно труд, личные заслуги, компетентность, а не случайная комбинация игральные костей составляют основу как необходимой справедливости, так и счастливого развития общественной жизни. Вследствие этого труд рассматривается в тенденции как единственный почтенный источник доходов. Даже наследство, вытекающее из фундаментальной *alea* рождения, вызывает критику, иногда вообще отменяется, а чаще всего облагается значительным налогом, средства от которого идут на благо общества в целом. Что же касается денег, выигрываемых в казино или в лотерею, то в принципе они должны составлять лишь роскошную прибавку к заработной плате или окладу, регулярно получаемым игроком за свою профессиональную деятельность. Добывать всю или же основную часть своих средств благодаря удаче, счастливому случаю почти всеми рассматривается как нечто подозрительное и аморальное, а то и прямо позорное, и во всяком случае антисоциальное.

Коммунистический идеал общественного управления доводит этот принцип до предела. Могут спорить о том, следует ли при распреде-

лении государственных доходов давать каждому по заслугам или по потребностям, но несомненно, что никому ничего нельзя давать согласно происхождению или счастливому случаю. Иначе это будет оскорблением для труда и равенства. Мерой справедливости является выполняемая работа. Отсюда следует, что по своей естественной тенденции режим социалистического или коммунистического типа всецело зиждется на *agônê*; тем самым он соответствует своим принципам абстрактной справедливости и одновременно предполагает наилучшим образом использовать способности и умения людей, а тем самым рационально, то есть эффективно, стимулировать ускоренное производство благ, в котором он видит свое главное, если не единственное назначение. При таких условиях весь вопрос в том, является ли экономически продуктивным полное устранение всяких надежд на грандиозную, незаурядную, феерически неправильную удачу, не лишается ли государство, подавляя этот инстинкт, богатого и незаменимого источника доходов, которые могут быть превращены в энергию.

В Бразилии, где правит бал игра, сбережения имеют очень незначительные размеры. Это страна спекуляции и удачи. В СССР азартные игры запрещены и преследуются, в то время как сбережения активно приветствуются, дабы сделать возможным расширение внутреннего рынка. Рабочих побуждают экономить столько денег, чтобы покупать себе автомобили, холодильники, телевизоры, вообще все то, что делает возможным развитие индустрии. Лотерея в любой своей форме считается аморальной. Однако показательно, что государство, запрещая ее в частной форме, само же соединяет ее со сбережением.

В советской России существует около пятидесяти тысяч сберегательных касс, общая сумма вкладов в которые достигает пятидесяти миллиардов рублей. Эти вклады приносят три процента годовых, если не снимать деньги со счета в течение как минимум шести месяцев, в противном же случае два процента. Но если вкладчик того желает, он может отказаться от заранее обусловленного процента и два раза в год принимать участие в розыгрыше, где некоторые вклады, в зависимости от своей суммы, приносят несоразмерно высокое вознаграждение двадцати пяти ничем не заслужившим этого победителям из каждой тысячи участников этого странного и скромного пережитка *alea* в рамках экономики, которая по идее должна ее исключать. Более того, государственные займы, подписываться на которые долгое время практически принуждали всех работающих, также предусматривали выплату премий общей суммой в два процента от собранного таким образом капитала. Для займа 1954 года эти премии представляли собой выигрыши от четырехсот до пятидесяти тысяч рублей, распределяемые по ста тысячам серий по пятьдесят облигаций каждая. Из этих серий вытягивались по

жребию сорок две, и все составляющие их облигации выигрывали как минимум четыреста рублей. Далее производился тираж более крупных выигрышей, включая двадцать четыре выигрыша по десять тысяч рублей, пять по двадцать пять тысяч и два по пятьдесят тысяч¹, что равняется по официальному курсу (впрочем, завышенному) соответственно одному, двум с половиной и пяти миллионам франков.

Видимо, настолько живуча притягательная сила удачи, что те экономические системы, которые по своей природе более всего ей враждебны, все же вынуждены уделять ей место, правда ограниченное, замаскированное и как бы стыдливое. Действительно, произвольность случая образует необходимый противовес регулярному соревнованию. Соревнование предопределяет полное и бесспорное торжество любого превосходства, поддающегося измерению, а перспектива незаслуженной милости судьбы подкрепляет слабого и оставляет ему последнюю надежду. Человек потерпел поражение в честном бою. В объяснение своей неудачи он не может сослаться на чью-то несправедливость. Стартовые условия были равными для всех. Ему приходится пенять лишь на собственную неспособность. И ему было бы уже не на что более рассчитывать, если бы его унижение все-таки не уравновешивалось возможностью (пусть и бесконечно маловероятной) получить беспричинную милость от тех своеобразных, недоступных, слепых и беспощадных сил, которые, к счастью, знать не знают никакой справедливости.

II. От педагогики до математики

Мир игр столь сложен и разнообразен, что приступить к его изучению можно многими способами. Эту область делят между собой психология, социология, бытовая история, педагогика и математика, так что в итоге она перестает ощущаться как единство. Такие книги, как «Homo ludens» Хейзинги, «Игра и ребенок» Жана Шато и «Theory of Games and Economic Behavior»² Неймана и Моргенштерна, не просто обращены к разным читателям — создается впечатление, что они даже трактуют разные предметы. В конце концов возникает вопрос, в какой мере мы, воображая, что столь разные

и почти несовместимые между собой исследования на самом деле касаются одной и той же специфической деятельности, просто пользуемся случайными обстоятельствами нашего словаря. Начинаясь сомневаться, действительно ли для определения игры могут быть найдены какие-то общие признаки и действительно ли она может по праву служить общим предметом изучения.

Если в повседневном опыте область игр все-таки сохраняет свою автономию, то для научного исследования она явно ее утратила. Здесь перед нами не просто разные подходы, обусловленные различием дисциплин. Здесь сами факты, изучаемые под названием игр, в каждом случае крайне разнородны, и впору предположить, что слово «игра» здесь просто вводит в заблуждение и своей обманчивой обобщенностью поддерживает стойкие иллюзии насчет якобы родственной связи между совершенно несхожими типами поведения.

Небезынтересно показать, какие действия, а иногда и какие случайности привели к столь парадоксальному раздроблению. В самом деле, странный дележ начинается с самого начала. Играющие в чехарду, домино или в воздушного змея знают, что все они в равной мере заняты игрой, но изучением игры в чехарду (или в салки, или в шары) занимаются только детские психологи, изучением игры в змея — только социологи, а изучением игры в домино (или в рулетку, или в покер) — только математики. Мне кажется нормальным, что последние не интересуются игрой в прятки или в кошку на дереве, для которых нельзя составить уравнений; но мне уже менее понятно, что г. Жан Шато пренебрегает играми в домино и воздушного змея; и я тщетно спрашиваю себя, почему историки и социологи фактически отказываются изучать азартные игры. Точнее, в этом последнем случае трудно понять основание для такого ostracизма, зато легко заподозрить, какими причинами он вызван. Как мы увидим в дальнейшем, эти причины в основном связаны с предрассудками (биологическими или педагогическими) тех ученых, которые занимались изучением игр. Тем самым данное исследование — если исключить бытовую историю, которая, впрочем, занимается не столько играми, сколько игрушками, — пользуется достижениями независимых дисциплин, а именно психологии и математики, и главные из этих достижений следует последовательно разобрать.

1. ПСИХОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Одним из первых, если не самым первым, кто подчеркивал исключительную важность игры для истории культуры, был Шиллер. В пятнадцатом из своих «Писем об эстетическом воспитании человека» он пишет: «И чтобы это, наконец, высказать навсегда, — человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет». Он даже

¹ См.: FRANZÉN G. Les Banques et l'Épargne en URSS // l'Épargne du Monde. Amsterdam, 1956. № 5. P. 193–197, перепечатано в Svensk Sparbankstidskrift. Stockholm, 1956. № 6.

² «Теория игр и экономическое поведение» (англ.). — Примеч. пер.

высказывает в том же тексте догадку, что из игр можно вывести своего рода диагноз, характеризующий каждую культуру. Он полагает, что «нетрудно будет различить оттенки вкуса различных народностей, если сравнить <...> лондонские скачки, бой бычков в Мадриде, спектакли в былом Париже, гонки гондольеров в Венеции, травлю зверей в Вене, веселое оживление римского Корсо»¹.

Но, занятый выведением из игры сущности искусства, он проходит мимо этой мысли и дает лишь предчувствие той социологии игры, которая явствует из нее. Что ж, вопрос все-таки поставлен, а игра принята всерьез. Шиллер подчеркивает радостную экспансивность игрока и постоянно оставляемую за ним свободу выбора. Игра и искусство рождаются из избытка жизненной энергии, в котором взрослый или ребенок не нуждаются для удовлетворения непосредственных нужд и который они посвящают бесцельному и шутливому подражанию реальным видам поведения. «Прыжок от радости, не связанный никаким законом, становится пляскою»². Отсюда исходит Спенсер: «Игра — это драматизация деятельности взрослых». Или Вундт, который заблуждается в своей решительности и непримиримости: «Игра — это дитя труда. Нет такой формы игры, которая не находила бы своего образца в каком-либо серьезном занятии — образца, который также и предшествует ей» («Ethik», 1886. P. 145). Этот рецепт получил широкое распространение. Соблазнившись им, этнографы и социологи принялись с переменным успехом выявлять в детских играх пережитки той или иной забытой религиозной или магической практики.

Мысль о свободе, бесцельности игры была вновь заявлена Карлом Гроосом в работе «Die Spiele der Tiere»³ (Иена, 1896). Автор прежде всего выделяет в игре радость от того, что ты являешься и остаешься ее причиной. Он объясняет ее возможностью в любой момент свободно прекратить начатую игру. Наконец, он определяет ее как чистую предпринимчивость без прошлого и будущего, неподвластную давлению действующих в мире стеснений. Игра — это творчество, и игрок остается в ней хозяином. Отрешенная от суровой реальности, она предстает как самоцельный универсум, существующий лишь постольку, поскольку он добровольно принят. Однако, поскольку сначала К. Гроос изучал игры животных (пусть уже и имея в виду человека), то, обратившись несколько лет спустя к человеческим играм («Die Spiele der Menschen»⁴, Иена, 1889), он был

¹ Briefe über ästhetische Erziehung des Menschen. (Trad. franç.) // SCHILLER FR. VON. Œuvres. T. VIII. Esthétique. Paris, 1862. [Шиллер Ф. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М.: Гослитиздат, 1957. С. 302. — Примеч. пер.] См. также письма 14, 16, 20, 26 и 27.

² Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 354. — Примеч. пер.

³ «Игры животных» (нем.). — Примеч. пер.

⁴ «Игры людей» (нем.). — Примеч. пер.

вынужден подчеркивать их инстинктивно-спонтанные аспекты, недооценивая те чисто интеллектуальные комбинации, в которых они заключаются весьма часто.

Более того, он также мыслил игры звериных детенышей как своего рода веселую тренировку для взрослой жизни. Крайне парадоксально, но Гроос отсюда заключает, что игра — это и есть смысл молодости: «Животные не потому играют, что они молоды, они молоды потому, что должны играть»¹. Соответственно он старался показать, каким образом игра дает молодым животным больше мастерства в преследовании добычи или в ускользании от врагов, как она приучает их бороться между собой, готовясь к тому моменту, когда они по-настоящему столкнутся в соперничестве за обладание самкой. Отсюда он вывел изобретательную классификацию игр, вполне подходящую к своему объекту, но, к сожалению, повлиявшую на предпринятое позднее исследование человеческих игр. Он различает игровую деятельность: а) органов чувств (опыты касания, температуры, вкуса, слуха, цветов, форм, движений и т. д.), б) моторного аппарата (движение на ощупь, разрушение и анализ, построение и синтез, игры на терпение, простое бросание, бросание ударом или толчком, придание качательного, вращательного или скользящего движения, метание в цель, схватывание предметов в движении); с) ума, чувства или воли (игры на распознавание, на память, на воображение, на внимание, на рассуждение, на внезапность, на испуг и т. д.). Далее он переходит к так называемым тенденциям второй степени, связанным с боевым, половым и подражательным инстинктами.

Этот длинный список прекрасно показывает, каким образом все ощущения и эмоции, которые человек может переживать, все жесты, которые он может делать, все мысленные операции, которые он способен совершать, — дают рождение играм; он не проливает ни малейшего света на сами игры, ничего не говорит ни об их природе, ни об их структуре. Гроос не заботится о том, чтобы сгруппировать их согласно их собственным сходствам, и, кажется, не замечает, что в большинстве своем они затрагивают сразу несколько органов чувств или функций. По сути, он довольствуется тем, что распределяет их по главам признанных в его время трактатов по психологии, или, вернее, он ограничивается демонстрацией того, как у чувств и способностей человека имеется также и бесцельный способ действия, не приносящий непосредственной пользы, а потому принадлежащий области игры и служащий единственно для подготовки индивида к решению будущих задач. Азартные игры опять-таки исключаются из рассмотрения, причем автор даже не замечает, что он их исключил. С одной стороны, они

¹ Die Spiele der Tiere. (Trad. franç.) Les Jeux des Animaux. Paris, 1902. P. V, 62–69.

не встречались ему у животных, а с другой стороны, они не готовы ни к какой серьезной задаче.

Прочитав труды Карла Грооса, можно и дальше оставаться в полном или почти полном неведении о том, что игра часто, то есть закономерно, включает в себя правила, причем правила особой природы: произвольные, императивные, действующие в заранее определенном времени и пространстве. Как мы помним, подчеркивание именно этого последнего признака и демонстрация его исключительной плодотворности для развития культуры явились заслугой Й. Хейзинги. Еще до него г. Жан Пиаже в двух своих лекциях в Женевском Институте Жан-Жака Руссо резко подчеркивал различие, которое имеют для ребенка игры воображения и игры с правилами. С другой стороны, известно, какую важность он вполне справедливо придавал соблюдению игровых правил для нравственного воспитания ребенка.

Но ни Пиаже, ни Хейзинга опять-таки не уделяют ни малейшего места азартным играм, которые исключаются также и из замечательных исследований Жана Шато¹. Конечно, Пиаже и Шато занимаются только детскими играми², и даже — следует уточнить — лишь играми определенной категории детей из Западной Европы в первой половине XX века, главным образом теми играми, в которые дети играют в школе на переменах. Понятно, что при этом какой-то рок вновь заставляет исключать из рассмотрения азартные игры: ведь их, разумеется, не одобряют воспитатели. Между тем, даже если оставить в стороне кости, волчок, домино и карты, которые Ж. Шато отводит как игры взрослых, куда дети якобы лишь втягива-

¹ CHATEAU J. Le Réel et l'Imaginaire dans le Jeu de l'Enfant. 2^e éd., Paris, 1955; Le Jeu de l'Enfant, Introduction à la Pédagogie. Nouvelle édition augmentée. Paris, 1955.

² Сложные игры взрослых также привлекали к себе внимание психологов. В частности, есть немало работ по психологии шахматистов. В отношении футбола следует назвать исследования Дж. Т. У. Патрика (1903), М. Дж. Хартгенбуша (1926), Р. У. Пикфорда (1940), М. Мерло-Понти (в книге «Структура поведения», 1942). Выводы из них обсуждаются в труде: BUUTENDIJK F. J. J. Le Football. Paris, 1952. Эти работы, как и те, что посвящены психологии шахматистов (и объясняют, например, что те воспринимают слона и ладью не как две определенные фигуры, а как косую и прямую силы), дают некоторые сведения о поведении игрока, поскольку оно определяется игрой, но не о природе самой игры. С этой точки зрения гораздо более поучительна содержательная статья: DENNEY R., RIESMAN D. Football in America (французский перевод в журнале Profiles. № 13. Automne 1955. P. 5–32). В ней, в частности, показано, как из нарушения правил, приспособленного к новой потребности или к новой среде, может получиться (и даже с необходимостью получается в конечном счете) новое правило, то есть новая игра.

ются под влиянием семьи, остаются еще игры в шары, а они не всегда представляют собой игру на ловкость.

В самом деле, шары обладают той особенностью, что служат одновременно и орудием, и ставкой в игре. Игроки выигрывают и проигрывают их. Поэтому они быстро превращаются в настоящие деньги. Их обменивают на сладости, ножики, рогатки¹, свистки, школьные принадлежности, на помощь в приготовлении уроков, на какую-либо другую поддержку, на всевозможные тарифицированные услуги. Шары даже обладают различной стоимостью в зависимости от материала — стальные, керамические, каменные или стеклянные. Случается также, что дети играют на них в различные игры на чет и нечет, типа игры в мурр, и в масштабах детского имущества при этом выигрываются и проигрываются целые состояния. Автор приводит по крайней мере одну из таких игр², что не мешает ему совершенно исключить из рассмотрения элемент азарта, то есть риска, жребия, пари, как движущую силу игры у ребенка, и настойчиво подчеркивать исключительно активный характер удовольствия, получаемого последним от игры.

Такая предвзятость не имела бы особо дурных последствий, если бы в конце своей книги Жан Шато не попытался создать классификацию игр, которая вследствие этого страдает существенным пробелом. Намеренно игнорируя азартные игры, она обходит молчанием важный вопрос: чувствителен или нет ребенок к притягательности удачи, или же он мало играет в азартные игры в школе просто потому, что там такие игры фактически не допускаются. Для меня самого ответ несомненен: ребенок очень рано становится чувствителен к счастливому случаю³. Остается определить, с какого возраста и каким образом он начинает примирять решение судьбы, само по себе совершенно несправедливое, с характерным для него очень острым и щепетильным чувством справедливости.

¹ Рогатки не упоминаются в книге г. Шато, который, возможно, отнимал их у детей, вместо того чтобы наблюдать психологию их использования. Изучаемые им дети не ведают также крокета и воздушного змея — игр, для которых нужно открытое пространство и специальные принадлежности; они не носят масок и маскарадных костюмов. Еще раз повторим — это потому, что наблюдали за ними только в школе.

² Le Jeu de l'Enfant. P. 18–22.

³ Приведу лишь один пример — успех миниатюрных лотерей, которые предлагаются школьникам в лавках сладостей, расположенных в окрестностях школ. За одну и ту же неизменную цену дети вытягивают наугад билетик, на котором стоит номер выигранной сладости. Излишне говорить, что торговец как можно дольше оттягивает момент, когда он прибавит к прочим билетикам тот, что соответствует особо соблазнительному угощению, образуемому главным выигрыш.

Замысел Жана Шато — одновременно генетический и педагогический; изначально его интересуют моменты возникновения и расцвета каждого типа игр, но в то же он старается и определить позитивный вклад различных их видов. Он стремится показать, в какой мере они способствуют формированию личности будущего взрослого человека. С этой точки зрения ему нетрудно показать, вопреки Карлу Гроосу, что игра — это скорее соревнование, чем упражнение. Ребенок не тренируется для решения определенной задачи. Благодаря игре он вообще приобретает способность преодолевать препятствия и бороться с трудностями. Скажем, в жизни ничто не напоминает игру в «летащего голубя», но выгодно иметь быстрые и контролируемые рефлекссы.

Вообще, игра предстает как воспитание тела, характера и ума, без заранее определенной цели. С такой точки зрения чем более игра удалена от реальности, тем больше ее воспитательная ценность. Ибо она не дает готовых рецептов — она развивает способности.

Однако чистые азартные игры, где игрок остается, по сути, пассивным, не развивают в нем никаких физических или интеллектуальных способностей. И их последствия для нравственности часто вызывают опасение, поскольку они отвлекают от труда и усилий, маня надеждой на внезапный и значительный выигрыш. Если угодно, это причина для того, чтобы изгнать их из школы — но не из классификации.

Возможно, впрочем, что есть смысл развить это рассуждение до предела. Игра лишь побочным образом является упражнением, даже состязанием или публичным выступлением. Конечно, развиваемым способностям полезна такая дополнительная тренировка, которая к тому же носит свободный, интенсивный, шуточный, изобретательный и огражденный характер. Но собственной функцией игры никогда не является развитие какой-либо способности. Цель игры — сама игра. Другое дело, что тренируемые в ней способности — те же самые, которые служат и для учебы, и для серьезных взрослых занятий. Если эти способности неразвиты или слабы, то ребенок одновременно не может ни учиться, ни играть, так как он не умеет ни приспособляться к новой ситуации, ни фиксировать внимание, ни подчиняться дисциплине. В этом отношении вполне убедительны наблюдения А. Бронера¹. Игра никоим образом не служит прибежищем для дефективных и ненормальных детей. Она претит им так же, как и труд. Эти дети и подростки с расстроенным сознанием оказываются неспособ-

ны сколько-нибудь непрерывно или прилежно заниматься как игрой, так и настоящей учебой. Для них игра сводится просто к окказиональному продолжению подвижности, к чистому импульсу без контроля, без меры и без понимания (толкать шар или мяч, в который играют другие, мешать, портить, путать и т. д.). Когда воспитатель сумеет привить им уважение к правилам, а еще лучше склонность самим их придумывать, — это и будет момент их излечения.

Практически нет сомнения, что главное здесь — именно готовность добровольно соблюдать условленные правила. В самом деле, Ж. Шато, как и Ж. Пиаже, настолько признает важность этого факта, что в первом приближении делит все игры на игры с правилами и без правил. Для второй категории он вкратце излагает исследования Грооса, ни прибавляя к ним ничего особенно нового. В отношении же игр с правилами его книга оказывается значительно более содержательным справочником. Устанавливаемое им разграничение игр фигуративных (подражание и иллюзия), объективных (конструирование и работа) и абстрактных (игры с произвольными правилами, на лучшие показатели, и в частности состязательные), вероятно, имеет под собой некоторую почву. Можно также признать вслед за ним, что фигуративные игры ведут к искусству, объективные готовят к труду, а состязательные предвещают спорт.

Г-н Шато дополняет свою классификацию еще одной категорией, которая объединяет те из состязательных игр, где требуется некоторая кооперация, а также танцы и воображаемые церемонии, где движения участников должны быть согласованы между собой. Такая группа не кажется мне однородной и прямо противоречит установленному ранее принципу, противопоставляющему игры с иллюзией и игры с правилами. Игра в прачку, бакалейщицу или солдата всегда представляет собой импровизацию. Чтобы вообразить себя больной, булочкиницей, легчиком или ковбоем, все время требуется выдумка. Напротив, при игре в салки или в кошку на дереве, не говоря уже о футболе, шашках или шахматах, предполагается соблюдение точных правил, позволяющих определить победителя. Объединение под одной рубрикой игр-представлений и игр-состязаний, потому что в тех и других требуется взаимодействие между игроками из одного лагеря, объясняется, по сути, лишь стремлением автора различать разные уровни игр, своего рода возрастные классы: в самом деле, в первом случае речь идет об усложнении простых соревнований, основанных на соперничестве, во втором — о таком же усложнении фигуративных игр, основанных на симуляции.

Оба эти усложнения имеют следствием возникновение командного духа, обязывающего игроков сотрудничать между собой, сочетать свои движения и играть каждый свою роль в общем движении. Тем не менее глубинное родство явно носит вертикальный характер. Ж. Шато всякий раз идет от простого к сложному, потому

¹ BRAUNER A. Pour en faire des Hommes: Études sur le jeu et le langage chez les enfants inadaptés sociaux. Paris: S.A.B.R.I., 1956. P. 15–75.

что старается прежде всего провести стратификацию, соответствующую возрасту детей. Но тем самым лишь усложняются по-прежнему параллельные друг другу структуры.

Фигуративные и состязательные игры довольно точно соответствуют тем, которые я в своей классификации сгруппировал соответственно под названиями *mimicry* и *agôn*. Я уже говорил, почему в таблице г. Шато не упоминается азартных игр. По крайней мере, в ней можно найти следы игр головокружительных, обозначенных этикеткой *игры увлеченности*, со следующими примерами: сбегать вниз по склону, кричать во все горло, вертеться юлой, бегать (до потери дыхания)¹. Конечно, в таких поступках имеются, если угодно, наброски головокружительных игр, но, чтобы действительно заслуживать названия игр, такие игры должны иметь какой-то более точный, более определенный вид, который бы лучше соответствовал их специфической цели — вызывать легкое, преходящее и оттого приятное расстройство восприятия и равновесия: например, на горках, на качелях или же при гаитянской игре в «золотой майс». У г. Шато, правда, есть упоминание о качелях (с. 298), но они интерпретируются как упражнение воли наперекор страху. Конечно, головокружение предполагает страх, точнее, паническое чувство, но это чувство привлекает, завораживает; то есть это удовольствие. Здесь главное не в том, чтобы преодолевать страх, а в том, чтобы сладострастно переживать испуг, трепет, ошеломление, заставляющие на миг терять самоконтроль.

Итак, игры головокружения трактуются психологами не лучше, чем азартные игры. Хейзинга, размышляя над играми взрослых, также не уделяет им ни малейшего внимания. Вероятно, он пренебрегает ими потому, что им явно нельзя приписать никакой педагогической или культурной ценности. Из придумывания и соблюдения правил, из честного состязания Хейзинга выводит всю или почти всю цивилизацию, а Ж. Шато — основные качества, необходимые человеку для построения своей личности. Никем и не ставятся под сомнение этическая продуктивность ограниченной борьбы по правилам или культурная продуктивность иллюзионных игр. Зато погоня за головокружением и удачей имеют дурную репутацию.

¹ Приводятся примеры из сводной таблицы (с. 385–387). Напротив того, трактуя об «играх увлеченности» в соответствующей главе (с. 194–217), автор играет на двух значениях слова «emportement» («безрассудное поведение» и «гнев»), изучая главным образом всяческие беспорядки, которые происходят в играх из-за чрезмерного восторга, страстного увлечения и интенсификации, или же просто от ускорения ритма. В конце концов это дезорганизует всю игру. Таким образом, анализ позволяет определить особую модальность игры или, вернее, опасность, которая грозит ей в некоторых случаях, но никак не помогает определить специфическую категорию игр.

Эти игры кажутся бесплодными, а то и вредными, несущими на себе какое-то темное и заразительное проклятие. Они считаются разрушительными для нравов. Согласно общему мнению, культура заключается скорее в том, чтобы защищаться от их соблазна, чем в том, чтобы пользоваться их сомнительными плодами.

2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Головокружительные и азартные игры неявным образом помещаются в карантин социологами и воспитателями. Изучение головокружения предоставляется медикам, а вычисление шансов — математикам.

Такого рода исследования, конечно же, необходимы, но и те и другие отвлекают внимание от самой природы игры. Изучение функционирования полукруглых каналов не вполне объясняет увлечение людей качелями, горками, горными лыжами и всякими головокружительными аттракционами, не считая упражнений иного типа, предполагающих такую же *игру* с такими же силами паники, как, например, вращение дервишей на Ближнем Востоке или спуск по спирали мексиканских *voladores*. Со своей стороны, развитие теории вероятностей никоим образом не заменяет социологию лотерей, казино или ипподромов. Математические исследования ничего не сообщают и о психологии игрока, так как в них следует рассматривать все возможные ответы в заданной ситуации.

Математический расчет служит для того, чтобы либо определить маржу безопасности для банкомета, либо указать игроку наилучший способ игры, либо точно установить заранее, на какой риск он идет в каждом конкретном случае. Как известно, одна из задач такого рода стала истоком теории вероятностей. Шевалье де Мере вычислил, что при игре в кости в серии из двадцати четырех бросков (при наличии двадцати одной возможной комбинации) двойная шестерка имеет больше шансов выпасть, чем не выпасть. Между тем опыт доказывал ему противное. Он обратился к Паскалю. Отсюда возникла долгая переписка Паскаля с Ферма, которой суждено было открыть новый путь в математике и, помимо прочего, доказать Мере, что с научной точки зрения действительно выгодно ставить против выпадения двойной шестерки в серии из двадцати четырех бросков.

Параллельно со своими трудами об азартных играх математики уже давно начали предпринимать изыскания совсем иного рода. Они взялись за расчет возможностей, в которых никак не действует случайность, но которые могут быть предметом полной и поддающейся обобщению теории. В частности, речь идет о многочисленных головоломках, известных под названием математических досугов. Их изучение не раз наводило ученых на путь серьезных открытий. Такова, например, до сих пор не разрешенная задача

о четырех красках, о кенигсбергских мостах, о трех домах и трех источниках (неразрешимая на плоскости, но разрешимая на замкнутой поверхности — скажем, на поверхности кольца), о прогулке пятнадцати девиц. Собственно, и некоторые традиционные игры, такие, например, как такен¹ или багнод, основаны на сходных трудностях и комбинациях, теория которых относится к топологии, созданной Яниревским в конце XIX века. Не так давно математики, сочетая теорию вероятности и топологию, основали новую науку, которая, видимо, может иметь самые разные применения, — теорию стратегических игр².

Здесь речь идет о таких играх, где игроки являются *противниками* и должны *защищаться*, то есть в каждой новой ситуации им приходится делать обдуманый выбор и принимать соответствующие решения. Такого рода игры подходят в качестве модели в тех вопросах, которые обычно встают в экономике, коммерции, политике и военном деле. Задача состоит в том, чтобы дать закономерное, научно-беспорное решение проблем, которые хоть и конкретны, но все же поддаются приблизительной формулировке в количественных величинах. Начинали с анализа простейших ситуаций — игры в орла и решку, в камень-ножницы-бумагу (бумага побивает камень, обертывая его, камень побивает ножницы, ломая их, ножницы побивают бумагу, разрезая ее), предельно упрощенной версии покера, воздушного боя и т. д. В расчет начали принимать психологические элементы, такие, как *хитрость* и *блеф*. *Хитростью* называли «проницательность игрока, умеющего предвидеть поведение противников», а *блефом* ответ на эту хитрость, то есть «в одних случаях искусство скрывать от противника свою осведомленность, в других — обманывать его относительно своих намерений, наконец, в-третьих — внушать ему недооценку нашей умелости»³.

Остается, правда, сомнение в практической пользе и даже в обоснованности подобных спекуляций за рамками чистой математики. Они зиждутся на двух постулатах, необходимых для строгой дедукции и, как можно предположить, никогда не встречающихся в непрерывном и бесконечном реальном мире: первый из них — это возможность полной информации, исчерпывающей все полезные сведения; второй — это конкуренция между противниками, которые осуществляют все свои инициативы совершенно сознательно, в ожидании точно определенного результата и которые, как предполагается, всякий раз выбирают наилучшее решение. Между тем в ре-

альности, с одной стороны, полезные сведения априори не поддаются перебору; а с другой стороны, невозможно устранить из расчета ту роль, которую могут сыграть в действиях противника ошибка, каприз, глупое увлечение, вообще любое произвольно-необъяснимое решение, какое-нибудь странное суеверие, или даже сознательное стремление проиграть, которое нет причин вовсе исключать из абсурдного мира людей. Математически все эти аномалии не порождают никакой новой трудности; они возвращают к предшествующему, уже разрешенному случаю. Но по-человечески, для конкретного игрока, дело обстоит иначе, ибо весь интерес игры заключается именно в этом запутанном сплетении возможностей.

При дуэли на пистолетах, когда оба противника идут навстречу друг другу, если нам известна точность и дальноточность их оружия, дистанция, видимость, относительная искусность стрелков, их хладнокровие или нервозность, и если все эти различные факторы мы считаем поддающимися количественной оценке, то теоретически можно вычислить, в какой момент для каждого из противников предпочтительнее нажимать на курок. Однако это чисто алеаторная спекуляция, и все ее исходные данные ограничены конвенцией. На практике же ясно, что никакой расчет невозможен, так как для него требуется полный анализ неисчерпаемо сложной ситуации. Один из противников может оказаться близоруким или косоглазым. Он может быть рассеянным или неврастеником, его может ужалить оса, он может споткнуться о корень. Наконец, может статься, он желает погибнуть. Анализ всякий раз имеет дело лишь со скелетом проблемы; как только она обретает всю свою исходную сложность, рассуждения оказываются ложными.

В американских магазинах в период распродаж бывает, что в первый день уцененные товары продают со скидкой 20% от обозначенной цены, на второй день — со скидкой 30%, а на третий день со скидкой 50%. Чем дольше выжидать, тем выгоднее обойдется покупка. Но одновременно сокращается возможность выбора, и подходящая вещь может быть купленной кем-то другим. В принципе, если суметь ограничить круг принимаемых в расчет данных, можно вычислить, в какой день лучше всего идти покупать тот или иной товар, в зависимости от того, насколько высоким предполагается спрос на него. Однако весьма правдоподобно, что каждый покупатель исходит из своего характера — делает покупку либо сразу, если для него главное оставить за собой желанную вещь, либо в последний момент, если он стремится потратить как можно меньше.

Здесь заключается упрямый, не поддающийся исчислению элемент игры, которого математика не затрагивает, ибо она представляет собой лишь алгебру *по поводу* игры. Когда же — что невозможно — она становится алгеброй *самой* игры, то игра сразу же разрушается. Ибо играют ведь не для того, чтобы наверняка выиграть.

¹ Головоломка с передвиганием плотно составленных вместе пронумерованных костяшек. — *Примеч. пер.*

² NEUMANN J. VON, MORGENSTERN O. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton, 1944; BERGE C. Théorie des jeux alternatifs. Paris, 1952.

³ BERGE C. Op. cit.

Удовольствие от игры неотделимо от риска проиграть. Как только комбинаторной рефлексии (в которой и заключается наука об играх) удастся создать теорию игровой ситуации, интерес игрока исчезает вместе с неопределенностью результата. Исход всех вариантов известен заранее. Каждый игрок знает, к чему ведут последствия каждого из возможных ходов и последствия этих последствий. В карточных играх, как только не остается больше неопределенности в том, кто берет дальнейшие взятки, партия заканчивается, и все игроки открывают свои карты. В шахматах опытный игрок сдает партию, как только понимает, что положение на доске или соотношение сил обрекают его на неизбежное поражение. Африканские негры, играя в увлекающие их игры, высчитывают их ход так же точно, как Нейман и Моргенштерн; конечно, изучаемые последними структуры требуют куда более сложного математического аппарата, но работают с ними точно так же.

В Судане очень распространена игра «болотуду», аналогичная нашей «мельнице». В нее играют с помощью двенадцати палочек и двенадцати камешков, которые каждый из игроков по очереди выставляет на тридцатиклеточной доске, образующей пять рядов по шесть клеток. Всякий раз, когда одному из игроков удастся поставить три своих фишки в ряд, он «съедает» одну из фишек противника. У мастеров этой игры есть особые приемы, которые образуют семейное достояние и передаются по наследству от отца к сыну. Большое значение имеет исходная расстановка фишек. Возможных комбинаций не бесконечно много. И вот опытный игрок часто прекращает партию, признавая свое виртуальное поражение, гораздо раньше, чем это поражение станет заметно для профана¹. Он знает, что противник *должен* его победить. Никому не доставляет особого удовольствия воспользоваться неопытностью посредственного игрока. Наоборот, ему спешат подсказать неотразимый маневр, если он сам его не знает. Ибо игра — это прежде всего демонстрация превосходства, и удовольствие здесь возникает от того, что меряешься силами. Нужно чувствовать себя в опасности.

Математические теории, пытающиеся надежно, для любых ситуаций определить, какой фигурой или с какой карты ходить, не только не способствуют игровому духу, но разрушают его, лишая игру смысла. Скажем, простой игрой с легко исчислимыми комбинациями является «волк», в которого играют на обычной шахматной доске из шестидесяти четырех клеток одной черной и четырьмя белыми пешками. Теория этой игры проста. «Овцы» (четыре белых пешки) обязательно должны выиграть. Что же за удовольствие для

¹ Prost A. Jeux dans le Monde noir // Le Monde noir. № 8–9 de Présence africaine. P. 241–248.

игрока, знающего эту теорию, и дальше играть в «волка»? Подобный анализ, разрушительный именно в силу своего совершенства, существует и для других игр, например для вышеупомянутых такена или багнода.

Не очень вероятно, но возможно и теоретически, быть может, даже обязательно, что существует некая абсолютная шахматная партия — то есть такая, где от первого до последнего хода неэффективен никакой защитный ход, так как даже лучший из них автоматически нейтрализуется на следующем ходу. С рациональной точки зрения, не исключена гипотеза, что некая электронная машина, перебрав все мыслимые разветвления игры, в конце концов составит эту идеальную партию. Тогда люди перестанут играть в шахматы. При этом самый *факт* первого хода уже будет означать выигрыш или, может быть, проигрыш партии¹.

Итак, математический анализ игр представляет собой часть математики, которая имеет к играм лишь случайное отношение. Он существовал бы и тогда, когда бы не существовало игр. Он может и должен развиваться вне игр, сам придумывая себе сколько угодно сложные и еще более сложные ситуации и правила. Но он не может иметь ни малейшего воздействия на самую природу игры. Действительно, либо анализ приводит к достоверному прогнозу, и тогда игра утрачивает свой интерес, либо им устанавливается некоторый коэффициент вероятности, и тогда он дает лишь более рациональную оценку риска, на который игрок может пойти или не пойти, в зависимости от своей осторожной или же смелой натуры.

Игра — это тотальный феномен. Она затрагивает весь комплекс человеческих дел и устремлений. Оттого немного таких дисциплин — будь то педагогика, математика, история или социология, — которые не могли бы плодотворно изучать ее под тем или иным углом зрения. Но какова бы ни была теоретическая или практическая ценность результатов, получаемых в той или иной частной перспективе, эти результаты будут оставаться лишенными смысла и настоящего значения, если их не истолковывать по отношению к центральной проблеме, которую ставит перед нами нераздельный мир игр и из которой вытекает изначально интерес, какой они могут представлять.

¹ Обычно признается, хотя доказательств тому нет, что право первого хода является реальным преимуществом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

К ГЛАВЕ II. КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР

С. 58. *Mimicry у насекомых*. Воспроизвожу здесь некоторые из примеров, приведенных в моей книге «Миф и человек» (с. 109–116).

«Бывают беззащитные животные, принимающие вид опасных особей, как в случае с шершневидной бабочкой *Trochilium*, похожей на осу *Vespa Crabro*: те же дымчатые крылышки, те же коричневые лапки и усики, те же брюшко и грудь в желто-черную полоску, то же мощное жужжание в лучах палящего солнца. Иногда мимикрирующее животное способно и на большие ухищрения: на теле гусеницы *Choerocampa Erenop* на четвертом и пятом кольцах есть два пятнышка в форме глаз, обведенных черной каймой; в момент опасности гусеница сокращает передние кольца, а четвертое сильно раздувается и становится похожим на змеиную голову, пугая ящериц и мелких птиц¹. Вейсман пишет², что, чувствуя опасность, бражник *Smerinthus ocellata*, в состоянии покоя обычно прячущий внутренние крылья, вдруг резко выпрастывает их, ошарашивая нападающего двумя огромными синими «глазами» на красном фоне³. При этом движении животное впадает в некое подобие транса. В спокойном состоянии оно похоже на свернутые сухие листья, а когда оно возбуждается, то цепляется за свою опору, разворачивает усики, выпячивает грудь, вбирает голову в плечи и надувает брюшко,

при этом дрожа и вибрируя всем телом. Опасность миновала — оно постепенно замирает. Опыты Штандфуса доказали действительность такого поведения, отпугивающего синицу, малиновку и обычного (но не серого) соловья¹. С развернутыми крыльями бабочка кажется головой огромной хищной птицы...»

В изобилии представлены и примеры гомоморфизма: «круглые крабы похожи на круглые камешки, *chlamys* на зерна, *moenas* на гравий, креветки палеоны — на коричневые водоросли, а рыба *Phylopteryx*, обитающая в Саргассовом море, представляет собой «растрепанные водоросли, напоминающие плавающие кожаные ремешки»², так же как *Antennarius* и *Pterophryne*³. осьминог вбирает в себя щупальца, выгибает спину, меняет цвет и уподобляется камню. Внутренние зелено-белые крылья пиериды-авроры изображают зонтичные растения; наросты, узелки и бороздки на туловище *lichnée mariée* делают ее неотличимой от коры тополя, на которой она живет. *Lithinus nigrocristinus* с Мадагаскара и флатоиды неотличимы от лишайников⁴. Известно, насколько развита мимикрия у богомоловых, чьи лапки похожи на цветочные лепестки и венчики, подобно цветам они покачиваются на ветру⁵. *Cilix compressa* похожа на птичий помет, *Cerodeylus laceratus* с острова Борнео — на палку, заросшую мхом, благодаря своим слоистым светло-оливковым бугоркам. Последний вид относится к семейству палочников; обычно они «цепляются за лесные кустарники и по странной привычке неравномерно вытягивают висящие лапки, так что распознать их еще труднее»⁶. К тому же семейству относятся палочники в форме веточек. *Ceroys* и *Heteropteryx* похожи на сухие ветки, а полужесткокрылые шлемовые горбатки, обитающие в тропиках, — на древесные почки или шипы, как, например, маленькое насекомое-колючка *Umbonia oro zimbo*. Когда гусеница-землемерка встает во весь рост и замирает, ее не отличить от отростка на ветке кустарника, чему в большой степени помогает ее шероховатый кожный покров. Всем известны пустотелы, похожие на листья. Они близки к идеальному гомоморфизму некоторых бабочек, например *Oxudia*, которая садится на конце ветки перпендикулярно к ней, внешние крылья складывает домиком и имитирует верхний листок; сходство допол-

¹ CUÉNOT L. La genèse des espèces animales. Paris, 1911. P. 470 et 473.

² Vorträge über Descendenztheorie. T. I. P. 78—79.

³ Такое устрашающее превращение происходит автоматически. Возникает аналогия с кожными рефлексом, которые необязательно скрывают животное, но иногда придают ему устрашающий вид. Кошка, столкнувшись с собакой, вздыбливает шерсть и становится страшной именно потому, что испугана сама. Ледантек, сделавший это замечание (Le DANTEC. Lamarckiens et Darwiniens. Paris, 1908. P. 139), точно так же объясняет явление «мурашек по телу» в минуту сильного испуга, сохраняющегося у человека, несмотря на то что шерсть больше не встает дыбом, поскольку исчез волосаяной покров.

¹ STANDFUSS C.F. Beispiel von Schutz und Trutzfärbung // Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. XI (1906). P. 155—157; VIGNON P. Introduction à la biologie expérimentale. Paris, 1930 (Encycl. Biol. T. VIII). P. 356.

² MURAT L. Les Merveilles du monde animal. 1914. P. 37—38.

³ CUÉNOT L. Op. cit. P. 453.

⁴ Ibid. Fig. 114.

⁵ LÉFEBVRE A. In: Ann. de la Soc. entom. de France. T. IV; BINET L. La vie de la mante religieuse. Paris, 1931; VIGNON P. Op. cit. P. 374 sq.

⁶ WALLACE. La sélection naturelle. (Trad. franç.) P. 62.

няется тонкой темной полоской, идущей через все четыре крыла и похожей на основную листовую прожилку¹.

Существуют еще более изощренные виды мимикрии у насекомых, чьи внутренние крылья снабжены тонким отростком, похожим на черенок, «помогающий им как бы приблизиться к миру растений»². Два развернутых крыла образуют вместе копьевидный овал, словно у листка, и здесь также пятно, на этот раз продольное, переходящее с одного крыла на другое, играет роль срединной прожилки; таким образом, «под воздействием органомоторики... каждое крыло крайне тщательно устроено, ибо представляет собой законченную форму не по отдельности, а только вместе с другим крылом»³. Так выглядят *Coenophlebia archidona* из Центральной Америки⁴ и различные виды индийских и малайзийских бабочек *Kallima*...⁵

(Другие примеры: «Миф и человек», с. 99–101.)

С. 61. *Головокружение в мексиканской игре «volador»*. Фрагмент из описания Ги Стрессер-Пеана (STRESSER-PEAN G. Op. cit. P. 328).

«В свой черед поднимается наверх и предводитель пляски, или K'ohal, одетый в красно-синюю тунику, и усаживается на вершущке. Обратившись к востоку, он сначала взывает к благодатным богам, простирая в их сторону свои крылья и свистя в свисток, имитирующий орлиный клекот. Потом он выпрямляется на вершине шеста. Поворачиваясь поочередно на все четыре стороны, он протягивает к ним накрытый белой тряпичей тыквенный кубок, а также бутылку водки, из которой он набирает в рот несколько глотков и выдувает их перед собой в более или менее распыленном виде. Совершив это символическое подношение, он надевает себе на голову султан из перьев и начинает танец на все четыре стороны, махая крыльями».

«Эти церемонии, осуществляемые на вершущке шеста, обозначают ту фазу, которую индейцы рассматривают как самую волнующую часть церемонии, потому что она содержит в себе смертельный риск. Но весьма зрелищной является и следующая за нею фаза «полета». Четверо танцоров, привязавшись за пояс, вылезают за поручни, а потом откидываются назад. Повиснув таким образом, они медленно опускаются до земли, описывая широкую спираль, по мере того как разматываются их веревки. Трудность для них состоит в том, чтобы цепляться за эту веревку пальцами ног, держась головой вниз и расставив руки, в позе птиц, планирующих вниз и описывающих широкие

¹ RABAUD Cf. *Éléments de biologie générale*. 2^e éd. Paris, 1928. P. 412. Fig. 54.

² VIGNON P. Op. cit.

³ Ibid.

⁴ DELAGE, GOLDSMITH. *Les Théories de l'évolution*. Paris, 1909. Fig. 1. P. 74.

⁵ КАЙУА Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003. С. 87–90. Перевод Н. Бунтман. — *Примеч. пер.*

круги в небе. Что же до предводителя, то он сперва несколько выжидает, а потом соскальзывает по веревке одного из четырех танцоров».

С. 65. *Радость от разрушения у обезьяны-капуцина*. Из наблюдений Г.-Ж. Романа, цит. у К. Грооса:

«Замечаю, что ему очень нравится делать пакости. Сегодня он завладел винной рюмкой и рюмкой для яйца. Винную рюмку он изо всех сил швырнул на землю и, естественно, разбил. Заметив, что рюмку для яиц ему не удастся разбить о землю, он сначала стал искать вокруг себя что-нибудь твердое, обо что можно было бы ею ударить. Подходящей для этого ему показалась медная ножка кровати; он размахнулся рюмкой над головой и нанес ею несколько сильных ударов. Разбив ее вдребезги, он был явно доволен. Чтобы сломать палку, он вставляет ее между какой-нибудь тяжелой вещью и стеной, потом сгибает ее и переламывает. Иногда он портит какой-нибудь предмет туалета, тщательно вытягивая из него нитки, а потом начинает терзать его зубами как можно более яростно.

Параллельно с этой потребностью в разрушении он также очень любит опрокидывать вещи, но при этом следит, чтобы они не обрушились на него. Так, он тянет на себя стул, пока тот не потеряет равновесие, потом внимательно смотрит на вершущку спинки, и когда заметит, что она валится прямо на него, выскакивает из-под нее и радостно ожидает падения. Так же он поступает и с более тяжелыми предметами. Скажем, у нас есть туалетный столик с тяжелой мраморной доской, и ему несколько раз с большим трудом удавалось его опрокинуть, ни разу при этом не поранившись»¹.

С. 67. *Развитие игровых автоматов. Вызываемая ими тяга*

Существует категория игр, основанных главным образом на повторении. Наблюдателя неизменно поражает их бесплодная монотонность, видимое отсутствие интереса. Еще более странным этот феномен делается из-за чрезвычайной широты круга играющих в такие игры. Я имею в виду пасьянсы, которые праздные люди раскладывают вновь и вновь, и игровые автоматы, чья практически мировая популярность задает не меньше загадок для ума.

В пасьянсах еще можно различить какой-то признак интереса, не столько из-за скудных комбинаций, между которыми может иногда колебаться игрок и которые не дают ему никакой тренировки в трудных или захватывающих вычислениях, — но потому, что каждой партии игрок приписывает смысл гадания. Перед началом игры, перетасовав карты и прежде чем «снимать» их, игрок задает сам себе некий вопрос или формулирует желание. Успех или неудача пасьянса дают ему как бы ответ судьбы. Впрочем, он волен играть снова, пока не получит благоприятный ответ.

¹ ROMANES G. J. *Intelligence des animaux*. Paris: F. Alcan. T. II. P. 240, 241.

Эта функция оракула, в которую, впрочем, редко кто верит, все же служит для оправдания деятельности, которая без этой уловки едва ли была бы способна развлекать. Тем не менее она остается самой настоящей игрой, потому что это именно свободное действие, осуществляемое внутри определенного пространства (в данном случае — что одно и то же — с помощью фиксированного набора элементов), подчиненное произвольным правилам, наконец совершенно непроеизводительное.

Те же признаки применимы и к игровым автоматам, потому что закон, более или менее строго в разных странах, но всегда одинаково заботливо, запрещает, чтобы свойственная этим машинам притягательность сочеталась еще и с тягой к наживе. Из четырех движущих сил, по которым мне как будто удалось разделить все множество игр (доказательство личного превосходства, искание милостей от судьбы, роль, исполняемая в фиктивном мире, и сладость сознательно вызываемого головокружения), к игровым автоматам не подходит ни одна, разве что в самой ничтожной степени. Удовольствие от соревнования здесь слабое, потому что возможности игрока воздействовать на игру сведены ровно к такому минимуму, чтобы игра не была чистой азартной игрой. Тем самым одновременно отводятся и вторая категория игр — самоотдача на волю судьбы эффективна лишь тогда, когда она полная, при отказе от малейших возможностей изменить и подправить эту волю. Что до симуляции, на первый взгляд совершенно отсутствующей, то ее роль все-таки заметна, хотя и в чрезвычайно размытом виде, — прежде всего из-за огромных и чисто фиктивных цифр, которые всплывают на разноцветных табло (показательно, что попытки ввести более реалистичные цифры потерпели самую плачевную неудачу), а также из-за нарисованных на автомате полуодетых, изысканных или диких девиц, гоночных машин и моторных лодок, корсаров и старинных кораблей с пушками на борту, космонавтов в скафандрах и межпланетных ракет; все эти нелепые зазывные картинки, пожалуй, и не внушают никакого самоотжествления, пусть даже мгновенного, но все-таки создают атмосферу грезы, достаточную для того, чтобы отвлечь игрока от монотонности повседневного быта. Наконец, хотя обстановка кафе чрезвычайно мало способствует головокружению, а данное развлечение представляет собой, вероятно, одно из наименее трудных, какие только можно вообразить, все же есть тут какой-то гипноз, словно под давлением тяжелого, заряженного желанием взгляда, ибо нужно непрерывно всматриваться в мигающие лампочки и магически подгалкивать сквозь препятствия блестящий шарик.

Впрочем, бывает, что в искомом удовольствии первое место занимает именно головокружение. Я имею в виду устрашающий успех игровых автоматов-«патинко» в Японии. В них нет ни кнопок, ни препятствий — одни лишь стальные шарики, забрасываемые с силой и грохотом в спиральный коридор на виду у игрока. Чтобы было больше шума и движения, игрок почти всегда запускает сразу несколько шариков. Автоматы

составлены бесконечными рядами, без всякого промежутка, так что игроки сидят бок о бок, образуя своими лицами другой, параллельный ряд. Стоит оглушительный грохот, а блеск шариков поистине гипнотичен. Здесь игроки получают именно головокружение и одно лишь головокружение, но только низшего и пустого разряда; его не нужно преодолевать, да, собственно, игра вовсе и не заключается в его преодолении. Это просто зачаровывающий эффект шума и блеска, который нарастает сам собой и как бы приручает головокружение, сводит его к неподвижному, оцепенелому созерцанию катящегося за стеклом шарика. Видимо, именно это и требовалось, чтобы обеднить головокружительные игры, сделать их механически хилыми, свести их к размерам плоского ящичка, тогда как в принципе они самые опасные из всех и требуют пространства, сложной машинерии и больших затрат энергии. Если не считать того, что ярмарочные машины дают это головокружение в вырожденной форме, они все же требуют от посетителя, опьяненного скоростью, словно подстегиваемый в своем вращении волчок, некоторой бесстрашно-невозмутимой ясности духа, исключительного нервно-мышечного самообладания, непрерывной победы над чувственно-утробной паникой.

Таким образом, игровые автоматы, с какой бы стороны их ни рассматривать, даже в самых аберрантных и, в известном смысле, пароксистических своих аспектах образуют как бы игру низкой степени. В ней не участвуют личные способности игрока. Он не ожидает разорения или обогащения от судьбы: каждую партию он оплачивает по единому тарифу. Ему нужно слишком много воображения, чтобы представить себя участником романического мира, изображениями которого украшена машина, — отчуждение здесь ничтожно или даже вовсе не происходит. Наконец, головокружение сохраняется только в том отношении, что трудно остановиться, прервать эту машинальную деятельность, которая воздействует лишь своей монотонностью, вызывающей паралич воли.

Другие времяпрепровождения не всегда бывают столь малосодержательными. Они даже открыто апеллируют к тем или иным способностям тела, ума или души. Игра в бильбоке требует ловкости; солитер и такен — предвидения; кроссворд и математические досуги — размышления и знаний; спортивные тренировки — упорства и выносливости. Во всех этих случаях имеет место усилие, попытки действовать умело — то есть прямая противоположность того почти полного автоматизма, которым, по-видимому, довольствуются пользователи игровых автоматов. Между тем игровые автоматы несомненно характерны для определенного стиля жизни, который процветает ныне. Их можно встретить главным образом в общественных местах — вероятно, потому, что зрители, комментирующие игру и ожидающие своей очереди, своим присутствием придают некоторое возбуждение этой деятельности, довольно скучной самой по себе. Многочисленные виды таких машин почти полностью заменили в кафе те игры, которые процветали там лет пятьдесят назад и привлекали туда завсегда: карты, трикстрак, бильярд.

Я уже упоминал о Японии: так вот, там сосчитали, что в годы наивысшего успеха «патинко» на жетоны, опускаемые в их прорези, тратилась сумма, равная 12% национального дохода. Невероятные масштабы принимает мода на игровые автоматы и в Соединенных Штатах. Это настоящее наваждение. По результатам расследования, проведенного комиссией американского сената в марте 1957 года, 25 марта в печати появились следующие данные:

«В 1956 году было продано 300 000 игровых автоматов, изготовленных на 50 заводах, на которых работают 15 000 человек и большинство из которых находятся в окрестностях Чикаго. Эти машины популярны не только в Чикаго, Канзас-Сити или Детройте — не говоря о Лас-Вегасе, столице игорного бизнеса, — но также и в Нью-Йорке. Каждый день и каждую ночь в самом центре Нью-Йорка, на Тайм-сквер, американцы всякого возраста, от школьников до стариков, спускают за час свои карманные деньги или недельную пенсию, в напрасной надежде выиграть бесплатную партию. Бродвей, дом 1485: гигантская вывеска „Playland“ своими неоновыми буквами затмевает вывеску китайского ресторана. В огромном зале без дверей выстроены в безупречном порядке десятки разноцветных игровых автоматов. Перед каждым из них стоит удобный кожаный табурет, похожий на сиденье в самых элегантных барах на Елисейских полях и позволяющий игроку просиживать часами, если он пришел с достаточной суммой денег. Перед ним даже есть пепельница и место для хот-дога и кока-колы — этой национальной пищи экономически малообеспеченных жителей Соединенных Штатов, которую можно заказать прямо не сходя с места. Введя в автомат монету в 10 центов (40 франков) или 25 центов (100 франков), игрок пытается набрать сумму очков, достаточную для выигрыша десяти пачек сигарет. Действительно, в штате Нью-Йорк запрещены денежные выигрыши. Стоит адский шум, перекрывающий граммофонные голоса Луи Армстронга или Элвиса Пресли, которыми аккомпанируются усилия „монетных спортсменов“, как их называют здесь. Молодые парни в синих джинсах и кожаных куртках соседствуют со старушками в шляпках с цветами. Парни выбирают машины, изображающие атомный бомбардировщик или управляемую ракету; старушки возлагают свои руки на „love meter“¹, показывающий, могут ли они еще влюбиться, в то время как дети за 5 центов раскачиваются до тошноты на осле, скорее похожем на зебу. Есть еще моряк и летчик, которые не очень убедительно палят из револьвера (репортаж Д. Моргена)».

Подсчитано, что американцы тратят таким образом четверста миллионов долларов в год единственно на то, чтобы проталкивать никелированные шарики на светящиеся огоньки сквозь различные препятствия. Как легко себе представить, эта страсть

¹ «Любвиметр» (англ.). — Примеч. пер.

неизбежно влияет на подростковую преступность. Так, в апреле 1957 года в американских газетах сообщалось об аресте в Бруклине группы детей под предводительством десятилетнего мальчика и двенадцатилетней девочки. Они грабили местных торговцев и награбили уже около тысячи долларов — причем брали только монеты в 10 и 5 центов, которые можно было использовать в игровых автоматах. Бумажные купюры они использовали лишь для завертывания добычи, а затем выбрасывали в мусорный бак.

Дать объяснение подобному увлечению нелегко. Однако такие объяснения существуют — пожалуй, скорее хитроумные, чем убедительные. Пожалуй, самое тонкое (и самое показательное) из них дает г. Джулиус Сигал в статье под названием «The Lure on Pinball»¹ (Harper's. Октябрь 1957. Т. 215. № 1289. С. 44–47). Эта статья представляет собой одновременно личное признание и анализ. Воспроизвожу здесь свой тогдашний комментарий к ней. Сделав непереносимые указания на сексуальную символику игровых автоматов, автор выделяет даваемое ими чувство победы над современной техникой. Игроку кажется, что, запуская шарик, он рассчитывает его путь, и этот псевдорасчет мало что дает ему в реальности, но кажется ему чем-то великолепным. «Ему кажется, что он в одиночку, вооруженный одним лишь своим умением, играет против всех сил американской индустрии». Таким образом, игра оказывается чем-то вроде соревнования между ловкостью индивида и грандиозной безликой машинерией. За одну (реальную) монетку игрок надеется получить выигрыш в миллионы (фиктивные), так как счет всегда объявляется во многозначных цифрах.

Наконец, у него должна быть возможность плутовать, встряхивая аппарат. Tilt² обозначает лишь предел, которого нельзя переступить. Это сладостная угроза, дополнительный риск, своего рода вторичная игра, накладываемая на первичную.

Г-н Джулиус Сигал делает любопытное признание, что в момент депрессии он иногда делает крюк в полчаса — к своей любимой машине. И играет, веря в «целебную возможность выигрыша». Выходя, он вновь уверен в своем таланте и своих шансах на успех. Отчаяние исчезло, агрессивность утихла.

Поведение игрока перед игровым автоматом кажется ему столь же симптоматичным для склада личности, как тест Роршаха. Если ему верить, каждый игрок старается доказать себе, что он может победить машины на их собственном поле. В своем воображении он господствует над механикой и накапливает огромные богатства, высвечиваемые на табло. Он достигает этого успеха в одиночку и может повторять его сколько угодно раз. «Ценой мелкой монетки он экстериоризирует свое раздражение и добивается послушания со стороны мира».

¹ «Соблазн автоматического бильярда» (англ.). — Примеч. пер.

² Наклон (англ.). — Примеч. пер.

В свое время я изложил статью г. Сигала, не обсуждая ее. Однако я думал и об этом. В самом деле, мне кажется, что большинство пользователей игровых автоматов мало походят на г. Сигала и, в частности, вовсе не испытывают такого же мстительного возбуждения, когда приводят в движение пружину аппарата. В его признаниях, пожалуй, больше воображения, чем наблюдения — как будто рассказчик приукрашивает привычку, которой сам, вероятно, стыдится, и усердно приписывает ей всякие психологические глубины, способные сделать ее привлекательной и как бы respectable или же гигиенически полезной. Игровой автомат с трудом может являть собой образ побежденного и повинующегося мира механики; он отнюдь не слушается и успокаивает, а раздражает своей непреклонностью. Обычно игрок не столько торжествует, сколько нервничает. Он уходит от машины ни с чем, в ярости от того, что безрезультатно истратил деньги, озлобленный на ни в чем не повинный аппарат, ребячески обвиняя его в том, что он разлажен и неправильно работает, одним словом, что он довел его до проигрыша. В действительности он чувствует себя обманутым. Уходя от машины, он чувствует не примирение с собой, а горечь и злость на себя. Написанные на световом табло миллионы исчезли, и он знает, что стал еще немного беднее, чем был. Подозреваю, что в случае г. Сигала терапевтическим моментом, который он так подчеркивает, явилась не сама игра, а рассуждения по ее поводу.

Для человека, убежденного в культурной продуктивности игр и даже видящего в них один из главных факторов цивилизации, существование и популярность игровых автоматов неизбежно указывают на пробел в его системе. Отныне ему придется принимать их в расчет. Он уже определил, что игры не в равной мере плодотворны, что одни из них больше других способствуют счастливому развитию искусств, науки и морали, поскольку в большей степени обязывают к соблюдению правил, к добросовестности, самообладанию, бескорыстию или же требуют больше расчетливости, воображения, терпения, ловкости или силы. Но вот теперь перед ним какие-то пустые, ничтожные игры, не требующие от игрока ничего и представляющие собой просто бесплодное проведение досуга. Такие игры буквально убивают время, не делая его плодотворным, тогда как настоящие игры подобны посеvu, который принесет урожай еще нескоро, почти случайно, во всяком случае без заранее установленной цели и как бы прилагаясь к удовольствию. Напротив, эти псевдоигры, в которых ничего не разыгрывается, лишь заменяют скуку замаскированной под развлечение рутиной.

Урок игровых автоматов, а отчасти и пасьянсов, в том, что наряду с такими играми, которые всегда представляют собой активность, мобилизацию того или иного ресурса или соревнование в хладнокровии, бывают еще и забавы-ловушки, которые помогают заполнить пустое время и внешне походят на игры. Они усиливают тенденцию к пассивности и отказу от себя. При этом они и не побуждают ум к пло-

дотворным блужданиям — тогда они сближались бы с другой формой игры, которая часто обладает специфическим названием в восточных языках и у которой есть особая эффективность в плане мечтаний и блужданий мысли. Данные же развлечения, называемые так по ошибке, напротив, замораживают и вызывают оцепенение воображения. Они приковывают внимание к опасной монотонности, которая варьируется ровно настолько, чтобы не наскучить, но при этом достаточно постоянна, чтобы усыплять и завораживать.

Ни моралисту, ни социологу невозможно заметить в такого рода ловушке благоприятный знак процветания. Возможно, это всего лишь расплата за неумеренный труд, который больше не позволяет индивиду проявлять достаточно инициативы и непринужденности, чтобы получаемая им разрядка оказывалась не обморочным оцепенением всех способностей, а вольно разворачивающейся интенсивной деятельностью — пусть в данный момент и непроизводительной, зато плодотворной в длительной перспективе, в ином плане, нежели трудовые обязанности.

К ГЛАВЕ IV. ИСКАЖЕНИЕ ИГР

С. 79. Азартные игры, гороскопы и суеверия. Вот для примера рекомендации Митуны в случайно выбранном номере произвольно взятого еженедельника для женщин («Мод дю жур», 5 января 1956):

«Когда я советую вам (со всеми оговорками, требуемыми обыкновенной логикой) предпочитать по возможности такую-то, а не иную цифру, то речь идет не только о последней цифре в числах, как это делают обычно... Я имею в виду и ту цифру, которая получается при приведении числа к единице. Например, 66 410 при приведении к единице дает $6+6+4+1=17=1+7=8$. Хотя в этом числе и не содержится цифры 8, его могут избирать те из вас, кому я предсказываю благоприятность восьмерки. Нужно приводить числа к единице — кроме чисел 10 и 11, которые при нашей процедуре следует брать в неизменном виде. А теперь я не говорю вам „удачи“. Но если (вдруг) вам придет успех, будьте так любезны сообщить мне эту приятную новость и указать вашу дату. Мои лучшие пожелания... тем не менее, и от всего сердца».

Обратим внимание на оговорки «автора» этой рубрики. Тем не менее, учитывая разнообразие приемов, многочисленность клиентов и небольшое число имеющихся цифр, ей всегда обеспечен солидный коэффициент неизбежных удач; разумеется, только их и запомнят те, кому они достались.

Вершиной в этой области мне представляется постоянный гороскоп в еженедельнике «Интимность (домашнего очага)». Как и в других, в нем даются советы на текущую неделю для родившихся под разными знаками зодиака. Но поскольку этот журнал предна-

значен для сельской местности и доставка по почте или бродячими торговцами может там оказаться медленной, то *ни гороскоп, ни номер журнала не датированы*.

С. 84. *Любовь к «наркотикам» у муравьев*. Наблюдения Киркалди и Джекобсона, цитируются по У. Мортону Уилеру (Op. cit. P. 310):

«Расположившись рядом с вереницей муравьев, идущих на поиски пищи, — распространённых в Индии муравьев *Nuroclypea bitubercolata*, — насекомое поджидает, когда кто-нибудь из них подойдет поближе, и тогда приподнимает переднюю часть туловища, открывая свои трихомы. Их запах привлекает муравья и побуждает лизать и покусывать их. Постепенно птилоцера опускается, просто складывая передние лапки над головой муравья, как будто наверняка завладевая добычей. Нередко муравей так жадно кусает трихомы своими жвалами, что все тело птилоцеры трясется сверху донизу. Но выделение этой железы обладает токсическим действием, парализующим муравья. Как только бедняга складывает лапки и хочет сесть, птилоцера хватает его передними лапками и просовывает хоботок сквозь один из его грудных швов или, еще лучше, в точку присоединения усика, и начинает высасывать внутренность тела. Паралич вызван именно веществом, всосанным муравьем из железы, а не раной, производимой хоботком птилоцеры; согласно Джекобсону, это „доказывается тем фактом, что когда сразу многие муравьи какое-то время лижут выделение из трихом, они отползают на некоторое расстояние от птилоцеры. Но очень скоро их поражает паралич, даже если их вовсе не касался хоботок птилоцеры. Таким образом оказывается убито куда больше муравьев, чем используется в пищу птилоцерами, и остается лишь изумляться плодовитости муравьев, позволяющей птилоцере взимать столь тяжкую дань с муравьиного сообщества“».

К ГЛАВЕ VII. СИМУЛЯЦИЯ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

С. 116. *Механизм инициации*. Из книги: JEANMAIRE H. Op. cit. P. 221–222.

«У племени бобо (Верхняя Вольта) имеется еще более простая система религиозных институтов, во многом сходная с системой, принятой у бамбара. Общим именем „до“ в этом регионе обозначают религиозные общества, члены которых маскируются уборам из листьев и растительных волокон и деревянными масками, изображающими звериные морды, а также божество, в честь которого совершаются данные церемонии и которому во многих деревнях или частях деревень посвящено дерево по соседству с колодцем, каковой также посвящен ему. Маски (*Koro*, мн. ч. *Kora*; *Simbo*, мн. ч. *Simboa*) изготавливают и носят юноши определенного возраста; в определенный момент право знать их тайну, носить их и обладать определенными привилегиями по отношению к непосвященным предоставляется мальчикам следующего возрастного

класса, когда они становятся большими и им надоедают преследования и притеснения со стороны масок; тогда они просят посвятить из в „тайны до“. Следуя советам деревенских стариков и после переговоров с предводителями старших возрастных классов, они добиваются принятия своих требований, с условием предвительно устроить пир для старших. Таким образом, обретение „до“, то есть открытие секрета масок, играет ту же роль, какую в других местах играют церемонии пубертатного возраста. Естественно, эти обычаи варьируются в разных поселениях. Из несколько путаных, но живописных и чрезвычайно живых рассказов, сообщенных информантами д-ра Кремера, мы возьмем лишь две схемы церемоний.

Согласно одной из них, которую легко вывести из согласующихся между собой свидетельств двух информантов, церемония открытия масок сводится к символике, которая, несмотря на свой крайне огрубленный характер, не лишена и некоторого величия. Если в деревенском квартале имеется много мальчиков одного возраста и роста, то старики объявляют, что настала пора выходить маскам. Предводитель „до“ сообщает уже посвященным юношам, что они должны изготовить и надеть костюмы из листьев, что и исполняется в ритуальном порядке. К делу приступают с самого утра. В конце дня ряженные пускаются в путь и усаживаются у деревенской околицы, ожидая наступления темноты; их окружают старшие. С наступлением темноты жрец „до“ призывает к себе родственников и неофитов, которые заранее запаслись традиционными подношениями и курами для жертвоприношения. Когда мальчики соберутся вместе, выходит жрец с топором в руке, которым он несколько раз ударяет о землю, чтобы созвать ряженных. Мальчиков заставляют лечь и укрывают им голову. Подбегает один из ряженных, начинает скакать вокруг мальчиков, пугая их звуками свистка, который называется „маленькой маской“. После чего старик приказывает мальчикам встать и поймать ряженного, который пускается наутек. Они преследуют и в конце концов ловят его. Старик обращается к ним: знаете, какое существо скрывается под этими листьями? Чтобы они это знали, ряженному открывают лицо, и мальчики сразу узнают его. Но их тут же предупреждают, что открыть секрет не знающим его — значит навлечь на себя смерть. По соседству как раз вырыта яма. Она разверзнется перед ними, если они нарушат обет, и одновременно это, по видимому, могила, где хоронят оставляемую ими детскую личность. Каждый мальчик должен символически бросить в яму несколько листьев, оторванных от костюма ряженного. Когда яму зароят, он запечатывает ее, хлопнув по ней ладонью. При обрядах выхода из места посвящения, которыми заключается вся церемония после жертвоприношения, ритуальное омовение сводится к минимуму: каждый мальчик на ходу погружает руку в сосуд с водой. Наутро юноши увидят новопосвященных в чашу и учат их плести и надевать костюм.

Таков обычай. Когда кому-то откроют секрет, он ходит живым; другой же, не знающий этого, неживой».

Matériaux d'Ethnographie et de Linguistique soudanaises. 1927. T. IV (по документам, собранным д-ром Ж. Кремером и опубликованным А. Лабуре).

С. 117. *Политическая власть Масок*. Случай племени куманг в Нигере, который А. Жанмер сближает с описанной у Платона («Критий», 120 В) церемонией взаимного суда десяти царей Атлантиды:

«Социальная власть находилась здесь не столько у наследственных деревенских вождей, сколько у предводителей „тайных обществ“ — орудий в руках Старших. Тайное общество в племени куманг (по-видимому, аналогичное „комо“ у бамбара), ныне пришедшее в упадок, оставило по себе любопытную легендарную память о совершавшихся в нем кровавых обрядах; эти обряды отправлялись каждые семь лет; на них допускались только Старшие, достигшие высшей степени в обществе, и место, где происходило празднество, было запретным для женщин, мальчиков и даже юношей. Старики, допущенные к участию в церемонии, должны были доставить для нее не только пиво, но и черного быка, предназначенного на заклание. Быка умерщвляли, поднимали и подвешивали к стволу пальмы. Кроме того, участники обряда должны были надеть церемониальный костюм, включавший в себя головной убор, штаны и куртку желтого цвета. Праздник открывался по указанию главы братства, и это объявление производило чрезвычайное возбуждение во всей округе; местом собрания служила лесная поляна; члены братства располагались вокруг председателя (mage), который восседал на шкуре черного барана, покрывавшей человеческую кожу. Каждый приносил с собой яды и магические снадобья (у бамбара — Korti). Первые семь дней были заняты жертвоприношениями, пирами и разговорами. Возможно, происходившие в это время беседы имели своей целью договориться о том, кого следует уничтожить. По истечении семи дней начиналась самая важная часть мистерии. Она осуществлялась у подножия священного дерева, считавшегося „матерью всех куманг“; его древесина действительно служила для изготовления масок куманг. У подножия дерева вырывали яму, на дне которой скрывался ряженный, его явление было, очевидно, явлением бога этого общества, и он носил облачение из перьев. В назначенный день, когда члены сообщества сидели в кружок лицом к центру, он ближе к вечеру начинал высовываться наружу. Певец-колдун подчеркивал это явление пением, а затем музыкой, и на это пение откликались члены братства. Ряженный начинал плясать; сначала он был маленьким, но мало-помалу вырастал. Вылезая из ямы, он плясал снаружи живого круга, а составлявшие его члены братства, сидя спиной к нему, аккомпанировали танцу этого демонического

существа, ударяя в ладоши; тот, кто обернется, должен был немедленно умереть. Вообще, как только ряженный, становясь все больше и больше ростом, начинал свой танец, продолжавшийся и ночью, смерть начинала поражать окрестное население. Танец длился три дня кряду, в течение которых маска отвечала оракулами на задаваемые ей вопросы; эти вопросы касались семилетнего периода, который должен был истечь до следующей такой церемонии; в конце трехдневного радения маска предсказывала также судьбу предводителя братства и объявляла, будет ли он присутствовать на следующем празднестве; отрицательный ответ означал, что тот должен более или менее скоро умереть в течение ближайших семи лет, и немедленно принималось решение о его замене. В любом случае, за эти дни погибало немало людей — либо в основной массе населения, либо в кругу старших».

(По книге: FROBENIUS K. Atlantis // Volksmärchen und Volksdichtungen Afrikas. T. VII. Dämonen des Süden, 1924. P. 89 sq.)

К ГЛАВЕ VIII. СОСТЯЗАНИЕ И СЛУЧАЙ

С. 141. *Интенсивность самоотжестствления с кинозвездой*. Пример: культ Джеймса Дина.

В 1926 году за смертью актера Рудольфо Валентино последовало множество самоубийств. В предместьях Буэнос-Айреса в 1939 году, через несколько лет после смерти певца танго Карлоса Гарделя, створившего в авиакатастрофе, две сестры завернулись в намоченные бензином простыни и подожгли их, чтобы умереть как он. Американские девочки-подростки, чтобы совместно поклоняться понравившемуся им певцу, собирались в шумные клубы под такими, например, названиями: «Падающие в обморок при виде Фрэнка Синатры». Ныне компания «Уорнер бразерс», где работал Джеймс Дин, безвременно ушедший из жизни в 1956 году в самом начале окружающего его культа, получает от его безутешных поклонниц около тысячи писем в день. Большинство этих писем начинается так: «Милый Джимми, я знаю, что вы не умерли...» Чтобы вести эту странную посмертную переписку, создан специальный отдел. Памяти актера целиком посвящены четыре журнала. Один из них называется «Джеймс Дин возвращается». Ходят слухи о том, что не было опубликовано ни одной фотографии его похорон; утверждают, что актер был изуродован и вынужден удалиться от света. Покойника вызывают на множестве спиритических сеансов — некоей продавщице из супермаркета по имени Джоан Коллинз он продиктовал свою длинную биографию, где утверждает, что не умер и те, кто говорит, что он не умер, правы. Эта книжка разошлась тиражом в пятьсот тысяч экземпляров.

Этот феномен взволновал опытного историка, внимательно-го к симптомам эволюции нравов, который пишет в одной из глав-

ных парижских газет: «На могилу Джеймса Дина приходят плакать чередой, как Венера плакала на могиле Адониса». Он уместно напоминает, что Дину было посвящено восемь фотоальбомов, напечатанных каждый тиражом в пятьсот–шестьсот тысяч экземпляров, и что его отец пишет его официальную биографию. «Психологи изучают его подсознание на материале его застольных речей, — продолжает автор. — В Соединенных Штатах нет такого городка, где бы не было своего клуба Джеймса Дина, в котором его верные обожатели совершают памятное причащение и почитают его реликвии». Число членов таких ассоциаций оценивается в три миллиона восемьсот тысяч. После смерти героя «его одежда была разрезана на мелкие кусочки и распродана по доллару за квадратный сантиметр». Машина, за рулем которой он разбился на скорости сто шестьдесят километров в час, «была восстановлена, и ее возили из города в город. Ее можно было созерцать за двадцать пять центов. За пятьдесят можно было посидеть несколько секунд за ее рулем. По окончании турне ее разрезали автогенном и кусочки продали с аукциона»¹.

С. 145. *Проявления головокружения в благоустроенных цивилизациях: события 31 декабря 1956 года в Стокгольме.* Сам по себе этот эпизод ничтожен и незначителен. Но он показывает, как непрочен установленный порядок в силу самой своей строгости и каким образом силы головокружения всегда готовы вновь взять верх. Ниже я воспроизвожу проницательный анализ корреспондентки газеты «Монд» в шведской столице:

«Как уже сообщалось в „Монд“, вечером 31 декабря пять тысяч молодых людей заполнили Кунгсгатан — главную улицу Стокгольма — и в течение более трех часов „держали улицу“, избивая прохожих, опрокидывая машины, разбивая витрины и, наконец, пытаясь соорудить баррикады из решеток и столбов, сорванных поблизости на рыночной площади. Другие группы юных вандалов опрокидывали старые надгробья, окружающие расположенную по соседству церковь, и сбрасывали с пересекающего Кунгсгатан моста бумажные пакеты с горящим бензином. На место спешно выехали все имевшиеся в наличии силы полиции. Но число их было ничтожно — всего около ста человек, — что делало их задачу трудной. Лишь после нескольких атак с саблями наперевес, после рукопашных схваток один против десяти полицейским удалось овладеть улицей. Несколько из них, избитых до полусмерти, пришлось доставить

в больницу. Арестовано около сорока манифестантов. Их возраст — от пятнадцати до восемнадцати лет. „Это самые серьезные беспорядки, когда-либо происходившие в столице“, — заявил префект полиции Стокгольма.

В прессе и среди ответственных лиц страны эти события вызвали волну негодования и беспокойства, которая еще далеко не утихла. Педагоги, воспитатели, церковь, многочисленные социальные органы, которые плотно опекают шведское общество, с тревогой задаются вопросом о причинах этого странного взрыва. Впрочем, сам по себе данный факт не нов. Такие же драки происходят каждый субботний вечер в центре Стокгольма и главных провинциальных городов. Однако эти происшествия впервые достигли таких масштабов.

В них есть что-то почти „кафкиански“ тревожное. Ведь эти движения происходят несогласованно и непредумышленно; это не манифестация „за“ что-то или „против“ кого-то. Необычным образом сходятся вместе десятки, сотни, а в прошлый понедельник — тысячи молодых людей. Они не знают друг друга, у них нет ничего общего, кроме возраста, они не подчиняются ни лозунгам, ни вождям. Они „бунтуют ни за что“, в самом трагическом понимании этих слов.

Для иностранца, видевшего, как в других краях мальчишки погибают за что-то, это побоище попусту кажется столь же невероятным, сколь и непонятым. Если бы хоть это была такая веселая штука дурного тона, чтобы „попугать буржуа“, — можно было бы успокоиться. Но лица у этих подростков замкнутые и злобные. Для них это не забава. У них ни с того ни с сего произошел взрыв молчаливо-разрушительного безумия. Ибо самое, быть может, впечатляющее в их толпе — то, что они молчат. Об этом уже писал в своей превосходной книжке о Швеции Франсуа-Режис Бастид:

„...эти праздные люди, которые в страхе от одиночества сходятся вместе, сбиваются в кучу словно пингвины, толкаются, ворчат и бранятся сквозь зубы, осыпают друг друга ударами без единого крика, без единого внятного слова...“

Если не считать пресловутого шведского одиночества и много раз описанной животной тоски, которую вызывают здешние длинные зимние ночи, начинающиеся в два часа пополудни и рассеивающиеся в утренней хмари около десяти часов утра, — в чем еще искать объяснение этого явления, отзвуки которого встречаются в иных формах у всех „зерен насилия“ Европы и Америки? Поскольку в Швеции данные факты отчетливее, чем в других местах, то, вероятно, объяснение, найденное здесь, могло бы быть применимо и к американским „вандалам рок-н-ролла“ и „дикарям на мотоциклах“, включая и лондонских „тедди-бойз“.

Прежде всего, к какой социальной группе принадлежат юные бунтари? Одетые, подобно своим американским собратьям, в кожаные куртки с изображением черепов и с каббалистическими надпи-

¹ ГАХОТТЕ P. D'Hercule à James Dean // Figaro. Само собой разумеется, что женские еженедельники всюду печатают фоторепортажи об этом герое и о безумном обожании, которым он окружен посмертно. См. также анализ этого феномена в уже цитированной выше книге: MORIN E. Les Stars. Paris, 1957. P. 119–131: «Le cas James Dean».

сами, они в большинстве своем — сыновья рабочих или мелких служащих. Работая учениками или продавцами, они для своего возраста получают такую зарплату, о которой могли только мечтать прежние поколения. Это относительное благополучие, а в Швеции и уверенность в обеспеченном будущем, снимают у них тревогу о завтрашнем дне и одновременно делают ненужным бойцовский дух, раньше необходимый для того, чтобы „пробиться в жизни“. В других странах, наоборот, к отчаянию ведет избыток трудностей, через которые нужно „пробиваться“, в мире, где каждодневный труд обесценен в пользу славы, окружающей киноактеров и гангстеров. И в том и в другом случае бойцовский дух, лишенный достойного поля применения, взрывается ни с того ни с сего в слепом и бессмысленном разгуле...»

(Эва Фреден, «Монд», 5 января 1957 г.)

К ГЛАВЕ IX. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

С. 147. Маска: атрибут любовной интриги и политического заговора; символ нищеты и тревоги; ее подозрительный характер.

В 1700-х годах во Франции маска служила придворной забавой. Она способствовала приятной двусмысленности. Но она продолжала тревожить и порой, у такого реалистического хроникера, как Сен-Симон, самым неожиданным образом открывала путь к фантастике, достойной Гофмана или Эдгара По:

«При Верю были убиты генерал-лейтенант Булинье и фельдмаршал Вартины — два достойнейших, но и весьма своеобразных человека. Прошлой зимой изготовили восковые маски нескольких придворных, точь-в-точь похожие, и их носили под другими масками, так что, когда первую маску снимали, можно было обмануться и принять вторую маску за лицо, тогда как под ним было совсем другое настоящее лицо; эта шутка много всех потешала. Нынешней зимой думали снова поразвлечься ими. Ко всеобщему удивлению, все эти точно похожие маски, спрятанные после карнавала, оказались словно нетронутыми, за исключением масок Булинье и Вартины, которые сохранили безупречное сходство, но выглядели бледными и осунувшимися, словно лица умерших. В таком виде они и появились на балу — и вызвали такой ужас, что их стали поддумывать, но румяна сразу же стирались, а вытянутость черт ничем нельзя было поправить. Мне это показалось необычайным и достойным упоминания; но я воздержался бы это делать, если бы весь двор не был, как и я, и притом несколько раз, изумленным свидетелем этого странного явления. В конце концов обе маски выбросили»

(Mémoires de Saint-Simon // Bibliothèque de la Pléiade. 1949. Т. II. Chap. XXIV (1704). P. 414–415).

В XVIII веке Венеция была отчасти цивилизацией масок. Маски служили в целом ряде обычаев, и их использование было регламентировано. Вот как описывается использование маски-бауты у Джованни Комиссо (*Les agents secrets de Venise au XVIIIe siècle, documents choisis et publiés par Giovanni Comisso. Paris, 1944. P. 37. Note 1*):

«Баута представляла собой нечто вроде накидки с черным капюшоном и маской. Слово это происходит от крика «бау-бау», которым пугали детей. В Венеции ее носили все, начиная с дождя, когда он хотел свободно пройти по городу. Ее должны были носить в общественных местах мужчины и женщины благородного звания, с тем чтобы сдерживать их роскошество и вместе с тем не позволять классу патрициев ронять свое достоинство при соприкосновении с простым народом. В театре привратники обязаны были проверять, что благородные люди входят с баутой на лице, но, войдя в зал, те могли оставлять или снимать ее по собственному усмотрению. Когда патриции должны были обсуждать государственные дела с послами, им также следовало носить бауту, и в этих обстоятельствах церемониал требовал того же самого и от послов».

Полумаска называлась «volto»; «zendale» — это черное покрывало, закутывающее голову; «tabarro» — это легкий плащ, который носили поверх другой одежды. Им пользовались при заговорах или же направляясь в дурные места. Чаще всего он был алого цвета. В принципе его запрещалось надевать знатным людям. Наконец, были еще маскарадные костюмы для карнавала, о которых Дж. Комиссо сообщает следующие подробности:

«Среди различных типов масок, какие носили на карнавале, имелись: gnaghe — мужчины, переодетые или нет женщинами, которые подражали высокому звуку некоторых женских голосов; tati, изображавшие как бы больших глупых детей; bernardoni, загримированные под нищих, пораженных всякими уродствами и недугами; pitocchi, одетые оборванцами. Во время карнавала в Милане Джакомо Казанова придумал оригинальный маскарад с pitocchi. Вместе с приятелями он оделся в очень красивые и дорогостоящие наряды, которые были в разных местах изрезаны ножницами, а эти прорезы залатаны кусочками других, также ценных тканей, но другого цвета («Записки», том V, глава XI) (Comisso G. Op. cit. P. 133; note 1).

Ритуально-стереотипный характер маскарада ясно ощутим. Еще недавно, в 1940-х годах, он проявлялся на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Среди современных писателей, которые удачнее других анализировали смятение, вызываемое ношением маски, на первое место может претендовать Жан Лоррен. Стоит воспроизвести вступительные размышления в начале сборника его повестей «Истории о масках» (Париж, 1900; предисловие Гюстава Кокьо также посвящено маскам, но малозначительно):

«Влекущая и отталкивающая тайна маски — кто сможет когда-либо показать ее технику, объяснить ее мотивы и логически вывести ту настоящую потребность, которой поддаются некоторые люди в определенные дни, потребность переодеваться, изменять свою личность, переставать быть собой; одним словом, ускользать от себя?»

Какие инстинкты, стремления, надежды, вожделения, какие душевные болезни скрываются за грубо раскрашенным картоном накладных носов и подбородков, под щетиной фальшивых бород, под блестящим шелком полумасок или белым полотном капюшонов? К какому опьянению гашишем или морфином, к какому самозабвению, к каким двусмысленным и скверным приключениям устремляются в дни балов-маскарадов эти жалкие и гротескные кортежи домино и кающихся?

Эти маски шумят, бурно двигаются и жестикулируют, и все же веселье их какое-то грустное; это не столько живые люди, сколько призраки. Подобно привидениям, большинство из них ходят завернутыми в длинные ткани, и, как у привидений, у них не видно лиц. Может быть, под этими накидками, за неподвижными лицами из бархата и шелка, скрываются зловещие вампиры? Может быть, под этими широкими клоунскими блузами — пустота, острые углы голых костей, задрапированных саваном? Скрываясь, чтобы смешаться с толпой, не оказывается ли этот народ уже вне природы и вне закона? Конечно же, он творит дурные дела — ведь он хочет сохранять инкогнито; он питает дурные и греховные помыслы — ведь он старается обмануть наши предположения и догадки; ошеломленную и растерянную улицу он наполняет своими зловеще-сардоническими выходками, шутками и криками, вызывает сладостный трепет у женщин, судорожные припадки у детей и нехорошие мечтания у мужчин, внезапно встревоженных неопределенным полом этих ряженных.

Маска — это смутный и смущающий лик неизвестного, это улыбка лжи, это самая душа извращенности, умело развращающая нас ужасом; это пряное сладострастие страха, томительно-сладостная случайность вызова, брошенного любопытству наших чувств: „А вдруг она уродлива? А вдруг он красавец? А вдруг он молод? А вдруг она старуха?“ Это галантная игра, приправленная смертью и с каким-то привкусом гнусности и крови; ибо кто знает, где закончится это приключение — в меблирашке или в особняке богатой дамы полусвета, а может быть и в префектуре полиции, ведь так прячутся и воры, чтобы совершать свои грабежи, и в масках, в их завлекательно-страшных лицах, есть что-то злодейское и кладбищенское; в их облике скрываются карманник, блудница и привидение».

(Histoires de Masques. P. 3–6.)

СТАТЬИ ПО СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ

СОЦИОЛОГИЯ ПАЛАЧА

Смерть палача

2 ФЕВРАЛЯ 1939 ГОДА:
СМЕРТЬ АНАТОЛЯ ДЕЙБЛЕРА
В ВОЗРАСТЕ 76 ЛЕТ

ЧИТАЯ ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ О СМЕРТИ Анатоля Дейблера, «исполнителя заплечных дел» Республики, можно подумать, что общество обнаружило существование своего палача лишь после его кончины. Во всяком случае, мало чья естественная смерть вызывала так много комментариев о жизни покойного — человека малоизвестного, который всю жизнь старался сделать так, чтобы другие о нем забыли, а те, со своей стороны, кажется, и сами хотели о нем забыть. Этот человек снес голову четыремстам себе подобным, но любопытство публики всякий раз обращалось на казнимого, а не на исполнителя казни. В отношении его существовало что-то даже большее, чем заговор молчания. Как будто некий таинственный и всемогущий запрет не позволял упоминать этого проклятого, как будто некое тайное и действенное препятствие не давало даже и помыслить об этом.

И вот он умер: о его смерти извещают ежедневные газеты заголовками на первой полосе, аршинными буквами. Они не жалеют места ни для лирических пассажей, ни для фотографий. Неужели в мире ничего не происходит, что столь много внимания уделяют обычному происшествию? А ведь сегодня под вопросом и, возможно, как раз решается судьба всей Европы¹. Нет, неважно. О карьере покойного и его предшественников повествуют в длинных статьях. Рассуждают о том, какое место он занимал в государстве. Толкуют о его профессиональных достоинствах, о его стиле, «ловкости рук». Не упускают никаких подробностей его частной жизни, характера и привычек. Ни одна такая деталь не считается недостойной читательского интереса. Странно, как много огласки придается происшествию, о котором, казалось

¹ Имеется в виду территориальная экспансия Германии перед Второй мировой войной — аннексия Судетской области в 1938 году и окончательный захват Чехословакии в марте 1939-го. — *Примеч. пер.*

бы, нормально было известить скромной заметкой из нескольких строк. Объяснять эту избыточность нездоровым любопытством публики, требующей от журналистов свою ежедневную порцию, было бы упрощением, и в любом случае это не избавляло бы от необходимости поразмыслить о *нездоровой* природе такого любопытства, задаться вопросом о его причине, функции, цели, выяснить те *темные* инстинкты, которым оно отвечает. В данном же случае возможно и большее: ведь сведения, публикуемые о покойном палаче, действительно незаурядны. Многие из них, по-видимому, порождены скорее воображением журналистов, чем полученной ими надежной информацией. Это тем более примечательно, что различные газеты, несмотря на очевидные противоречия, обычно проявляющиеся между ними при сравнении, рисуют сходный образ палача. В зависимости от пишущего, этот образ составляется из неодинаковых элементов, но в итоге их взаимная организация всякий раз изображает лицо с одним и тем же выражением, как будто воображением всех писавших непреодолимо владела одна и та же схема, как будто их всех заворачивала одна и та же фигура и они старались воссоздать ее кто как умел, более или менее произвольными чертами. Задача в том, чтобы реконструировать эту идеальную, столь убедительную модель. С самого начала ясно, что задача эта не лишена интереса, так как мы сразу же сталкиваемся с неожиданной трудностью: авторы публикаций не так согласны между собой в отношении фактов, как в отношении их легендарного ореола; их изложения взаимно опровергают друг друга, когда речь идет о реально наблюдаемом, материально-историческом событии — смерти некоего старика рано утром на станции метрополитена, зато они подкрепляют друг друга во всем том, что не поддается проверке, что они добавляют от себя к этому чистому событию. Вообще говоря, мы не предполагали, что реальность окажется такой зыбко-размытой, а воображаемое — таким стойким и четким.

Тому, что версии происхождения не согласуются между собой, не приходится сильно удивляться. Было бы абсурдно требовать от журналистов больше, чем они могут дать. У них нет ни времени, ни средств работать как историки. Но все же поразительно, что в отношении всего остального они словно в силу какой-то предначертанной гармонии пришли к такому согласию. Возможно, они черпали из одного и того же источника¹, но мало того что в их рассказах приводятся далеко не одинаковые подробности — подобное объяснение никак не делает понятнее впечатляющее тождество комментариев, которыми эти подробности сопровождаются.

¹ Вероятнее всего — из мемуаров Дейблера, напечатанных в «Пари-суар». Впрочем, эти мемуары уже изначально стилизованы, так как писал их журналист, снявший себе комнату в доме палача, чтобы записать его воспоминания для газеты.

Прежде всего, можно отметить, сколь систематически стараются противопоставить характер палача его должности. Поскольку эта должность наводит страх, то самого человека представляют застенчивым и боязливым. Его виллу сравнивают с казематом на линии Мажино¹, так много в ней приспособлений, обеспечивающих безопасность. Рассказывают, что однажды, когда из министерства юстиции за ним по срочной надобности прислали автомобиль, он отказался в него сесть и вызвал такси, а посланным от министра сказал: «Извините, но я никогда не доверяюсь незнакомым людям»². Его ремесло — торжественно-суровое, самого же палача описывают как непринужденно-любезного. Каждое утро он гулял с собачкой, во второй половине дня любил ездить на ипподром, заказывал из кафе аперитив, когда ему это позволял желудок; был охотник перекинуться в маниюль³, выглядел как мелкий рантье⁴ или пенсионер⁵; у него было «кое-какое имущество»⁶. Он жил как аккуратный чиновник, как «добрый отец семейства»⁷. Соседи звали его «господин, что встает на рассвете»⁸, — по-видимому, без всякой задней мысли, так как общающийся данную подробность журналист вроде бы не сознает зловещей двусмысленности этого выражения (палач делает свою работу рано утром). Он занимался самой безжалостной профессией на свете — а ему приписывают сердечную чувствительность, готовность всегда оказать услугу ближнему и помочь бедным⁹. Его человеколюбивым нравом объясняют усовершенствования, внесенные им в устройство гильотины¹⁰. Ремесло у него мрачное, жестокое, кровавое — а его показывают преданным исключительно угонченным и деликатным занятиям¹¹. Любитель и творец красоты, он с ревностной заботой занимался выращиванием редких сортов роз, лепил и обжигал художественную керамику¹². В приватной сфере он терпел больше мук, чем причинял публично: его пятилетний сын умер из-за ошибки аптекаря, его дочь состарилась, так и не найдя се-

¹ Укрепленная линия на восточной границе Франции, построенная в 1920–1930-х годах. — *Примеч. пер.*

² «Фигаро» (нет сомнения, что это выдумка: смертная казнь не совершается «по срочной надобности»).

³ «Эксельсиор».

⁴ «Фигаро».

⁵ «Пари-суар».

⁶ «Энтрэнсижан».

⁷ «Пари-суар» (заголовок).

⁸ «Пари-суар» (подзаголовок).

⁹ «Фигаро».

¹⁰ «Фигаро», «Энтрэнсижан» и др.

¹¹ «Фигаро».

¹² «Эксельсиор».

бе мужа, и вела «жизнь, полную преследований». Как многое омрачало дни этого палача, сколько пыток он испытал в своей семейной жизни!¹

Этот контраст разрабатывается так настойчиво, что иногда ведет к самым прихотливым ассоциациям: так, один из комментаторов высказывает предположение, будто этот человек, занятый смертоносным ремеслом, мог потому выбрать себе для жилья улицу Клода Террасса, что она носит имя веселого музыканта². В большинстве случаев тема смерти палача, с ее двойным похоронным смыслом, дает повод пишущим посмеяться публику подобающими случаю шутками или же напоминанием острот, посвященных этой профессии. Например, кто-то замечает, что в ремесле палача не бывает «мертвого сезона»³. Попыткам освободиться кощунством от тревоги, для чего в подобных случаях постоянно служит смех, задает тон следующий комический анекдот, богатый абсурдными подробностями. У одного палача из династии Сансонов, служившего при Людовике XV, была настолько легкая рука, что, как говорили, при его работе осужденный ничего даже не чувствовал. Когда он казнил Лалли-Толлендаля⁴, тот нетерпеливо спросил: «Ну чего ты еще ждешь?» И Сансон ответил следующими словами, чей комизм вырастает непосредственно из ужаса и объясняется тем, что слова обращены к трупу: «Уже все, сударь. Взгляните сами»⁵. Однако Дейблера изображают совершенно равнодушным или даже враждебным к рассказам о палачах и казнях. Англичанину, преподнесшему ему собрание книг на эту тему, он вернул ее назад с высокопарно-торжественными словами: «Во всем, что касается исполнения его должности, палач не должен уметь читать»⁶.

И наоборот, в противоположность этим историкам, наблюдается тенденция подчеркивать сугубо мрачный характер экзекутора. Описав было его жизнь как тихую и мирную, ее тут же изображают ужасной. Тем самым он становится, как гласит заголовок одной из статей, «палачом, жившим двойной жизнью»⁷. С самого детства он жил обособленно от других. В школе ремесло его отца, о котором он якобы не знал, обрекало его на изоляцию. Однокашники

травили его, оскорбляли, не пускали в свои игры¹. В конце концов они объяснили ему, что за «проклятие» над ним тяготеет. Для него это был страшный удар. Потом, сделав свою отверженность предметом гордости, он стал играть в обезглавливание своих товарищей и всячески наводил на них страх². Позднее, когда он начал искать себе работу, его предложения сразу же отклоняли, едва заслышав его имя, «отмеченное кровавой печатью»³. По ночам он просыпался от криков страдавшего галлюцинациями отца: «Кровь! Кровь!»⁴ Вскоре тот подал в отставку со своей должности: во время казней он чувствовал себя залитым кровью, хотя на самом деле оставался таким же чистым, как судейские рядом с ним⁵. Никто не соглашался отдать свою дочь замуж за сына палача. Он попросил руки дочери плотника Эртелу, изготовлявшего для всего света гильотины, — единственного человека, который, как и палач, жил, пусть и косвенно, благодаря смертным казням. Ремесленник отказал ему — он не желал, чтобы его дочь вышла за человека, который рубит головы⁶. Тут начинается романтическая история, то есть палач сам собой превращается в романного героя: в отчаянии от несчастной любви Дейблер соглашается занять должность своего отца⁷. Так же и о первом из Сансонов рассказывают, что он из-за несчастной любви решил избрать себе карьеру, которой суждено было прославить его потомков⁸. Это делает явной фольклорную природу всего повествования.

Рисуется драматическая картина того утра, когда молодой человек принял свою судьбу. В день, когда ему пришлось впервые служить помощником отцу, тот разбудил его на рассвете словами: «Вставай, пора». Автор статьи замечает, что «будущего палача вырвали из объятий сна точно так же, как приговоренного к смерти»⁹.

С другой стороны, журналисты дружно окружают смерть палача чудесными обстоятельствами. Они обнаруживают в ней совпадения, которые нельзя объяснить простой случайностью, но лишь какой-то неведомой закономерностью. Специально выделяют тот факт, что человек, причинявший другим мгновенную смерть, и сам умер мгновенно. Подчеркивают, что он расстался с жизнью в момент, когда ехал предавать смерти другого человека. Замечают, что

¹ «Пари-суар».

² «Либерте». (Композитор Клод-Антуан Террасс (1867–1925) был известен как автор оперетт. — *Примеч. пер.*)

³ «Ордн».

⁴ Тома-Артур де Толлендаля, граф де Лалли (1702–1766) был казнен за измену после своих неудач в войне с англичанами за господство в Индии; впоследствии оправдан при помощи Вольтера. — *Примеч. пер.*

⁵ «Фигаро».

⁶ «Фигаро».

⁷ «Пари-суар».

¹ «Пари-суар», «Се суар».

² «Пари-суар» (излишне пояснять, сколь произвольны все эти подробности).

³ «Пари-суар».

⁴ «Прогресс де Лион».

⁵ «Энтрансижан».

⁶ «Се суар», «Энтрансижан»...

⁷ «Се суар».

⁸ «Фигаро».

⁹ «Пари-суар».

казнь, которую ему предстояло совершить, должна была состояться в его родном городе Ренне. Само провидение, говорят они, не могло допустить, чтобы палач умер какой-то заурядной смертью¹. Пожалуй, это самый распространенный мотив газетных статей: кончина палача должна как-то достойно и однозначно увенчать собой его жизнь, которую изображают всецело подчиненной року.

Надо признать, что реальность ничем не уступает мифу. В самом деле, этот человек был уникальным во всем государстве. Собственно, он не имел статуса государственного чиновника, а просто служил в министерстве юстиции, получая оклад по специальной статье его бюджета. Этим, кажется, подразумевалось, что государство не желает его знать. Во всяком случае, в одном важном пункте он оказывался вне закона: он не был занесен в списки военнообязанных. По молчаливому согласию сыновья палача освобождены от военной службы. Ныне покойный палач, не желая подчиняться судьбе, сам, без повестки явился в призывное бюро и предстал «перед старшими офицерами». Пришлось принять его в армию, так как не было закона, позволяющего отклонить его кандидатуру². Кроме того, должность палача является практически наследственной. Желая показать рок, тяготеющий над этими людьми, пишут о том, что они сыновья, внуки и правнуки палачей³. Такая скандальная для демократии наследственность должности не сопровождается никакими комментариями. Напротив, ее подчеркивают в крупных заголовках: «последний из династии»⁴, «палаческий род», «семейство палачей»⁵, «трагический род». В некоторых газетах рассматривается как естественное даже наследование по не прямой линии — передача должности г. Дейблера его племяннику, поскольку нет наследника по прямой линии⁶. Никак не подчеркивая исключительность этой привилегии, упоминают о праве палача — типичном для суверенной власти — самому выбирать себе преемника. Отмечают лишь, что в июле 1932 года покойный воспользовался этим правом в пользу сына своей сестры, но никого не заботит, каким образом в таких условиях кто-либо другой мог бы представить свою кандидатуру на должность палача.

Наконец, упоминают о «вековой» традиции, согласно которой после смерти палача принято смягчать наказание перво-му, кто будет приговорен к смерти на эшафоте⁷. Все выглядит

¹ «Эпок».

² «Энтрансижан».

³ «Фигаро».

⁴ «Се суар».

⁵ «Пари-суар».

⁶ «Юманите», «Аксьон франсез», «Эр нувель».

⁷ «Юманите», «Псти паризьен», «Пари-суар».

так, словно палач своей жизнью искупает жизнь преступника. Такое своеобразное право помилования, осуществляемое при смерти палача, как и при рождении наследника престола, опять-таки в известной степени сближает палача с носителем верховной власти.

Действительно, такова его реально-социологическая сущность, объясняющая его уникальные привилегии и парадоксальное положение по отношению к закону, а с другой стороны, оправдывающая атмосферу чуда, которой любят окружать палача, и двойственность, которую приписывают его жизни. Он нажимал на кнопку смертоносной машины «именем французского народа»¹. Он один лишь был уполномочен это делать. Его называли «Господин Парижский» [Monsieur de Paris]. Такое торжественное величание² явно поражает журналистов, и иногда они пытаются давать ему объяснения. В этих объяснениях, естественно, сказывается грубый рационализм, наивный эвгемеризм, которым обычно сопровождаются первые попытки объяснения мифов. В одном случае ненавязчиво отмечают, что этого человека в провинции звали «господином из Парижа»³. Намек понятен. В другом случае автор не жалеет подробностей: останавливаясь в гостиницах, серьезно утверждает он, палач просил не разглашать его имени, поэтому любопытствующим отвечали: «Это господин из Парижа» [C'est le monsieur de Paris]⁴. Между тем принять такое объяснение совершенно невозможно, так как определенный артикль предполагает, что лицо, о котором идет речь, уже известно. К тому же этим не объясняется то, что данное выражение сохранилось и получило распространение, а главное, каким образом оно радикально преобразовалось из-за потери артикля. Ясно, что каждый ощущает разницу между «господином из Парижа» и «Господином Парижским». В действительности перед нами официальное наименование, параллельное наименованиям провинциальных палачей: «Господин Бретонский», «Господин Альжирский» и т. д., где «Господин» имеет смысл «Государь» и точно соответствует протокольному титулу, каким в старину пользовались для именовании высших церковных иерархов, особенно епископов. Так, Боссюэ обыкновенно называли «Господин Мосский», Фенелона — «Господин Камбрейский», Талейрана — «Господин Отенский». Эта газетная попытка толкования интересна одной лишь своей абсурдностью. В ней сказывается замешательство слишком рационалистического ума перед фактами, природа которых ему неясна.

¹ «Энтрансижан».

² «Либерте».

³ «Эксельсиор».

⁴ «Жур».

Между тем сходство между палачом и главой государства, их взаимно антигетическое положение, явствующее из институционального устройства, проявляется даже в их одежде. В самом деле, редингот палача рассматривается как настоящая униформа, почти как церемониальный костюм, составляющий принадлежность не столько человека, сколько должности и передаваемый вместе с нею. В одном из рассказов о жизни г. Дейблера, стремясь символически выразить его смирение с судьбой, сообщают, что однажды он принес домой черный редингот подручных палача¹. Этот редингот, в сочетании с цилиндром, в котором усматривают некую «дворянскую изысканность»², зримо превращает палача в зловещего двойника главы государства³, традиционно одевающегося таким же образом. Сходным образом при монархии у палача была внешность знатного дворянина: он должен был «завивать и пудрить себе волосы, носить одежду с нашивками, белые чулки и черные туфли». Известно также, что в некоторых германских государствах палач, отрубивший определенное число голов, приобретал дворянский титул и привилегии. Еще более странно, что в Вюртемберге его иногда называли «доктором». Во Франции он пользовался особыми правами: получал свиную голову от Сен-Жерменского аббатства после каждой казни на его территории, а в день святого Винсента он шел впереди процессии этого аббатства. В Париже муниципалитет выдавал ему пять аршин сукна на одежду. Он получал сбор с товаров, выставленных на продажу на Центральном рынке. Он лично являлся за его выплатой. В особенности за ним признавали *hâvage*, то есть право забирать себе на рынке столько зерна и круп, сколько схватит рука. Наконец, еще один странный обычай (скорее обязанность, чем привилегия) в определенных обстоятельствах делал его заместителем короля: он должен был приглашать к своему столу обедневших рыцарей ордена Святого Людовика. Рассказывают, что Сансон выставлял при этом на стол великолепное серебро.

Палач и суверен

Тайное сродство между самым чтимым и самым презренным человеком в государстве проявляется даже в воображении людей, где их представляют одинаково. Мы видели, как настойчиво противопоставляются *спокойная жизнь* и *мирный* характер палача кровавому ужасу гильотины. Так во время коронации или визита суверена на-

род охотно и систематически противопоставляет королевскую роскошь, пышные торжества, которыми окружен монарх, — и простоту и скромность его вкуса, его «буржуазные привычки». И того и другого облакают заманчивым страхом, но одновременно подчеркивают его отличие от этой атмосферы, приводят его к меркам среднего человека. Этот средний человек как бы вдвойне пугается, видя, что люди исключительные одновременно очень близки и очень далеки от него. Он склонен отождествляться с ними и отстраняться от них со смешанным чувством влечения и отталкивания. В этом легко узнать психологическую структуру отношений человека к сакральному, как ее описывает Августин, признаваясь, что он горит пылким восторгом, когда думает о своем сходстве с божеством, и содрогается от ужаса, когда представляет себе, насколько он ему чужд¹. Точно так же суверен и палач оказываются и близки к однородной массе своих сограждан, и резко удалены от нее. Двойственность, присущая каждому из них, проявляется и в соотношении между ними: один концентрирует в своем лице все знаки почета и уважения, другой же — все чувства отвращения и презрения. Места, занимаемые ими в умах людей и в структуре государства, соответствуют друг другу и именно так переживаются: на своем месте каждый из них уникален и в самой своей противоположности они перекликаются друг с другом².

Итак, суверен и палач выполняют важнейшие, симметрично связанные между собой должности — один в сиянии света, другой в темноте позора. Один из них — главнокомандующий армией, другой исключен из этой армии. Они оба неприкосновенны, но, кос-

¹ «Исповедь», XI, 9, 1.

² Именно так можно было бы истолковать некоторые явно вздорные подробности в статьях о смерти г. Дейблера. Возможно, это и слишком смело, но в отсутствие всякого иного объяснения извинительно предложить такое. Говорят («Энтрансижан»), что палач утешился от своей несчастной любви к дочери плотника Эртелу, обратившись к «малой королеве», — этим выражением обозначаются соревнования по велосипедному спорту. Можно предположить, что эта странная метафора всплыла в сознании журналиста благодаря более или менее осознанному чувству взаимного соответствия между главой государства и палачом в любом обществе. Один из журналистов задает загадку: у какого единственного в своем роде французского чиновника фамилия содержит буквы L, E, V, xx и R? — и говорит, что человек с улицы ответит «Лебрен» (Альбер Лебрен (Lebrun), президент Франции в 1932–1940 гг. — *Примеч. пер.*), а не «Дейблер» (Deibler). Конечно, от подобных шуток не следует домогаться большего, чем они способны дать, но все же данная шутка свидетельствует о том, что в умах людей высшее должностное лицо и палач Республики склонны образовывать пару.

¹ «Се суар».

² «Ордр».

³ Подразумевается президент Французской республики. — *Примеч. пер.*

нувшись или даже взглянув на первого, можно осквернить его, тогда как при контакте со вторым можно оскверниться самому. Поэтому в первобытных обществах на них обоих налагаются многочисленные запреты, отделяющие их от жизни обычных людей¹. Еще недавно палачу запрещалось входить в общественные места. Трудно выйти замуж за короля, но не менее трудно жениться палачу. Один сочетается браком не с кем угодно, с другим же никто не хочет сочетаться. С самого рождения они изолированы — своим величием или своим позором. Но, образуя два полюса общества, они взаимно притягивают друг друга и в тенденции соединяются воедино, возвышаясь над профанным миром. Нет необходимости рассказывать здесь о фигуре палача в мифологии и фольклоре, следует только отметить, что в сказках часто изображается любовь между королевой и палачом (или его сыном) и между палачом и королевской дочерью. Такова, в частности, тема нижнеавстрийской легенды, на сюжет которой Карл Цукмайер написал свою знаменитую пьесу «Der Schelm von Bergen»².

В других сюжетах королева танцует на бале-маскараде с прекрасным кавалером, у которого на лице красная полумаска; она без памяти влюбляется в него, а это не кто иной, как палач. В сказках третьего типа сын палача завоевывает руку принцессы, так как он единственный сумел одолеть колдовские чары, от которых она страдала меланхолией, не могла заснуть или же проснуться³. Подобно тому как король иногда выполняет священнические обязанности или, во всяком случае, стоит по одну сторону со священником и Богом, так и палач иногда выступает как священный персонаж, представляющий общество в различных религиозных обрядах. Например, ему поручают освящать первины урожая⁴. Однако в целом он связан с неправильной, зловеще-вредоносной стороной сверхъестественного мира. Он может причащаться, но должен принимать гостию рукой в перчатке, что запрещается всем остальным прихожанам; когда браку двух молодых людей противятся родители или когда их союз по какой-то причине отказывается освятить церковь, молодая пара идет к палачу, и он сочетает их браком, соединяя их руки, но не на священной книге, а на мече. Кроме того, нося красную одежду, он более или менее уподобляется дьяволу. Его оружие наполнено заразительной силой сакрально-

¹ В отношении царя это хорошо известно; что же касается палача — см., например: FRAZER. *Tabou et les périls de l'âme*. (Trad. franç.) 1927. P. 150–151.

² Карл Цукмайер (1896–1977) — немецкий поэт и драматург. Его пьеса «Плут из Бергена» написана в 1934 году. — *Примеч. пер.*

³ Эти сведения сообщил мне г. Ханс Майер, которого я горячо благодарю.

⁴ FRAZER. *Le Bouc Emissaire*. (Trad. franç.) Paris, 1925. P. 158, 407, n. 440.

го: дотронувшийся до него обречен рано или поздно оказаться в его власти. В одной сказке Клеменса Брентано девушка по неосторожности положила руку на меч палача¹ — и этого довольно: что бы она ни делала, ей суждено попасть на эшафот, и ей действительно отсекают голову тем самым лезвием, которого она неосмотрительно коснулась.

Палачу, как сверхъестественному персонажу, приписывают влияние на погоду. В Сен-Мало, когда идет снег, говорят, что это палач «гусей ощипывает». Существует заговор для рассеивания тумана, где ему грозят, что палач задушит его «вместе с сукой и кобелем». Палач играет роль легендарного существа, которое оставляет свой след в природе и пейзаже, всюду, где он пройдет. В нормандском бокаже есть речка, которую зовут «ручьем грязных рук». В старину ее воды были чистыми. Но они стали оскверненными с тех пор, как палач вымыл там окровавленные руки, отрубив голову одному из местных жителей. В соответствии с законом, по которому все отвратительное наделяют целебными свойствами, в Сен-Сир-ан-Тальмондуа есть источник, именуемый «Источником Красной Руки», потому что в нем, по преданию, утонул палач, и он пользуется репутацией целительного. Знахарки, излечивающие от угрей и разных прыщей, произносят над ним свои заклинания, как будто «палач, срубавший головы, сообщил воде свойство также сводить все выступающее из тела»².

Вообще, палача считали колдуном. Действительно, сама его должность предоставляла в его распоряжение множество ингредиентов, которые извлекаются из трупов казненных и которые обычно используются в магии для приготовления колдовских снадобий. У него покупали жир висельника как средство от ревматизма и крошки человеческого черепа, помогающие при падучей. А главное, он торговал мандрагорой, растущей у подножия виселиц и доставляющей своему владельцу женщин, сокровища и могущество. На протяжении долгого времени он имел право продавать останки казненных, которые всегда рассматривались суверенными людьми как талисманы. Парижане жадно расхватывали останки маркизы де Бренвилле³. Здесь опять-таки заметна связь между суверенной властью и темными могущественными силами, которыми

¹ Имеется в виду «Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль» (1818) немецкого романтика Клеменса Брентано. Кайуа излагает по памяти: героиня Брентано не коснулась палаческого меча — он сам стал раскачиваться, подвешенный в шкафу, при ее приближении; то есть это скорее мистическое предвидение, чем магическое «заражение». — *Примеч. пер.*

² SEVILLOT P. *Le Folklore de la France*. Paris, 1906. I, 86; I, 119; II, 282; II, 374.

³ Мари-Мадлен д'Обре, маркиза де Бренвилле (1630–1676) — знаменитая отравительница; была обезглавлена и сожжена. — *Примеч. пер.*

овьяны преступник и палач. Во дворце императора Мономотапы — некогда могущественного государства на юго-востоке Африки — был зал, где сжигали тела казненных преступников. Из их пепла готовили эликсир, которым мог пользоваться только сам властитель.

Незачем, как это делали в свое время, гадать, какими обманчивыми приемами можно было бы объяснить такие верования. Возможно, при некоторых казнях палачи действительно пользовались разными уловками — скажем, делали повешенному разрез в трахее ниже веревки и не приканчивали его ударом ноги по шейным позвонкам¹. Но возможность таких уловок следует допускать с большой осторожностью, и уж вовсе нельзя считать, что они каким-то образом заставляли верить в способность палача воскрешать мертвых. Если мошенничество когда-то и применялось, оно было раскрыто, а значит, не могло способствовать такой вере, которая к тому же как будто нигде и не засвидетельствована. Напротив того, несомненно, что приписывавшиеся ему медицинские познания вытекали из самой природы его должности, из того, что ему было легко добывать вещества, необходимые для составления различных мазей, и из той жизни, которую ему приходилось вести. Еще в XIX веке палач играл роль костоправа, незаконно конкурируя с дипломированными врачами. Знаменит был палач из Нима. Некий англичанин, который страдал от ревматических болей в шее и которого не смогли излечить профессора с медицинского факультета в Монпелье, куда он обращался, приехав во Францию, в конце концов доверился этому палачу. Тот исцелил его путем имитации повешения. Эта история говорит сама за себя. Подобно тому как молодые пары, *отчаявшиеся* получить *правильное* благословение от религиозных властей, сочетаются браком у этого проклятого, так и пациенты, *отчаявшиеся* получить помощь от *официальной* науки, стучатся в его дверь за исцелением. Мы видим, как палач постоянно служит противовесом и заменой тех институтов, которые общество уважает и поддерживает, а те в ответ проецируют на это общество окружающие их почтение и престиж. Те, кто изверился в этих всемогущих институтах, кто не ждет более от них осуществления своих надежд, обращаются к их зловещему и гнусному оппоненту, который не образует *корпорации*, как Правосудие, Церковь или Наука, и живет отдельно, *в стороне*, которого одновременно избегают и травят, боятся и унижают: когда не отвечает бог, обращаются к дьяволу, когда бессилён врач — к знахарю, а когда банки отказывают в займе — к ростов-

щику. Палач причастен к обоим мирам. Свои функции он получает от закона, но он последний из его слуг, он ближе всех к темным периферийным областям, где живут и скрываются те, с кем он сам же борется. Он как бы выступает на свет порядка и законности из зоны страха и смуты. Одевание, которое он надевает для выполнения своих обязанностей, — словно маскировка. В Средние века ему не разрешалось проживать внутри городов. Он строил себе дом в предместье, на этой излюбленной территории преступников и блудниц. Долгое время сокрытие палачом своей профессии при найме жилища признавалось основанием для расторжения договора. Еще и по сей день прохожий с удивлением видит на площади Сен-Жак несколько жалких лачуг, теряющихся на фоне высоких доходных домов: в них некогда жили палач и его подручные и хранились детали разобранной гильотины. Случай или предрассудок тому причиной, но еще никто не купил их, чтобы снести и построить на их месте что-то другое. В Испании дом палача окрашивали в красный цвет. Сам же палач должен был носить плащ из белого сукна с алой каймой, а на голове широкополую шляпу. То есть ему следовало обозначать свое логовище и собственную персону для устрашения ближних.

Палач по всем статьям уподобляется неассимилированной части общества. Чаще всего это помилованный преступник, иногда это житель, *последним* поселившийся в городе; в Швабии — избранный *последним* эшвен; во Франконии — *последним* вступивший в брак. То есть исполнение палаческих обязанностей становится своего рода входной платой за вступление в общину. Эту должность поручают тому, кто переживет *маргинальный период*, и он должен исполнять эту должность до тех пор, пока кто-то вновь прибывший не займет его место *пришедшего последним* и не позволит ему окончательно воссоединиться с остальными членами группы.

Сами доходы палачей считались какими-то неприличными. Он сдавал в аренду лавки на Гревской площади. Он владел домами разврата, или же ему поручали управлять ими. До революции он взимал сбор с публичных девок. Отвергнутый обществом, он разделял участь всех тех, кого оно осуждает и держит в отдалении. Его назначали на должность письмом из Верховной канцелярии, подписанным самим королем, но этот документ ему швыряли из-под стола, и он должен был подбирать его на четвереньках. Главное, он человек, соглашающийся убивать других именем закона. Один лишь глава государства властен над жизнью и смертью граждан своей нации, и один лишь палач непосредственно осуществляет эту власть. Он оставляет суверену ее престиж, а сам получает ее позор. Кровь, пятнающая его руки, не пачкает суд, который вынес

¹ Шарль Дюран, неопубликованная рукопись, цит. по статье «Палач» из словаря «Большой Ларусс».

приговор: экзекутор берет на себя весь ужас экзекуции. Тем самым он уподобляется преступникам, которых ведет на заклание. Те, кого защищают даваемые им страшные примеры возмездия, отшатываются от него, видят в нем какое-то чудовище, презирают его и боятся, точно так же как опасаются тех, от кого он должен раз и навсегда их избавлять. Он даже смертью своей как бы искупает смерть какого-то преступника. Он вовлечен в погибельный мир, на границе которого его поставили бдительным и неумолимым часовым, ибо его отвергают те, кто обязан ему своей безопасностью. Жозеф де Местр в конце нарисованного им впечатляющего портрета палача, внушающего ужас и изолированного от других людей, справедливо отмечает, что это крайнее воплощение позора является вместе с тем предпосылкой и опорой любого величия, любой власти, любого подчинения. «Это ужас и вместе с тем связующее звено человеческой ассоциации», — заключает он. Невозможно выразить более удачной формулой, что палач является неотъемлемой антитезой *чести* и *связи* этой ассоциации — то есть суверена, чей величественный лик предполагает изнанку и бесчестие, воплощаемые его страшным двойником.

В этой ситуации понятно, что смертная казнь короля поражает народ изумлением и страхом и выступает как высшая точка революции. В ней соединяются два противоположных полюса общества, она отдает один из них на заклание другому и образует как бы временную победу сил хаоса и перемен над силами порядка и стабильности. Собственно, их триумф длится всего один миг — пока опускается топор, — ибо данный акт есть не только жертвоприношение, но и святотатство. Он посягает на королевское величество, но им основывается другое величие. Из крови суверена рождается божественность нации. Когда палач показывал толпе голову монарха, он свидетельствовал о совершенном преступлении, но одновременно и сообщал собравшимся святое достоинство обезглавленного суверена, окропляя их королевской кровью.

Сколь бы парализующим ни был этот жест, не следует ждать, чтобы он когда-либо в истории получал настолько точное значение — если не считать тех обществ, где периодическое умерщвление царя входит составной частью в механизм действия институций, включается в их нормальное действие как омолаживающий или искупительный обряд. Подобные обычаи не имеют никакого отношения к той казни суверена, которая происходит во время кризиса, переживаемого режимом или династией. В таких случаях эта казнь выступает как эпизод сугубо политической значимости, даже если у некоторых лиц она вызывает, что естественно, *индивидуальные* отчетливо религиозные реакции. Тем не менее можно считать надежно установленным, что *в народном*

сознании обезглавливание короля неизбежно представляется как высшая точка революции. Оно являет множеству народа кроваво-торжественное зрелище перехода власти. Эта внушительная церемония освящает народ, от имени и во благо которого она осуществляется.

В этом отношении весьма показательны отношение Французской революции к палачу. Здесь наблюдается целый ряд жестов, с очевидностью призванных интегрировать палача в благородную, справедливую, респектабельную часть социума. Еще 23 декабря 1789 года аббат Мори выступал за предоставление ему активных гражданских прав. Конвент же не просто дал их ему — нет таких почестей, которые бы он ему не расточал. Легиньо, представитель народа, командированный в провинцию, публично обнимал рошфорского палача, которого он пригласил к обеду и усадил рядом с собой. Некий генерал заказал себе печать с рисунком гильотины. Декретом Конвента экзекуторам присваивалось офицерское звание в армиях Республики. На официальных праздниках им поручали открывать танцы. Национальное собрание строго запретило называть их позорным именем «палач». Спорили о том, каким новым титулом следует их именовать. Предлагали, например, «Народного мстителя». В ходе дискуссии депутат Матон из Варенна выступил с их апологией — он возмущался тем, что наказание преступников «позорит тех, кто его осуществляет». По его мнению, этот позор должен по крайней мере поровну распределяться среди всех, кто участвует в отправлении правосудия, от председателя суда до последнего пристава.

Этому возвышению палача соответствует падение короля. Одно из них вводят в законные рамки, тогда как другого выводят из них. Речь Сен-Жюста, произнесенная 12 ноября 1792 года, произвела такое впечатление в обществе, что историки часто рассматривают ее как выступление, предрешившее смертный приговор Людовику XVI: она была целиком посвящена обоснованию того, что монарх должен быть исключен из-под защиты закона. Своей холодной и неумолимой логикой оратор показывал, что компромиссного решения нет — Людовик должен «либо царствовать, либо умереть». Он не гражданин, не может ни голосовать, ни носить оружие. Его ни в каком случае не касаются гражданские законы. В монархии он стоит выше них; в республике он оказывается вне общества просто потому, что был королем. «Нельзя царствовать безнаказанно». Сходным образом, как мы видели, и палач был неподвластен закону: он тоже не мог носить оружие, и у него хотели отнять избирательное право, как будто палачом тоже нельзя быть безнаказанно. Ситуация оказывалась вывернутой наизнанку. Теперь уже общество изгоняло из своего лоноа короля, а экзекутора превращало в почтенное лицо, уполномоченное осуществлять на-

родный суверенитет. Сен-Жюст не скрывал, что смерть короля как раз и явится основанием Республики и скрепит ее «узами общественного духа и единства»¹.

Поскольку, таким образом, обезглавливание Людовика XVI представлялось залогом и символом наступления нового режима, поскольку его низложение точно симметрически соотносилось с возвышением палача, то понятно, почему его казнь 21 января 1793 года обозначает собой как бы зенит в развитии Революции. Она действительно составляет высшую точку ее траектории и является собой наиболее яркую и полную иллюстрацию общего кризиса, живее всего воплощает его в памяти людей.

Напротив, казнь Марии-Антуанетты никоим образом не была делом государственной важности. Ее следствием не являлось возрождение королевского величества в величии народа. «Вдова Капет» предстала перед Революционным трибуналом, а не перед Конвентом, то есть перед судьями, а не перед представителями Нации. Над ее частной жизнью яростно издевались. В ее лице унижали не только королеву, но и женщину. Ее старались всячески опозорить. Пока ее везли на тележке к эшафоту, толпа оскорбляла ее. Одна из газет, излагая ее казнь, отмечала, что несчастной пришлось «долго испытывать смерть».

Несомненно, в данном случае сказывался своего рода садизм: собравшиеся ликовали, видя, что королева предана в руки палача. Эта сцена как будто противоположна тем сказкам, где супруга короля влюбляется в палача. Любовь и смерть странно сближают между собой представителей двух полюсов общества. Поцелуй королевы и проклятого выступал как искупление мира тьмы миром света. Паде-ние же королевской головы, позорная казнь королевы являла собой победу кромешных сил. В общем и целом она вызвала больше ужаса и осуждения, нежели смерть короля, заставила сильнее содрогнуться, спровоцировала более резкие реакции. Дело в том, что при встрече королевы с палачом на эшафоте истории или на бале-маскараде переносится в плоскость личных страстей, делается общедоступным и непосредственно волнующим значение тех моментов, когда противоположные силы общества сближаются, встречаются и, подобно небесным телам, входят в противостояние, чтобы сразу же затем вновь разойтись и вернуться на свои места, разделенные почтительной дистанцией.

Итак, палач и суверен образуют пару. Они совместно обеспечивают сплоченность общества. Один, нося скипетр и корону, привлекает к своей особе все почести, оказываемые верховной власти, другой же несет на себе груз грехов, которые неизбежно влечет за собой отправление этой власти, сколь бы справедливой и умерен-

ной она ни была. Внушаемый им ужас — обратная сторона блеска, которым окружен монарх, чье право помилования предполагает как свою изнанку смертоносный жест палача. Жизнь людей — в их руках. А потому не удивительно, что оба они служат предметом ужаса или почитания, в которых явственно опознается сакральное начало. Один защищает все то, что принято чтить, что образует ценности и институты, на которых зиждется общество; другой же словно заражается скверной от тех, кого общество предает в его руки, он получает выгоду от блудниц, слывет колдуном. Его исторгают в кромешный мрак, в злое мир, где кишат преследуемые правосудием неисправимые злодеи, — а между тем он и сам является служителем правосудия. Поэтому не следует слишком осуждать прессу за то, что она посвятила так много статей смерти Анатоля Дейблера. Этим она помогла увидеть, насколько палач продолжает быть легендарным персонажем и сохраняет в людском воображении уже исчезнувшие основные черты своего древнего облика. Она доказывает, что нет такого общества, которое бы всецело подчинилось силам абстрактного мышления, где бы утратили всякие права и всякую власть миф и порождающие его реальности.

¹ SAINT-JUST. Œuvres complètes. Paris, 1908. T. I. P. 364—372.

СЕКРЕТНЫЕ СОКРОВИЩА

Слово «сокровище», для взрослого незвучное и тусклое, красноречиво для сердца ребенка и ярким блеском сверкает в его глазах. Его слоги, которые с возрастом, опытом и размышлением быстро делаются почти непригодными к употреблению, сияют для него подобно обозначаемым ими богатствам. Они искрятся словно дублоны, накопленные в старину пиратами в глубине темных пещер, словно рубины, изумруды и другие камни, которые начинают сверкать, лишь только их выкопают чьи-то руки, и эти грязные ладони сразу наполнятся огоньками. А разве стали бы так воодушевлять детей рассказы, в которых они бы не опознавали ничего из своих желаний или тревог и которые были бы им совершенно чужды, вызывая лишь удивление, а не жаркую страсть? Пожалуй, эти истории, подобно романам у взрослых, не нравились бы им так сильно, если бы не рассказывали о них самих, если бы под покровом далекой драмы они не описывали их собственные повседневные проблемы.

В самом деле, дети ведь не просто верят в сокровища. Они обладают ими. Они не просто воображают, что благодаря упорству, мужеству и прозорливости можно разыскать их в глубине пещер, где их оставили авантюристы прошлого. Они и сами владевают сокровищами и копят их поблизости от себя, ревниво следя за сохранностью своих тайников. Неосознанно для себя они слышат в заботах и страстях флибустьеров мощный отголосок своих собственных забот и страстей. Да и как, собственно, знать: то ли ребенок поступает таким образом в подражание книгам, которые он жадно читает, то ли, наоборот, эти легенды служат романизированной иллюстрацией представлений, естественных для пробуждающегося сознания, привычек и навыков, нормальных для ребенка, который еще не чувствует себя соразмерным окружающему его миру? Возможно также, что, как нередко бывает, воображение и реальное по-

ведение просто дублируют и взаимно поддерживают друг друга. Исходя из одного и того же истока, они действуют совместно, и, как в случае мифа и ритуала, невозможно понять, что за чем следует — то ли жест, то ли верование. Следует задуматься о том, какова же природа этих вымышленных богатств, которые дети признают подлинно драгоценными.

Это не те богатства, обменный эквивалент которых можно было бы исчислить деньгами. Сокровища суть особые, привилегированные вещи. Они ценны не своей товарной стоимостью: чаще всего она ничтожна. Они притягательны не в силу своей редкости: бывает, что это самые заурядные предметы, от них не требуется быть красивыми, это не памятные знаки. Они не принадлежали раньше никому, кто был бы дорог ребенку. Они не напоминают о какой-либо памятной дате, радостном событии, клятве. Они не были преподнесены в дар или оставлены в залог. Порой их находят в сточной канаве. Они не редкостны, но странны. Они не красивы, но блестящи. Так, ребенок сохраняет фольгу от съеденных им плиток шоколада. Он больше всего любит стальные шарики. Ни одно вещество не манит его так сильно, как ртуть. Все эти тела обладают блеском, которым еще больше подчеркивается таинственность их природы: одно из них — металл, который можно гнуть и мять, можно обертывать им предметы, словно покрывая их серебром; другое нельзя ухватить пальцами, оно течет, рассыпается на капельки и леденит кожу при прикосновении. У столь удивительных веществ можно ожидать самых невероятных свойств! Они действуют мощно, словно стальной шарик, разбивающий вдребезги или отбрасывающий далеко прочь глиняные шары, словно притертая стеклянная пробка, способная изолировать влагу и отделять ее от сухих веществ гораздо лучше, чем обычная пробка из коры. Только она одна закупоривает сосуды *герметически*, и это слово самой своей темнотой показывает, сколь важна обозначаемая им вещь. Она достойна сберечь и отделять от нас какое-нибудь страшное, смертоносное по своему действию вещество. Уже в силу этого она попадает в разряд привилегированных объектов — ибо они часто знаменуют собой насильственную смерть. Все, что кажется способным убить, по праву принадлежит к сокровищам. Здесь любой ножик для разрезания страниц кажется кинжалом. Бутылочка из-под какой-нибудь безобидной микстуры становится флаконом, полным сильнеешего яда. Достаточно того, что ее принесли из аптеки и что она до сих пор пахнет аптечной лабораторией, чью витрину украшают таинственные стеклянные шары с разноцветными жидкостями и где люди в белых халатах готовят лекарства. Сколь многие дети с энтузиазмом, подобно героине одного современного романа, играли «в изготовление ненастоящих ядов, запечатывая флаконы, наклеивая на них этикетки с черепом и костями, приду-

мывая для них мрачные названия»! А как многозначителен флакон из-под духов — роскошно-тяжелый, из совершенно черного, непрозрачного стекла! В нем ведь могут даже заключаться чьи-то души. Ибо то, что этот флакон не светлый и не прозрачный, делает его редчайшим, удивительным по облику и подходящим для самых важных дел.

Обращаются с этими сокровищами так же необычно, как необычна их природа. Чтобы завладеть ими, порой приходится рисковать — например, отличный ученик, рискуя самыми страшными наказаниями, по капельке собирает себе ртуть на уроках физики. Он добывает ее даже у себя дома, разбивая термометры. Так он похищает запретный металл, который тем более ценен, что ради пополнения его запаса пришлось поступиться послушанием и честностью и теперь из-за этого совестно. Опасность попасться с поличным при каждом новом хищении тоже увеличивает притягательность чудесного металла, в которой откладывается и ожидание удобного случая для кражи, и беспокойные поиски удобного средства, чтобы сразу же спрятать и не упустить это неуловимое вещество, и то, как трудно унести его без чрезмерных потерь. Ведь ртуть нельзя положить в карман или в плохо закрытую коробку. Она просачивается сквозь пробковую кору, пропитывает собой любое пористое тело, и если сдавить пробку от пробирки, куда она была на время налита, то из пробки вытекают мелкие капли. Кроме того, нужно беречь ее от любого контакта с другим металлом, так как ртуть сплавляется с ним, разъедая даже благородное золото. Ничто так не желанно, как эта жидкость, которая разрушает самые, казалось бы, стойкие вещества и которую так нелегко добывать и хранить.

Даже если заполучение манящего предмета и не сопряжено с опасностью, для его нахождения все же требуется немало удачи и времени. Им могут оказаться игла из горного хрусталя или кусок гипса в форме наконечника копья, или комочек твердых духов, внезапно превращающийся в чудесное дурмящее снадобье, которым Горный Старец опьянял своих ассасинов.

Удача, трудность и опасность — таковы качества, придающие избранным вещам самые сильные чары. Составляя из них свое сокровище, ребенок в полной мере гордится их обладанием. Для него они не просто играют роль фетишей, приносящих счастье; они увлекают своего владельца в далекий мир, полный приключений, ведут его по водной глади в самое трудное для плавания и менее всех изученное Саргассово море, в это плавающее кладбище кораблей; наконец, они дают ему доступ в сказочные укрытия, спрятанные под толщей гор. Они предстают залогом, унесенным из иного мира, рядом с которым реальность кажется слабой и бледной и чей блеск и сверкание хранятся в них неприкосновенными. Это словно пылающие уголья неугасимого подземного огня, словно волшебный снег,

принесенный с неприступных вершин и не тающий при хранении. Они как будто обладают способностью заключать в своем небольшом объеме и под невзрачной внешностью красоту и таинственность, какие встречаются лишь в самом сердце стихий и на границах обитаемых краев. Так герои мифов приносят из иного мира могущественные и трудно воображаемые предметы — золотые яблоки, синюю птицу, поющую воду. Их природа точно та же, что у вещей, составляющих детские сокровища; в частности, они обладают абсолютной редкостью — это не совсем противоположность распространности, а некая чужеродность, которая кажется чудесной, поскольку нарушает природные законы и смешивает разные роды и виды; таков гиппокамп — морской конь, или же твердые и прозрачные драгоценные камни, соединяющие в себе противоположные свойства воды и огня. Они имеют то великолепный, то самый жалкий вид (нужно завладеть каким-нибудь гигантским рубином или серебряным мечом, но точно так же может подойти и старая лампа, рваный колпак, делающий невидимым, а из трех шкапулок надо всегда выбирать самую невзрачную). Наконец, им всегда приписывается могущество, превосходящее нормальные возможности: благодаря ему можно исчезнуть по своей воле, на расстоянии поразить врага параличом, побеждать без борьбы, читать в чужих мыслях, мгновенно переноситься куда хочешь.

Подобно детским сокровищам, магические предметы не доступны кому попало. Чтобы завладеть ими, нужно переходить через пропасти по острию меча, сражаться с драконами или переплывать огненные реки. Чтобы выдержать необыкновенные испытания, необходимо быть предназначенным для этого благодаря природной неустрашимости и покровительству духов. Здесь тесно связаны вместе удача и смелость. Счастливый жребий служит вознаграждением за мужество, но проявить храбрость нельзя без веры в свою звезду. Здесь больше, чем где-либо, фортуна улыбается лишь дерзким. Тот, кто не уверен в своей судьбе, не уверен и в себе и не имеет должного самообладания, чтобы преодолеть ожидающие его опасности.

Эти дорогостоящие чудеса не терпят, чтобы их видел или трогал кто-либо другой, кроме того, кто сумел их похитить. Они как бы профанируются от грубого прикосновения и теряют свои свойства, если тщательно не отделять их от обычных, легкодоступных вещей и людей. Точно так же и дети ищут для облюбованных ими вещей тайники, которые соответствовали бы их необычайной и секретной природе. Ибо сокровища суть секреты. Эти два понятия почти полностью покрывают друг друга. Чужой не просто не должен раскрывать местоположение сокровища, ему вообще нельзя знать о его существовании. Конечно, о них можно кому-то сообщить, но только в торжественной обстановке. Собственно, при этом как раз и со-

вершается церемония освящения дружбы. В самом деле, никто не станет делиться таким секретом с человеком, которого не считал достойным этого. Таким образом, когда ребенок показывает кому-то свои сокровища, то с его стороны это высший знак доверия, который скрепляются братские узы. Даже явление Грааля не объединяло более тесно его рыцарей и не гарантировало более верного союза. Показать сокровище другу — значит не просто вызвать в нем восхищение и уважение, но и обязать его молчать об увиденном и хранить безупречную верность владельцу сокровища. Такой показ сродни настоящей инициации. Ребенок, доверяющий избраннику свои секреты и открывающий один за другим все более и более важные тайники, где сложены и тщательно замаскированы его драгоценные находки, по сути, ведет себя так же, как иерофант, который в Элевсинских подземельях или на лесных полянах Африки демонстрирует новопосвященному предметы культа. При этом он должен последовательно восходить по ступеням инициации, показывая все более святые и тайные предметы, которые также хранятся в самом непроницаемом святилище или же захоронены в удаленных местах, под неприметными камнями, которые, казалось бы, никогда не сдвигала рука человека.

Подобно мистическим предметам, сокровище ценно тем, что оно неведомо. Ребенок с бесчисленными мерами предосторожности приподнимает край обоев, выдалбливает штукатурку стены, оборудует там свое драгоценное хранилище и самым тщательным образом приклеивает на место обивку, которую он искусно надорвал так, чтобы казалось совершенно случайно, или же аккуратно надрезал по контуру рисунка. Делая все это, он как будто сберегает свою собственную жизнь, помещая ее в безопасное место. В обладании химерическим секретом для него заложена основа его личности. И опять-таки напрашивается параллель со сказками: в них бывает, что жизнь, могущество или смелость героя связаны с какой-то внешне-материальной душой: это может быть оружие, зеркальце, перо или же яйцо — предмет великолепный или скромный, но хрупкий, сохраняемый в древесном дупле или в шкатулке на дне моря, в таком месте, которое нелегко распознать и куда трудно попасть. Уничтожение или даже просто раскрытие кем-то чужим внешней души героя влечет за собой его смерть или бессилие. Подобно Самсону, он утрачивает те волшебные качества, которые возвышали его над обычным человеческим уделом.

Именно это и означают сокровища для детей. С их помощью ребенок ускользает от зависимости, в которой его держат взрослые. Находки, ревниво сберегаемые им в тайне от взрослых, не просто вводят его в воображаемый мир чудес и приключений. Наоборот, на них он основывает свою автономию, на них он опирается в реальном мире, которым, к его зависти, владеют взрослые и

куда ему самому доступ закрыт рядом унижительных запретов (не играть с огнем, не трогать ножи). Его важнейшие заботы никто не принимает всерьез. А обладание сокровищами доставляет ему компенсацию, дает сознание своей значительности, в которой ему отказывают. Эти предметы, которые известны только ему одному, чью ценность и свойства знает только он один, которые он добыл в тяжелой борьбе или же набрал на них благодаря провиденциальной случайности, которыми, наконец, он один таинственно владеет в мире, где у него в собственности одни лишь игрушки, якобы призванные его забавлять, — эти предметы укрепляют в нем зарождающееся чувство собственного достоинства и пробуждают в его юном сердце мужество. Они одновременно и его предпосылка, и награда за него.

Ясно, насколько далеко понятие «сокровище» от бережливости. Наоборот, оно является ее прямым отрицанием. Оно имеет магический характер. Им обозначается некое неотчуждаемое богатство, а не условная единица товарного обмена. Сокровище никогда не составляют из ассигнаций и ценных бумаг. Мать может называть сына «мое сокровище». Для банкира деньги образуют всего лишь состояние [fortune]. Те богатства, из которых образуются сокровища, нельзя ни купить, ни продать. Благодаря им растет сама душа открывшего их человека. Они обязательно сверкают всевозможными огнями. Их можно скопить великими преступлениями, но не бережливостью. В них к жемчугу и рубинам могут примешиваться и монеты, но только такие, что давно не имеют хождения и ценны лишь золотом, из которого отлиты. Там, где некогда пираты закопали великолепную добычу, искатель приключений находит и вновь выносит на свет сокровища, блеск которых стал еще ярче в толще тьмы. Здесь ничто не приобретается трудом. Требуется счастлирое соединение удачи и дерзости, необычайный успех, которому способствовало все — от судьбы до личных заслуг. Такой баснословный успех увенчивает собой веру в несбыточное. Достоинства, применяющиеся для его достижения, диаметрально противоположны терпеливо-размеренному труду, посредством которого бабсенный пахарь дает своим детям найти сокровище — совсем не то, о котором мечтали они, зато такое, на какое рассчитывает недоверчивая душа.

Настоящие сокровища не копят. Их не добываются с упорством, на них не уповают с прозорливостью. Они бесконечно преследуют тот капитал, который можно составить, прожив всю жизнь в лишениях и трудах. Они являются мгновенно и пышно и покрывают завоевавшего их юного героя не столько деньгами, сколько славой. Можно сказать, что он обретает от них лишь чистую уверенность в свершении своей судьбы — знак того, что он может побеждать природу и людей.

В литературе немало рассказов, удовлетворяющих этому своеобразному верованию. Эдмона Дантеса найденное сокровище внезапно преображает во всемогущего графа Монте-Кристо. Темница и богатства сделали его иным человеком; изменился его физический облик, он стал красивым, сильным, элегантным, бесстрастным. Он знает все обычаи и говорит на всех языках. Осуществляя дело своей мести, он считает себя орудием самого провидения. У Вилье де Лиль-Адана — на ином художественном уровне, но также в жанре, который адресуется к воображению, — нет, кажется, ни одного произведения, где бы сокровища не играли первостепенную роль или же не озаряли своим отдаленным светом весь сюжет. Они всегда действительно присутствуют в поступках всех героев и словно накладывают на них какие-то чары. Никогда еще так хорошо и с таким постоянством не было показано волшебное могущество, которое приписывается этим сокровищам, осмысляемым как талисманы. Что же говорить о сказках: хорошо известно, что они изобилуют сокровищами, которые предстают как награда, даруемая гномами, домовыми или кобольдами своим избранникам. Эти карлики развешивают недра гор и ведут счастливых в подземный мир, где много веков дремлют невообразимые россыпи драгоценных камней. Впрочем, их блеск заключает в себе и некое зловещее проклятие, показывающее, насколько отдаляется искатель сокровищ от нормальных путей благополучия.

Дело в том, что они не принадлежат миру людей и никак не соотносятся ни с законом, ни с обычаем. Они — плод какого-то неискупимого разбоя или же кощунственного сговора с нечистой силой. Они приходят из тьмы и наделяют человека такими свойствами и правами, которые мало способствуют послушанию и смирению. Они побуждают человека к авантюрам и укрепляют в нем гордую веру в то, что он более чем просто человек. Но ребенок желает быть лишь человеком наравне со взрослыми. Поэтому такими предметами, которыми он завладел и которые благоговейно хранит, он предъявляет пренебрегающему им миру первое свидетельство своей личной активности, которая тем значительнее, что от тщательного засекречивания она становится до какой-то степени непозволительной. Она исторгает ребенка из круга презрительных взрослых и распахивает перед ним двери в область, полную чудес, где его достоинство обретет признание и найдет себе применение, в котором ему отказывает земной мир. Воображение здесь предвосхищает действительность, оно еще не стало прибежищем несбывшихся надежд и утраченных иллюзий, оно служит стимулом к подлинным обретениям. Эти стекляшки, капельки ртути, игральные кости (простейший образ удачи), эти мелкие и ничтожные находки, ничего не стоящие флакончики, представляющие собой отходы и отбросы деятельности взрослых, но зато блестящие,

редкостные, с трудом добытые, — воспитывают душу ребенка и впервые научают его быть верным самому себе. Они помогают ему познать самого себя и более всего дорожить тем интимнейшим имуществом, которое ценно лишь благодаря его собственной оценке. Окружающий мир может презирать эти жалкие вещи. Жертвы, на которые шел ради них ребенок, делают их святыми. Благодаря этим ничтожным посредникам его душа закаляется и привыкает хранить этот убогий секрет как исток и залог своей будущей мощи. В них она ревниво берегает сама себя. Спрятанное в тайнике внешнее сокровище теперь уже предохраняет в человеке веру в свое призвание и в благосклонность судьбы. Тот, кому приходится действовать, не должен переоценивать свои силы, но еще меньше должен не доверять им; тому, кто считал, что затевать дело можно и без надежды, а упорствовать в нем и без удачи, следовало бы лучше всех знать, что в человеческом существе есть некая сильнейшая пружина, которой не сломает ни одна беда и не расслабит торжество: достаточно лишь не ожидать тех благ, что ты больше всего ценишь, от прихотей судьбы и впредь опасаться одних лишь собственных душевных слабостей.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ называть головокружительным любое влечение, которое своим действием сразу же ошеломляет и притупляет инстинкт самосохранения. Захваченный им стремится к гибели, как будто само зрелище его уничтожения внушает ему не сопротивляться этой убедительной, пугающе-притягательной силе. Эта сила отнимает способность говорить «нет», которую наша рефлексия признает основой как разумного мышления, так и свободного решения. Остается одна лишь рабская сомнамбулическая уступчивость, в которой никак не участвует воля и которая никогда не ведает выбора; и зачарованному духу эта уступчивость, представляющая собой полную капитуляцию человека, кажется его велением, величием и упоением. Головокружением прежде всего уничтожается автономия живого существа. Отныне это уже не центр и не исток, не начало движения или источник энергии, а словно металлическая опилка, покорно следующая притяжению мощного магнита. Охваченный головокружением поддается тяготению пропасти. Это важнейший факт: жизнь оказывается бессильной перед разрушительными для нее влечениями. Ее притягивают к себе бездны. Отдающегося их чарам охватывает внезапный паралич. Он хочет отойти прочь от опасности, а сам невольно приближается к ней. Он чувствует, что может мыслить и осуществлять только те жесты, которые ввергают его в нее, как будто зловещий образ разрушения удовлетворяет какому-то его извращенному вкусу и пробуждает в тайной глубине его существа какое-то сокровенно-безжалостное сочувствие.

Есть немало случаев, когда человек спешит навстречу тому, чего он опасается, страшится, смертельно боится. Как будто для каждой степени страха у него есть и соответствующая степень готовности к самоизмене, к своего рода дезертирству. Он берет сторону того, что его пугает, и находит какое-то темное блаженство в том, чтобы без борьбы и сопротивления отдаваться на его милость. Од-

нако не следует думать, что любая грозная сила равно способна вызывать такой поражающий эффект. Чары действуют лишь при встрече несхожих, разнотелных и несоразмерных начал, и они должны быть настолько различны по природе и масштабу, чтобы между ними не было никакой возможности борьбы или даже соприкосновения. Одно из них должно быть совершенно безоружным и смятанным перед лицом другого, которое для него до такой степени чуждо и разрушительно, что являет собой (и одновременно приготавливает) одно лишь неотвратимое падение в бездну. Для насекомого это сияние пламени, для птицы — неподвижный взгляд змеи, а для человека — пустота. Но человеку хуже всех — у него есть еще и воображение, умеющее находить головокружительные объекты там, где в действительности для него нет ничего страшного. Случается, например, что сильные страсти ведут к одинаковым последствиям: для игрока или влюбленного порой обладают несолидным очарованием женский взгляд или зеленый игровой стол; это предвестие смерти или разорения, но ему так радостно и сладко повиноваться.

Здесь, конечно, требуется уточнение. Головокружение охватывает не всех подряд людей, которые любят или играют. Именно пытаюсь описать такое особенное отношение к случайности или страсти, мы сможем точнее определить и дать почувствовать действительную суть этого смертоносного скольжения в бездну — оригинального и тождественного себе, несмотря на различие форм.

Подойдя к игорному столу, быстро начинаешь отличать азартного игрока от случайного любителя или расчетливого математика. Эти двое, когда им повезет, или выходят из игры, или хотя бы откладывают часть выигрыша; что еще показательнее, они играют вопреки фортуны, то есть ставят на тот цвет, на ту колонку, на тот номер, которые выигрывают реже всех или которые еще ни разу не выигрывали. То есть в этом царстве чистой случайности они рассчитывают на некую скрытую закономерность, переживая ее каждый по-своему. Наиболее искушенные из них подмечают здесь действие закона, который оставляет в полной власти случая конкретные результаты, но достаточно строго управляет игрой в целом. В общем, тут имеет место элементарное, почти инстинктивное, во всяком случае ни в коей мере не осознанное ожидание момента, когда неизбежно восстановится равновесие; это обязательно произойдет рано или поздно, и приходится опасаться лишь того, что это случится слишком поздно. То есть все они полагаются на чувство незримой, но могущественной справедливости, в силу которой после черного выходит красное, после нечета — чет, в силу которой последовательно выигрывают все номера и ни один из них не бывает совершенно проигранным. Наука, напоминая, что у случая нет ни сердца, ни памяти, также подтверждает им, что, придерживаясь

достаточно долго такой методы, они делают все то небольшое, что возможно сделать для выигрыша, и такая минимальная внимательность, часто совершенно неэффективная, все-таки образует долю расчета и разумной инициативы в азартной игре, а потому неопределима важна. Того, кто пользуется ею или учитывает ее, нельзя считать подверженным какому-либо головокружению. Другие же действуют наоборот — либо по природной душевной предрасположенности, либо потому, что дорого заплатились за попытки играть против судьбы и испытывать ее упрямство. Они бросаются в противоположную крайность и, подобно тем, кто взывает к inferнальным силам, когда небо не выполнит их молитв, начинают слепо следовать прихотям случая, вместо того чтобы терпеливо подстергать его, давать ему спокойно идти по положенному пути, в конечном счете не обозначая своими извивами, задержками и возвратами никакого предпочтения. Такие люди уповают не на справедливость, а на милость, не на законность, а на произвол. Не веря больше в силу закона и правила, они возлагают все свои надежды на неуравновешенность и мечтают вдруг воспользоваться какой-нибудь скандальной пристрастностью судьбы.

Говорят, что они играют заодно с удачей. И действительно, они ставят на нечет или на красное, когда красное или нечет часто выигрывают. Они вникают в формальное сходство чисел или же в их соседство на игорном столе и так, по сходству или смежности, пытаются обнаружить те из них, которые сейчас в фаворе у судьбы. Более того, они полагают, что судьба не может отвернуться от раз отмеченного ею числа, и потому ставят на него вдвойне или даже во много раз больше. Рискуя каждый раз всем своим выигрышем и делая ставку на то же самое, на чем его добыли, они, конечно, не могут в конце концов разом не проиграться и действительно проигрываются. Можно подумать, что ими движет жажда катастрофы; они же уверяют, что иначе ничего существенного и не выиграешь. В их утверждениях сказывается не обдуманная истина, а наивное чувство, что полным самоотречением перед лицом судьбы можно сделать ее своим должником. Она обязана вознаградить их — ведь они достойнее ее милостей, выказали больше веры в ее благодать, чем толпа других, осторожных или хитроумных игроков. Уже сама абсурдность этой надежды показывает, насколько помутнен их рассудок. Они спешат к собственному разорению, а поскольку в имущественных отношениях разориться — то же самое, что в бытийной области умереть, то, когда игрок безраздельно вверяет все свое имущество миру, над которым он не властен, когда все небольшое, что ему дано предвидеть, он обращает против себя самого, — его сладостное томление перед роковым шариком рулетки можно по праву сравнить с какой-то неосознанной, почти чувственной любовью к небытию, с каким-то очень опасным телесным удовольствием или

же с жаждой, которую можно утолить лишь в *неглубоком, зря оклеветанном ручье смерти*¹. Мы уже знаем достаточно, чтобы эта сладостно-успокоительная, полная тайным соблазном поэтическая метафора показалась нам более чем убедительной.

Так же обстоит дело и с теми влюбленными, чья страсть остается неразделенной и которые в любимой женщине видят не столько равное себе существо, сколько великолепный сосуд с чудодейственным эликсиром, некую стихийную силу, подчиняющуюся иным законам, чем они сами, и затягивающую их в бездну. Для них достаточно, что эта женщина красива и бесчувственна, что она влечет и не дается душой или телом. Она должна оставаться непоколебимой при виде вызываемого ею смятения, не выказывать ни радости, ни даже тщеславия перед лицом высочайших почестей, не стесняться равнодушно, со скукой принимать все это тщетное служение, вообще сохранять холодность перед лицом этого страстного жара, не жалеть о том, что сама его не испытывает, зато уметь быстро его разжечь, когда он лишь едва теплится, дабы тем более унижить того, кто им сдается. Все это нетрудно, и будь даже такая женщина легковесной и ничем не замечательной, пустой и банальной, этого уже довольно, чтобы превратить ее в существо, стоящее превыше любых человеческих мерок, кажущееся недоступным для суждений ума и неподвластным обычной морали. Все остальное доделает страсть мужчины, если он не противится ей. Он все принимает в этой женщине — и прежде всего то, чем она его губит. Он с готовностью совершает странные и разорительные поступки, имеющие своей единственной причиной его собственную слабость; и, полагая, что его принуждает к ним некая тайная и грозная сила, живущая в его возлюбленной, он мысленно еще более возвышает ее образ и оправдывает все совершаемые им страшные ошибки. Ему невдомек, что священное достоинство его богини образовано лишь непомерными жертвами, которые он ей приносит, что ее величие измеряется глубиной пропасти, куда он падает. Поэтому такая женщина до какой-то степени по праву называется роковой: она и впрямь являет собой рок для несчастного, который ради нее стремится пусть к земному, а не небесному, но столь же бесповоротному проклятию. Художественная литература, которая иногда воспроизводит действительность, а еще чаще продолжает или дополняет ее, полна подобными ситуациями. Такое ее пристрастие не может быть ничего не значащим. Иногда от неумеренной чувствительности героиню стараются вообще лишиться человеческого характера — и тогда возникают знаменитые легенды о том, как где-то в сердце далекой и неприветливой страны, за бескрайними песками или болотами, живет

¹ Из сонета С. Малларме «Надгробье» (в годовщину смерти П. Верлена, 1897). — *Примеч. пер.*

мифическая и неприступная владычица или же блестящая, обаятельная чаровница. Даже если тот, кто приблизился к ней и совершил ради нее величайшие преступления, каким-то усилием и вырвется из-под чар колдуньи, он все равно добровольно возвращается, чтобы найти в ее объятиях заранее принятый им конец. И смерть наступает его спокойным и удовлетворенным. Иногда же, не столь увлекаясь воображением, рисуют фигуру более скромных масштабов, которая тревожит именно своей сдержанностью и которая мучает тем сильнее и неотвратимее, что сама как бы и неспособна этого помыслить и пожелать. Тогда перед нами шаловливая и капризная девочка, любящая роскошь и удовольствия, склонная к веселью, тогда как первая героиня хранила торжественную суровость. Можно назвать ее Манон — в отличие от Антиней¹. Но она так же непринужденно принимает великолепные дары и грациозно доводит своих жертв до предельного падения, ее таинственность так же создается из череды несчастий и приступов отчаяния, которые встречает любящий ее. Пустота ее души производит те же последствия, что и царственная гордыня ее соперницы. Она делает ее столь же неспособной к волнению и пониманию. Мужчина отдается этой ее черствости, словно силе, которая ломает его, не замечая, и которую он, словно игрок удачу, властен склонить в свою пользу не более чем на миг и сам это знает.

Если попытаться понять, чем вызвана такая завороченность, то ее сразу же приходится отличать как от любви, так и от желания. Здесь имеет место не просто сердечный или чувственный бред. Это особого рода соблазн, который, как замечали самые проникательные наблюдатели, захватывает человека глубже, чем в душе, на уровне каком-то дотелесном, даже более низком, чем пол, и погружает его в сплошную, нераздельную жизнь дна, где нет ни эмоций, ни ощущений, а одно лишь сладко-ритмичное покачивание, вечный плеск подземных вод, где сливаются бытие с небытием.

Вообще-то у людей встречается много форм головокружения, но приведенных примеров достаточно, чтобы точнее определить, что это такое. В его власти находится всякий, кто отказывается бороться и вопреки сплошным силам внешней опасности поддерживать свою независимость, энергию и инициативу волевого самообладания. Обычно человек перерабатывает вещи и старается приспособить их к себе, головокружение же означает, что он уступает их напору и следует течению. Он предоставляет им волю и сам отдается на их волю. Более того, он помогает им, подталкивает их вниз по склону, в упоении от того, что ускоряет процесс, увлекающий и его самого. Он достаточно боролся, плыл против течения —

теперь атлета охватывает усталость, а вместе с нею и неуловимое искушение примириться с силами, с которыми он до сих пор тягостно сражался. Ведь так легко пожелать — и поплыть вместе с ними; к чему же силиться быть изолированной точкой, бессильно-страдающей, безнадежно противящейся неутомимому, возрождающемуся вновь и вновь противнику, который все равно поглотит тебя, отчаянно барахтающегося или радостно приемлющего свою участь? И вот так человек вверяется судьбе. Ценой такой измены самому себе, согласившись на риск и раз и навсегда отказавшись от способности выбирать путь и останавливаться где захочет, он сразу же сбрасывает с плеч тревоги, избавляет свой ум от забот предвидения, а свою волю — от груза решений, его душа наполняется покоем подземных глубин, а его гордыня возбуждается при мысли, что отныне он в согласии с миром, жизнью, историей, что водовороты судьбы сами собой несут его к пропасти или к славе.

Собственно, чем была бы судьба без такого самоотречения? Именно ему она и обязана всем своим могуществом. В головокружении самое главное — согласие с ним. Оно не рождается из опасности, а само ее порождает, и это существенным образом отличает его от страха. Опасность для человека не в пропасти, от которой достаточно отступить, а для птицы — не в змее, от которой можно спастись одним взмахом крыльев, опасность в том, что человек склоняется над пропастью, а птица не в силах отвести взгляд. Очевидно, она не вольна избежать гибели, но у людей все не так просто. Конечно, не все они в равной мере наделены волей: известно, что они в разной степени противятся искушениям и многим удается уцелеть просто потому, что не было случая пасть. Однако в конечном счете игорный стол сам по себе столь же неразрочителен, а роковая женщина столь же нефатальна, как бессмертны пропасть или змея для тех, кто не чувствует к ним влечения. Соответственно судьба существует лишь для тех, кто отдается ей, и означает просто внутреннюю слабость. Конечно, ее преувеличивают, проецируют вовне, обожествляют. Все это обозначает не более чем полноту самоизмены.

Еще более углубившись в эту материю, мы обнаружим, что подобное головокружение может охватывать и целые общества, и не исключено, что именно такими внезапными приступами объясняется то, сколь славной и желанной бывает война, порой принимаемая с горячим восторгом, словно какое-то высшее освящение. И в самом деле, поскольку нация может быть полностью или частично практически уничтожена лишь в ходе вооруженного конфликта, то война образует в высшей степени критическую фазу ее существования, является для нее неким решительным испытанием и, следовательно, по праву предстает как судьба. Этого достаточно, чтобы по отношению к ней развивались самые противоречивые чувства. В самом деле, можно заметить, что она вызывает то почти религиозный

¹ Антиней — персонаж романа Пьера Бенуа «Атлантида» (1919), древняя царица, убивавшая своих любовников. — *Примеч. пер.*

энтузиазм, по крайней мере явное одобрение, то, более часто, безапелляционное осуждение, полное страха, ужаса или отвращения. Не приходится ожидать, чтобы эти позиции всегда носили предельно чистый характер, но каждая из них нередко объявляет другую преступной, едва ли не кощунственной, и в своей ненависти к ней даже не пытается ее понять или обсудить.

Отсюда следует, что обычно существует некое предвзятое согласие с войной, служащее противовесом отвращению, которое она вызывает к себе обычно. Этому есть соответствия и в устройстве государств. Одни из них, не желающие отдавать свою участь на волю судьбы и стремящиеся вести разумно-осмотрительную политику, не стремятся мобилизовать все имеющиеся у них ресурсы и энергию и не заставляют людей еще больше трудиться и закалять свое мужество, в ожидании когда наступит день героического решения. Им также не нужна мистика войны, они ведут войну лишь по последней необходимости, уже принеся самые тягостные жертвы ради ее избежания. Они сознают, что она — великая беда. Но бывает и наоборот — что в трудном положении или под действием различных влияний, некоторые из которых могут носить сугубо духовный характер, народ соглашается пойти на смертельный риск и не желает больше следовать привычной тропой. Мысленно он смиряется с войной завтра, а фактически — с лишениями, которые необходимы для нее уже сегодня. С ее перспективой он соотносит всю свою деятельность и различные стороны своей национальной жизни, от экономики до чистых наук. Его жребий брошен. Остается лишь повиноваться и трудиться, участвовать в общем усилии. И это усилие вскоре сопровождается обожествлением силы и закона войны. Такая нация не просто готовится к войне или желает ее. Она ждет ее с трепетом, словно новобрачная, и видит в ней страшное оправдание как своих жертв, так и своего понимания природы и истории. Она чувствует себя предназначенной для войны и потому стремится к худшему, не столько в силу обдуманного выбора, который делается вновь на каждой исторической развилке, сколько потому, что раз и навсегда отреклась от собственной воли. Здесь нельзя говорить об ответственности — вся беда в том, что люди сняли ее с себя, навсегда запретили себе думать о последствиях и говорят не «Я продвигу», а «Будь что будет».

Итак, пути, ведущие государство к войне, а сознание людей — к приятию ее, оказываются параллельными. Оба они чреватые головокружением, когда вместо упорной волевой работы предпочитают полагаться на решение неподвластных нам сил. Конечно, главная причина конфликтов не в этом. Но им дают слишком много таких объяснений, которые по зрелом размышлении оказываются и неясными, и неубедительными. Не то чтобы то или другое из них казалось ложным, но в них словно недостает какого-то важного элемен-

та — какой-то сокровенной пружины, которая в конечном счете придает им эффективность, сама не действуя прямо и ни разу не проявляя вонне свою природу. В самом деле, можно вычислять, какую роль здесь играют страсти, а какую хладнокровный расчет. Можно сравнивать действие политических и экономических факторов, можно спорить, что сильнее — отечество или деньги, гордость или корысть, защита территории или завоевание рынков сбыта. И нам никогда не определить точно, что же перевешивает на весах — национальные интересы или же «интересы» как прибыль. Утверждают также, что войну ведут ради некоего идеала свободы или справедливости, и хотя в этом нет большой уверенности, но это все же куда более удовлетворительная причина, чем воображают наивные люди, профессионально не доверяющие никакой наивности. И все же ни один из этих мотивов сам по себе не является ни окончательным, ни решающим. Говоря, что ведут войну ради торжества права, забывают, что она есть прежде всего конец всякого права и что, ведется ли она за правое дело или нет, она несет с собой больше бесчинств, чем была призвана исправить. Если народ желает стяжать на ней славу, тогда борьба должна быть равной и трудной, а это слишком большой риск ради столь мало кем ценимой радости. Сдругой стороны, отмечают, что война приносит процветание в некоторые отрасли промышленности, но ведь зато она парализует еще больше других отраслей, которые должны быть так же заинтересованы в ее предотвращении, как и первые в ее провоцировании. К тому же ни те, ни другие не защищены от угрозы уничтожения огнем и мечом. Что касается богатства страны, то понятно, что его не увеличить множеством разрушений, которых не возместит даже дань, налагаемая на еще более разоренную побежденную страну. Наконец, если войну вызывает душевная склонность, то сразу же приходит на ум, что у большинства людей главная такая склонность — не воевать, и что хотя на войне и можно удовлетворить воинственный пыл немногих, зато приходится постоянно преодолевать страх множества других.

Все эти проблемы очень сложны; элементарная осмотрительность советовала бы не поднимать их, если бы сама трудность, с которой сталкиваются пытающиеся решать их, не навела сразу же на мысль о том, что они недооценивают некий фактор, который, впрочем, и не их ума дело. В реальности война обладает своей собственной притягательной силой, которая слагается с каждым из различных факторов, способных привести к войне, и позволяет им быть сильнее других. Дело происходит так, словно, будучи предоставлено собственной воле, развитие вещей само собой ввергает нас в войну, словно для ее избежания приходится все время бороться. Все пользует какая-то сила тяжести. Стоит поддаться ей, и это становится первичной опорой для всех сил, рождающих кон-

фликт, и тогда эти силы начинают расти сами собой просто оттого, что по ходу процесса вбирают в себя результаты собственного действия, еще более умножая свою мощь. Они постоянно капитализируют свою прибыль. Здесь ничто не пропадает, все идет в работу. Любой продукт тут же становится средством производства и сам начинает производить. Такое накопление идет очень быстро и имеет своей единственной целью войну как таковую, резкое расточение запасов, моральных и материальных энергий, взрыв, который одновременно и уничтожает и увенчивает их — и оправдывает собой труд, приложенный для их накопления. В таком замкнутом круге, собственно, и состоит головокружение от войны: оно вызывает настоящий провал в катастрофу, процесс, который ускоряется без всякой посторонней помощи и который никто не может и не желает замедлить. И вскоре оно уже вызывает словно некое удовлетворение от самой этой катастрофы, принимающей облик грандиозно-страшной судьбы, великолепно-пугающего апофеоза, в котором исчезает индивид, чтобы решилась судьба целого народа.

В целом общество ведет себя словно вторая природа, такая же слепая, неразумная и бесчувственная, как и первая. Человек должен именно так относиться к ним обеим и не доверять ни той, ни другой. У каждой из них есть свои собственные законы и своя особенная инерция. Поскольку общество создано только человеком, человеку трудно поверить, что оно составляет часть природы и само есть природа. Он удивляется, видя, что оно не вполне прозрачно для его мысли и не вполне проницаемо для его воли. Он изумлен тем, что оно обладает собственной толщей, непрозрачностью, массивностью. Он думал найти в нем бессильную среду, лишенную каких-либо качеств, что-то вроде абсолютного геометрического пространства, которое не влияло бы на его действия и ни в чем бы их не стесняло, а перед ним простирается неровная, магнетически заряженная, ориентированная по направлениям протяженность, где у всего есть какое-то место и это местоположение влечет за собой серьезные последствия, где нельзя передвигаться без усталости и где вообще нет ничего эквивалентного и взаимозаменяемого. Он с неудовольствием констатирует, что здесь тоже он может распоряжаться, лишь повинувшись. Он обнаруживает, что пределы его власти уже, чем казалось, а всюду, куда она не достигает, сразу же начинается область простой механики, которой нет дела до его радостей и болей, а тем паче до его добродетелей. Все это известно. Но известно также, что пространство, эта рамка, созданная, казалось бы, для того, чтобы все в себе заключать и ничего не искажать, на самом деле предписывает каждой вещи особые отношения, возникающие просто от того, что она занимает какое-то определенное место; они, скажем, мешают даже мысленно наложить друг на друга две фигуры, во всем одинаковые как предмет и его отражение или же как две ру-

ки одного человека. Тем не менее мы убеждены, что пространство не в силах что-либо прибавить к тому, чем оно наполнено. Сходным образом и общество, казалось бы, не может быть независимо от составляющих его индивидов, а в то же время оно неподвластно их желаниям и порой ловит их в западню. Как только его начали изучать, за ним сразу пришлось признать это грозное свойство. Когда государства-соперники вперегонки наращивают свои вооружения и доходят до грани банкротства, так и не увеличив сколько-нибудь разрыва в силах, который в конечном счете один лишь имеет значение, — в связи с такой изнурительно-бесплодной конкуренцией обоснованно вспоминали усилия сосен в некоторых лесах, которые расточают драгоценные соки для того, чтобы ствол рос все выше и выше, чтобы верхние ветки перекрыли соседа и отняли у него солнце. В результате получают колоссальные голые стволы, лишь на вершине которых остается живая зелень. Следует напомнить, что такое сравнение не произвольно: оно точно показывает нам, как события, которыми вроде бы распоряжаются люди и которые можно было бы считать следствием их выбора, на самом деле увлекают их за собой, а когда кто-либо смело пытается идти им наперекор, сурово ограничивают его успехи. Не то чтобы любая такая попытка была непременно бесплодной, но она стоит многих терпеливых трудов, а между тем растет и делается все сильнее искушение не противиться мысли, которую столь трудно одолеть, зато так славно и полезно было бы поддержать.

В этой точке и происходит согласие с головокружением, а за ним и принятие судьбы. Все обращается на пользу войны и устремляется к ней. А поскольку где событие — там обычно и идея, то война становится высшей ценностью. Нет ни одного горячего сердца, которое не охватывали бы мало-помалу ее чары. Каждый мысленно преображает ее, ожидает ее свершения и нетерпеливо летит к своей гибели, словно насекомое к пламени или птица к змее. Спящий его блеск и увлекающий его восторг — всего лишь плоды его измены себе, но что теперь ему скажешь? Он ведь уже чувствует себя мерой всякого величия, непобедимым героем, игроком и любовником.

СОЦИОЛОГИЯ КЛИРИКА

Пожалуй, ни одна проблема не вызывает так много споров, как место духовной власти в современном обществе. Жюльен Бенда упрекнул клириков в измене¹, во вмешательстве в мирские дела. Совсем недавно Арчибальд Маклиш² в своем манифесте «Безответственные» адресовал им тот же упрек, но обвинил их в прямо противоположной измене — по его словам, писатели слишком пренебрегают делами света. Поглощенные исключительно формой своего искусства или же чисто научными исследованиями, они-де перестали осуществлять контрольную и направляющую функцию, которой раньше оправдывались привилегии их сословия. Одним словом, они отказались брать на себя ответственность, которая выпадает на их долю в мирских борениях. Кому же верить? То ли клирики виновны в том, что слишком заняты светом, то ли в том, что слишком мало им заняты? Я хорошо понимаю серьезность этих обвинений, но вижу и то, что они противоречат друг другу. Однако по отдельности каждое из них представляется в высшей степени обоснованным. Никогда еще столь многие клирики не были так страстно вовлечены в споры между партиями или нациями. Идеи и реальность фашизма или коммунизма вызывали среди них острейшую полемику, и нередко писатели выходили на арену этой борьбы с пером, а то и с ружьем в руках. Ибо им мало было писать — они сражались. Порой они без остатка, вплоть до самой своей жизни отдавали себя в распоряжение тех групп и учений, к кото-

¹ Имеется в виду книга критика и публициста Жюльена Бенды «Измена клириков» (1927) — памфлет против французских «интеллектуалов», которых он называет «клириками» (clerics), словом, по-французски означающим и «представителей духовенства», и просто «грамотных, образованных людей». — *Примеч. пер.*

² Американский поэт и публицист (1892–1982). — *Примеч. пер.*

рым примыкали. Другие, не столь безоглядные, не отрекаясь от свободы суждения и никому не вручая себя в служение, все же считали себя обязанными, именно как клирики, выступать со свидетельствами и заявлять о своей вере.

Так, значит, прав был Бенда? Но, как кажется, Маклиш тоже не ошибся, ибо нигде не видно результатов этой яростной борьбы. Сильные мира сего не считаются с предостережениями клириков. Реальности нет дела до их предсказаний. Да, конечно, они высказались, но никто не обратил внимания на их слова, и все произошло так, как если бы они промолчали. Пожалуй, они и были «безответственны», но не потому, что отказались от ответственности: сами-то они ее жаждали. Скорее они безответственны оттого, что их рассматривали в качестве таковых и не прислушивались к их голосу.

Итак, можно предположить, что клирики оказались безответственны вопреки себе. Откуда же возникает такая странная ситуация? Не следует ли внимательнее взглянуть, как осуществляется влияние клирика и при каких условиях он может оправданно и плодотворно притязать на свою роль? Тому, что столь многие усилия оказались безнадежными, что столь много доброй воли пропало зря, должна быть какая-то серьезная причина.

В обществе, основанном на разделении мирского и духовного состояния, оппозиция клирика и мирянина дана в фактическом положении вещей. Она носит здесь несомненный, можно сказать конститутивный характер. Напротив, при единообразном общественном устройстве нельзя принять как нечто очевидное, что некоторые элементы общества притязают на функцию клириков, ссылаясь на то, что ценности, которым они служат, рассматриваются ими как отвлеченные, вечные, универсальные, вообще независимые от мирских интересов. И действительно, они утверждают самый принцип таких ценностей — в согласии, в отсутствие или вопреки мирским интересам; но делает ли это действительной и эффективной их позицию?

Отстаиваемые ими ценности — справедливость, разум, истина — противостоят идеалам воплощенным, таким, как нация, сословие, класс, которые по природе своей предполагают безусловное стремление к эгоистической выгоде. Легко понять, что именно такие идеалы выдвигают на первый план политики, занятые управлением, сохранением, преумножением общественных благ. Одновременно становится понятным конфликт, способный возникнуть между этими образованиями, включенными в ход истории и вынужденными бороться за свое существование, и абстрактными принципами, которые «клирики» либо стараются утвердить в обществе,

рискуя при этом подмешать к их золоту неблагородный свинец, либо почитают их в уединении, вдали от всяких борений, сохраняя в неисказимой целостности их очертания.

У того, кто правит, нет выбора, ему приходится, как говорил Гете, предпочитать несправедливость беспорядку. Таков главный завет политика. Зато тем гражданам, кто не несет ответственности, от кого не зависит правильный ход ни одного из множества механизмов общественной жизни, которые стали необходимыми в силу сложнейшего разделения труда и которые как раз и делают возможным отрешенно критиковать ее ход, — у них остается широкая возможность маневра. Они могут наперекор политикам выдвигать авторитетный лозунг «*fiat justitia ruat coelum*»¹ и ради осуществления справедливости в каком-то частном деле накликивать страшнейшие катастрофы, вплоть до гибели всего мира.

Нельзя скрывать серьезность, внутреннюю логику и, с известной точки зрения, величие такой позиции: в любом упорстве, в любом непримиримом, наперекор всему, сопротивлении есть какая-то дикая притягательность, невольно вызывающая восхищение. Но ведь в конечном счете ни упрямство, ни героизм еще не гарантируют точности выводов, и мученической смертью нельзя доказать истинность никакого закона. А коли так, коль скоро заблуждение может быть не лишено душевной силы, то следует остерегаться требовать от него невыполнимых обещаний, и мы должны просто констатировать, что различие клирика и мирянина если и имеет смысл в обществе, не знающем различия духовного и мирского состояния, то лишь постольку, поскольку оно покрывает собой оппозицию двух определенных выше позиций, из которых одна все подчиняет порядку, а другая — справедливости.

Современный «клирик» льстит себе, объявляя себя защитником всех высших, вечных, бескорыстных ценностей, так как многие из них он по умолчанию или по прямому решению оставляет в стороне. Нередко он осуждает одни из них, хотя они и обладают всеми чертами одобряемых им ценностей, — например, абстрактное понимание силы как таковой, — и пренебрегает другими, например красотой, к которой ведь тоже в точности применимы все определения, обычно привлекающие его к себе. Вообще, невозможно отрицать, что назвать клирика художником как-то особенно противно нашему уму. Причина этого также прозрачна: признаваемая художниками ценность и зависящая от нее деятельность эстетического творчества не имеют практического применения в мирской жизни, не способны вносить в нее начало морального решения. Искусство с чем угодно смиряется и что угодно украшает. А если

считать, что ценности «клирика» должны быть бескорыстны, то они должны обладать эффективной действительностью, требующей некоторой личностной вовлеченности. В силу этого мы не вполне признаем за «клириком» право защищать истину, если только, разумеется, в силу обстоятельств она не связана со справедливостью и не заставляет занимать определенную позицию в конкретных спорах света. Отсюда следует, что ученый не обязательно является «клириком» и является «клириком» не в качестве ученого. Поэтому оспаривать какую-либо научную теорию — вообще говоря, не дело «клирика». Напротив, доказывать подложность документа, по которому осудили невинного, и как следствие требовать пересмотра дела — вот это настоящая «клерикатура»¹. Нет нужды подчеркивать, насколько отлична такая роль от роли эксперта, проверяющего документ и профессионально дающего свое заключение по поставленному перед ним фактическому вопросу. Ученый не ставит ценностных вопросов, никогда не озабочен понятием должного, и в этом отношении он не совсем «клирик».

Итак, мы подходим к мысли, что «клирик» занят защитой одной-единственной ценности — справедливости. Действительно, из всех ценностей, считающихся абстрактными и бескорыстными, только ее существование в конечном счете зависит от мирской жизни, только ее применение выливается в определенные поступки и, так сказать, в определенную политику, а главное, только она заставляет делать выбор между нею и обществом. Не терпя удобного добрососедства с миром, она требует, чтобы он по отношению к ней, а ее слуги по отношению к нему занимали недвусмысленную позицию полного согласия или же открытого конфликта.

В этом пункте наш анализ позволяет выявить второе, еще более серьезное расхождение между притязаниями «клирика» и его природой. В самом деле, невозможно всерьез утверждать, что справедливость является, как утверждает «клирик», абстрактной, абсолютной, незыблемо-априорной. Наоборот, нет ничего более изменчивого, связанного с той или иной цивилизацией и зависимого от времени и пространства. По вопросу о справедливости восточный человек не согласен с европейцем, человек античности — с христианином, ребенок — со взрослым, кочевник — с оседлым жителем, землепашец — с охотником; как известно, в полярных областях даже у одного народа летом и зимой бывает разная, периодически сменяющаяся справедливость.

Конечно, можно полагать, что нравственность всегда одна и та же. Добросовестность и прямота не зависят от климата, и в лю-

¹ Намек на дело Дрейфуса, в ходе борьбы за пересмотр которого (1890–1900-е годы) во Франции впервые сложилась фигура «публичного интеллектуала». — *Примеч. пер.*

¹ «Да свершится справедливость, пусть даже рухнут небеса» (*лат.*). — *Примеч. пер.*

бом краю по одним и тем же признакам различают щедрость и скупость, честность и лицемерие и немало других хороших или дурных качеств, оценка которых практически не меняется от страны к стране и от века к веку. Но такие добродетели касаются лишь частной жизни. Они затрагивают только нашу душу. Их никогда не требуется соблюдать по закону. Их даже не всегда высоко оценивает общественное мнение. Когда в игру вступает чей-нибудь личный или общественный интерес, в их оценке уже ни у кого нет согласия. Они ничем не санкционированы. Они носят всецело интимный характер. Стоит сопоставить их с необходимостями коллективной жизни, как выявляются отличия; с одной стороны — кодексы, с другой — обычаи; и хотя в своем первоначале, в сердце человеческого нравственность незыблема, но она диктует человеку различные, изменчивые права и обязанности, если только в его поступках заинтересована группа, где он живет и воспитывается. Сталкиваясь с конкретным материалом, инстинкт справедливого и несправедливого рассеивается на бесчисленные законы — размытые или точные, но в равной мере настоятельные.

Более того, понятие справедливости само по себе двусмысленно. Уже много раз перечислялись его различные употребления, уже много раз обсуждался вопрос о том, следует ли воздавать каждому по заслугам, по способностям или по потребностям и как определять их величину. Нет необходимости здесь останавливаться: показательно уже само это затруднение. По сути, содержание идеи справедливости колеблется между двумя полюсами, которые более или менее точно выражаются греческими понятиями *themis* и *dike* или латинскими *fas* и *jus*: между мировым порядком и беспристрастным распределением — между концепцией, вдохновляемой наблюдением природы и переживанием космического порядка, согласно которому у каждого явления есть какое-то свое время и место, и другой концепцией, которая мыслит скорее геометрически, стремясь к точным разделам и пренебрегая случайными обстоятельствами. «Клирик» очень многим обязан неточности языка, где одно и то же слово заключает в себе эти два разных понятия: основополагающее равновесие мира, которое нельзя нарушить, не приведя в действие силу противодействия, и распределение наград и наказаний пропорционально делам каждого. В этом главная трудность: действительно, очевидно, что в космическом плане справедливость и порядок — одно и то же, а дела общества, включая права и обязанности каждого, тоже включены в эту упорядоченность мира, так что максима Гете, которая отдавала предпочтение порядку перед справедливостью и которой прямо противится «клирик», вдруг оказывается законной, универсальной и бескорыстной формой справедливости — той, что выражается в постоянстве вечного порядка мироздания

и отнюдь не идет наперекор стремлениям распределительной справедливости, но дает им разумное основание. Именно так рассуждает любой консерватор.

Не соглашаясь с крайними выводами из этой диалектики, по которой получается, что понятие справедливости, охотнее всего признаваемое «клириком», не единственно обоснованное, — ибо в конце концов он волен принимать то, какое предпочитает, и не заботиться о существовании других, — извлечем из нее еще один довод, подтверждающий глубинную, почти неуловимую двусмысленность данного понятия. В конечном счете это слово, под которым каждый подразумевает что хочет. Договориться о его содержании можно лишь ценой его обеднения, крайнего абстрагирования, так что оно оказывается не применимым непосредственно ни к чему конкретному. Мосты разрушены. Нет больше строгого, однозначного, необходимого нисхождение от принципа к событию, есть только случайно-множественные интерпретации того или иного обсуждаемого конфликта, где каждый, будучи не в состоянии логически вернуться к определению понятия, по своей прихоти вводит произвольные опосредующие звенья между ним и конкретным фактом, о котором хочет принять решение. Поэтому «клирики» расходятся в том, чего требует справедливость в каждом конкретном случае, и предлагают не согласные друг с другом решения, которые однако же все в равной степени ссылаются на ее принцип.

Понятно, сколь много значит эта констатация: «клирик» — не беспристрастный хранитель нравственных устоев общества, каким он представляет себя. Он не пребывает вне общественного развития, непосредственно подчиняясь вечным принципам, торжества коих желает: между ними и произносимыми им суждениями есть пробел, который он не может убедительно заполнить и через который лицемерно вкрадываются давление интересов его политической группы и все бессознательно разделяемые им предрассудки. Даже если вообразить, что он свободен от всего этого, на его решения влияют еще и уколы самолюбия, да хотя бы даже и тайная гордость тем, что он таков. В такой ситуации «клирик» изображает ангела, а сам оказывается не лучше зверей; в действительности он игрушка тех самых воздействий, над которыми притязает безраздельно возвышаться и охотно указывает на их низменность по сравнению с высшими ценностями. Вместо того чтобы говорить лишь с точки зрения вечности, он выражает свое личное мнение, и порой в высшей степени зависимое от самых недостойных мотивов; он высказывается по любому поводу якобы от имени разума, истины и справедливости, между тем как это по праву может делать каждый и непременно делает это, толкаемый тщеславием, — положение невыносимое и анархическое, источник новых беспорядков и ошибок.

Значит ли это, что социальную функцию клирика следует безоговорочно осудить? Из вышеприведенного анализа следует, что она является ложной лишь для единообразного общества. К тому же служение клирика в нем безрезультатно, словно пятое колесо в колеснице. Ибо это общество не содержит в себе разделения на духовное и мирское состояние, зато его политики вынуждены действовать под знаменем права. Все они, хотя бы де-факто и от случая к случаю, являются адвокатами и апеллируют к справедливости, к вечным и неотъемлемым ценностям для обоснования решений, продиктованных одним лишь удобством. Каждый их поступок требует оправдания, ссылки на идеальные принципы. Как же тогда сделать выбор между справедливостью «клириков» и справедливостью политиков? Есть ли способ отличить, какое из прав, на которые они ссылаются, является законным, а какое узурпированным? Может быть, честь бескорыстие, которым так гордится «клирик»? Но мало того, что оно не всегда очевидно, и вообще трудно представить себе абсолютное бескорыстие, — странная это логика, согласно которой бескорыстие есть гарантия истины, тогда как на деле оно дает лишь шанс обладать ею; можно подумать, что для справедливого решения спора достаточно не иметь в нем интереса или же признать себя неправым.

Кроме того, предполагается, что «клирики» — по одну сторону, а политики — по другую. Но ведь политики вырабатывают свое мнение, противопоставляя его позиции противника, а значит, случайным образом оказываются правы или неправы, не переставая отстаивать представляемые ими интересы. Что же касается клириков, то они, как мы видели, не могут перейти от принципов к событиям, не воспользовавшись каким-то случайным элементом, то есть тоже следуют мнениям, продиктованным не одной лишь справедливостью. А потому в каждом противоборствующем лагере практически неизбежно должны оказываться и «клирики», и политики, что и происходит в действительности.

Ничто не свидетельствует более убедительно о несостоятельности «клириков», как их противоречия между собой, их неспособность надежно предпочесть произносимые ими самими суждения тем резонам, на которые ссылаются политики. Однако следует повторить, что данный итог касается лишь того случая, когда «клирик» предстает лишенным своих прерогатив. В этом случае его социальная функция, оставаясь чистым пережитком и не имея более живой силы, устройством социального бытия передается самим правителям.

Напротив, когда клирик занимает определенную должность в обществе, в силу этого факта он наделяется авторитетом — не как индивид, а как член организации, имеющей четко определенную природу и именуемой церковью. Она обладает своего рода моно-

полией на клирикатуру, не позволяя никаким конкурентам перевесить ее в кредиты или же помешать ее деятельности. Следует также иметь в виду, что церковь, как блестяще показал Ж. де Местр, по сути своей самодержавна и непогрешима и что из этого прямо вытекает строжайшая дисциплина во всем, включая порядок мысли. Не будь так, будь каждому оставлена вольность иметь свое мнение, выражать и отстаивать его, когда, где и как ему заблагорассудится, — немыслимым был бы никакой действенный престиж или авторитет. Церковь, эта по необходимости сплоченная группа, выступает как цельное, нерушимое образование, которое развивается путем свободного разветвления или кооптации новых членов, пребывая внутри общества, но не будучи сковано мирскими рамками. Именно в силу своей принадлежности к этому неразделимому целому клирик облекается своими полномочиями и получает отличный знак — сутану или тонзуру, — которым он исключен из профанного мира и наглядно отмечен как вместилище сакрального. Его сила — не сила человека, но сила организма, в котором исчезает его личность и который она тем не менее репрезентирует во всей его целостности, будучи его недостойным представителем; ибо клирик, устранившись сам, позволяет церкви вселиться в его душу, вещать его устами и воплощать всю полноту своего бытия в ничтожном теле каждого из своих служителей.

Тогда, полностью отрешившись от мира страстей и желаний, они могут смотреть на него свысока. Покуда они замешаны в его делах, у них нет точки опоры, чтобы его поучать.

Этим объясняется роль клириков в тех обществах, где ее отмечают наиболее четко: в Китае ученый занимал место рядом с феодалом, одобряя или осуждая его правление; индийский брахман, гарант божественного порядка, находился рядом с раджей и давал ему советы; а на христианском Западе феодалному сеньору противостоял монах, а императору — папа, вооруженный разящими актами анафемы, интердикта и отлучения. Авторитет одного из них никогда не бывает бессилен против дружины второго.

Только при таких условиях существует равновесие между духовной и мирской властью, а клирикатура обладает смыслом и мощью. Но авторитет клирика идет не только от церкви. К этому внешне-социальному источнику прибавляется еще другой, интимно-личностный: высший статус своей должности клирик обеспечивает строгим соблюдением обетов и добровольного служения — отчуждая по своей воле свою индивидуальную природу и зримо обозначая это своим священническим одеянием. Отречение от наслаждений, отказ от удовлетворения желаний, от всего, что дают плоть, деньги и словесные почести, что желанно для людей и презренно для него, — именно это сообщает ему некое сущностное превосходство над теми, кто довольствуется тем, чем он пренебрегает. Отказываясь от мир-

ских выгод, чтобы обрести заслуги, — не столько из отвращения, сколько из предосторожности, вернее для того, чтобы, требуя много от себя, иметь возможность требовать и от других, — он тем самым неоспоримо доказывает высоту своей души и в собственном бытии выигрывает бесконечно больше, чем теряет в имуществе.

Теперь легко понять, ради какой выгоды в современном обществе некоторые миряне, движимые воспоминанием или воображением, с гордостью принимают на себя эту роль, социальная необходимость которой перестала быть актуальной и которой к тому же у них никто не оспаривает. Их прибыль очевидна. Притязая на роль клириков, но оставаясь мирянами, они рассчитывают играть сразу на две руки, сохраняя или же получая все от мирской, даже светской жизни (ибо их несознательность не имеет границ), но в то же время надеясь, что благодаря заемному имени их будет окружать сакральный ореол, что к ним будут прислушиваться как к глашатаям вечности, что они будут обладать церковным авторитетом, пользоваться привилегиями, не беря на себя соответствующих обязанностей, присваивать себе право судить об общественном управлении, снимая с себя должностную ответственность, вообще стоять в позе незыблемого столпа, когда на самом деле их колеблет малейший ветерок.

Такую узурпацию титула следовало бы изобличать со всей суровостью, если бы из нее вытекали какие-либо серьезные по своим последствиям нарушения. Но самозванцы стараются понапрасну, и их притязания сразу же уходят в пустоту. Людям лучше слышны голоса вопиющих в пустыне, чем те, что звучат на ярмарочной площади. Все, что гласят эти «клирики» без церкви, теряется в площадном гвалте, ибо здесь каждый, по их примеру, поучает других, точно так же тщась быть глаголом справедливости и права и не обеспечивая доверия к себе ничем, что бы отличало его жизнь от жизни толпы. Порой можно слышать, как они жалуются, что их речи остаются мертвой буквой, и в то же время радуются, что живут во времена блаженной терпимости, когда больше нет опасности попасть на костер за слова, — как будто одно не вытекает из другого, как будто было бы естественно, если бы толпа покорно слушала и запоминала слова, которые недорого стоят говорящим и ни к чему их не обязывают.

Все эти причины, в силу которых неправомерное использование титула клирика представляет собой явный обман, одновременно определяют собой и предпосылки подлинной клирикации. Они показывают, что такая клирикатура никоим образом не совместима с состоянием распыленности, где каждый либо знает не знает остальных, либо сражается против них. Они утверждают необходимость строго оформленной, иерархизированной организации, каждый член которой лишен покоя и воли, лишен возможности наслаждаться и даже располагать собой. Такие люди, отчужденные одновремен-

но и от мирского общества, и от себя самих, образуют в стороне собственную общину сильных. Они не станут вмешиваться в дела света, меряя их несовершенство по меркам абсолюта, а займутся выработкой таких ценностей, которые обновят общество, ценностей отнюдь не абстрактных и не вечных, но столь же идеальных, столь же одушевляющих — одним словом, исторических ценностей, подверженных становлению и смерти, отвечающих нуждам данного времени и данной среды и гибнущих благодаря самой своей победе. Подобные ценности представляют собой действительную проекцию преходящих стремлений, в которых однако же неизменно выражается моральная требовательность, это настоящие *идеи, которые движут миром*; может статься, что когда-то эти идеи, уже мертвые, превзойденные, ископаемые, будут от нехватки иных идей вновь применены другими людьми, которые станут называть себя «клириками» и безнадежно отстаивать их, тогда как нужно создавать новые идеи.

В самом деле, истинные клирики не отстаивают ценности, а творят, добывают их. Их история — это всегда история какого-нибудь ордена иезуитов. Они не критикуют и не одобряют извне, но своим словом и примером распространяют, расширяют, ведут к торжеству веру, благодаря которой они изначально, чудесным и неразрывным образом, сплотились вместе. Их влияние оказывается заразительным. Поначалу у них, как в семени, нет дифференциации, действие и созерцание взаимопроникают, один и тот же человек создает монашеские правила и направляет руку светской власти. Клириком можно быть только в церкви, и их воспитывает воинствующая церковь. Поэтому их судьба — не цепляться за слова, от которых удалились вещи, а в борьбе лицом к лицу с действительностью готовить ее преобразование, упорядочивая мир по своему желанию и распространяя вовне тот порядок, который они сделали господствующим внутри себя самих.

Такова драма безответственности и бессилия клириков: они думали, что их дело — спасать мир, забыв, что они не несут ему никакого залога или примера, а одни лишь свои претензии и тщеславие. Не так-то просто быть пророком или мессией. Недостаточно назвать себя таковым. Надо как бы родиться к новой жизни, и лишь те сумеют мало-помалу преобразовать общество, кто удалился от всех даваемых им выгод, чтобы создать промеж себя иное, более строгое общество, более чистое и более сильное, одновременно и скромное и непокорное.

ДУХ СЕКТ

Вступление

В недавние годы ряд писателей, по-видимому, откликаясь на проблемы нашей эпохи, обращали внимание на роль сект в обществе. Некоторые строили теорию сект, другие рассказывали, каковы они на деле. Наконец, есть и такие, что извлекали уроки из собственного опыта. Оставлю в стороне все относящееся к чистому вымыслу: есть немало романов, особенно для любознательных юных читателей, изображающих деяния какой-нибудь таинственной и всемогущей ассоциации, которая под сенью лесов или же в сердце столичных городов отправляет обряды кровавого культа, вершит страшную месть, защищает право и добродетель или же стремится завоевать власть над миром. Шайки убийц или пиратов, общества фанатиков или честолюбцев, преступников или поборников справедливости — по-видимому, в детских мечтаниях все эти варианты равно удовлетворяют какому-то природному инстинкту, соединяющему вместе приключения и тайны. Все это лишь фантазии, от которых взрослый если и получает удовольствие, то обычно сам того стесняется. Однако же ему предназначены иные повести, весьма близкие к тем. Их авторы относятся к ним вполне серьезно. Они вовсе не выдают их за произвольные выдумки, сочиненные как придется и лишь для развлечения. Если им верить, они выявляют общественные потребности, предлагают спасительные средства, выдвигают обдуманное учение или же осуществимые программы действий. Излагаемое ими они рассматривают как реальное, или возможное, или желательное. К примеру, знаменитый романист Жюль Ромен, взявшись писать верную и полную хронику своего времени, счел должным посвятить целый его том, характерно озаглавленный «Поиски новой церкви»¹, такого ро-

да странным заботам. Один из персонажей этой книги перетолковывает всю мировую историю в свете могущества, которое он приписывает сектам. Как объясняет он, только они единственно и руководили всем. Всякий раз умело и действительно прилагая силу в важнейших точках, они по своей воле, но не выдавая себя, вызвали или направляли решающие события. И он приводит в пример монашеские и воинские ордена, тамплиеров и тевтонских рыцарей, янычар и ассасинов, наконец, иезуитов и франкмасонов, которых, по его мнению, следовало бы соединить в общем союзе. Сей бесстрашный историк довольствуется одними лишь умствованиями. Другие же приступают к делу, и нам подробно описывают темные деяния заговорщиков, решившихся предотвратить войну путем устранения тех, чьи маневры, расчеты или ошибки ставят под угрозу сохранение мира.

Сходным образом и Томас Манн в «Волшебной горе» рисует широкую картину политических тенденций, которые делят между собой современный мир. Автор одновременно и суммирует, и исследует их. Особенно рельефно выделяется один персонаж-теоретик. Он отстаивает непримиримо радикальные идеи с такой ясностью и силой мысли, которые заставляют за ним следовать. Это еврей, ученик иезуитов, который и сам бы стал членом ордена, если бы его послушничество не было прервано болезнью. Эгалитарным устремлениям либерального демократа он противопоставляет идею коммунистического и теократического общества, где посредством святого Террора правит иерархическая организация непрелюбных аскетов. Не входя в дальнейшие подробности, отсылаю читателя к этим двум ярким свидетельствам. Вообще же, есть и немало других, не столь насыщенных и не столь знаменитых произведений, выражающих сходные заботы.

Итак, создается впечатление, что в наши дни многие умы с особой силой ощущают обаяние тайных обществ — причем в такой момент, когда и нравы и социальные институты, казалось бы, этому не способствуют. Им дорога мысль об основании какого-то Ордена — организации, изначально объединяющей нескольких людей, которые недовольны миром, где они живут, и желают его изменить. Часто воображают, как они заключают договор о солидарности, требующий от них бесконечно большего, чем они дают среде, откуда вышли, и чем сама эта среда могла бы от них потребовать. Но именно такая дисциплина их и влечет. В ней они ощущают залог эффективности. Считается, что такое сообщество поначалу защищено своей смехотворной ничтожностью, но мало-помалу оно расширяет свое влияние и могущество. Оставаясь меньшинством избранных, оно в конечном итоге добивается руководства судьбой целой нации или всего мира. Во всяком случае, оно решающим образом влияет на их правление, о чем не догадывается тщеславное,

¹ Жюль Ромен (наст. имя Луи Фаригуль, 1885–1972) — писатель, автор много томного «романа-потока» «Люди доброй воли». «Поиски новой церкви» — седьмой том этого сочинения (1934). — *Примеч. пер.*

претенциозное и недалекое большинство, которое в блаженном рабстве несет на себе иго этой незримой власти.

Конечно, все это мечты, которые я здесь представляю в еще более преувеличенном и химеричном виде. Но было бы ошибкой слишком уж пренебрегать ими. Они говорят о тревоге, переживаемой многими, и вдохновляемые ими предприятия могут оказаться жизнеспособными. Мы с улыбкой встречаем их в книгах, но мы можем с ужасом обнаружить их и непосредственно в жизни. Ибо такова природа мифов — стремиться к воплощению и к формированию реальности по своему образу. Следует остерегаться предвзятого скептицизма, еще более слепого, чем наивная вера, и мешающего следить за необычным развитием некоторых странных судеб.

Подходящую почву для такого рода замыслов представляла собой Германия еще до войны 1914 года. Конечно, то были пока лишь детские забавы. Но все же некоторые движения охотно вспоминали о них или выражали собой их симптомы. Молодежь, объединяясь в группы, как бы отделялась от общества и искала на дорогах более благоприятной атмосферы для своих смутных стремлений к пылкой чистоте. Война, а затем и поражение в ней придало этим еще безобидным и неопределенным влечениям новую силу. Национальное унижение доказывало крах прежнего, давно уже дискредитированного мира, чью посредственность многие и раньше отрицали и который пытался теперь сохранить себя с помощью пустой смены институций. Между тем масштабы бедствия говорили о необходимости радикальных перемен. Одновременно они и указывали общую, безотлагательную и грандиозную цель свободным энергиям, пока еще неясным стремлениям многих людей, которые скоро вступили в открытое противоборство с шатающимся порядком и стали подвергаться его преследованиям. Хорошо известно, что в те годы процветали тайные общества террористов и мстителей. На границах продолжали воевать вольные отряды. Внутри страны карали изменников суды святой фемы. В них черпало свои лучшие силы и гитлеровское движение. Все говорит о том, что позднее оно избавилось от этих слишком непримиримых элементов, но вначале находилось под влиянием их мрачного мистицизма. О таком изначальном разгуле страстей имеются красноречивые свидетельства, наиболее прямым и поучительным из которых, вероятно, остаются «Отверженные» Эрнста фон Заломона¹. Конечно, позднее новый хозяин страны сумел устранить тех фанатиков, чей почти религиозный

¹ Эрнст фон Заломон (1902–1972) — немецкий писатель, член правой террористической организации, участник убийства министра иностранных дел Вальтера Ратенау (1922). Свою книгу «Отверженные» (1930) написал в заключении. — *Примеч. пер.*

настрой был неуместен в области политики. Некоторые буйные доблести, с пользой применяемые при завоевании власти, становятся опасны, когда ты уже утвердился в ней и когда они грозят обернуться против тебя самого.

Однако сейчас следует рассмотреть только отправную точку, только тот момент, когда изначальные мечтания еще почти не позволяют предвидеть, сколь грозное историческое извержение произведет это кипение страстей в итоге, когда вся сила таких мечтаний будет хитро использована в удобных обстоятельствах и они своей внезапной, непостижимой лавиной сведут с ума и раздавят не один народ.

В одном из первых выпусков журнала, который в 1941 году вновь начал выходить в Париже, оккупированном как раз вследствие одного из таких катаклизмов¹, Анри де Монтерлан рассказал о попытке, предпринятой им в 1919 году вместе с четырьмя другими молодыми людьми. Речь шла о том, пишет он, чтобы создать «достаточно кодифицированное и достаточно жесткое общество». Сама по себе затея оказалась весьма безобидной, даже в своих амбициях, хотя они и могли быть безграничными. Автор прибавляет к своим признаниям столько комментариев и ссылок на более знаменитые примеры, вроде средневекового рыцарства и японского бусидо², что ясно чувствуется — эта история волнует его вновь. Что же побуждает его спустя двадцать лет вспоминать столь незначительные эпизоды забытой юности, если не смутное сознание, что нечто связывает их со зрелищем, разворачивающимся у него на глазах, с великими событиями, которым он является очевидцем?

Наконец, стоит перечитать «Сноп сил» Альфонса де Шатобриана³. Уже писали о том, какие симпатии к новой Германии эта книга вызвала среди командного состава французской армии. Легко заметить, что писатель, специально приглашенный посетить Третий рейх, был прежде всего очарован активно осуществлявшейся тогда попыткой возродить старинные рыцарские ордена. Действительно, в нескольких крепостях, затерянных в глуши Шварцвальда и Курляндии, пытались воспитать новую элиту молодых, непреклонно-чистых вождей, призванных к высшей роли — руководить нацией, а затем и всем миром, который она должна была завоевать.

¹ Имеется в виду известный литературный журнал «Нувель ревью франсез», сделавшийся при оккупации коллаборационистским изданием. — *Примеч. пер.*

² Самурайский кодекс в средневековой Японии. — *Примеч. пер.*

³ Альфонс де Шатобриан (1877–1951) — французский писатель, симпатизировавший нацизму и после войны заочно приговоренный к смерти за сотрудничество с оккупантами. Его книга «Сноп сил. Новая Германия» вышла в 1937 году. — *Примеч. пер.*

Кажется, этот опыт не дал ощутимых результатов. Надо думать, у партии были для этой задачи свои, уже готовые кандидаты. Но самый замысел воспламенил воображение многих людей.

Так, в частности, было и с нами, когда мы основали «Коллеж социологии»¹, исключительно предназначенный для изучения замкнутых групп — мужских союзов у первобытных народов, инициатических сообществ, церковных братств, еретических или оргиастических сект, монашеских или воинских орденов, террористических организаций, тайных политических объединений на Дальнем Востоке или в смутные периоды европейской истории. Нас увлекала решимость людей, время от времени как бы желающих дать прочные законы тому недисциплинированному обществу, которое не смогло утолить их жажду строгости. Мы с симпатией прослеживали действия тех, кто с отвращением уходил из него, чтобы жить отдельно, в рамках более жестких институтов. Однако некоторые из нас, исполненные рвения, не очень-то довольствовались одним лишь толкованием других. Им не терпелось действовать самостоятельно. Наши исследования убедили их в том, что нет таких препятствий, каких не сумели бы одолеть воля и вера, если только изначальный союз будет действительно нерушимым. В тогдашнем воодушевлении казалось, что глубоко связать энергии, как это требовалось для выполнения сей грандиозной и к тому же лишенной определенного объекта задачи, способно одно лишь человеческое жертвоприношение. Как античному физическому нужна была только точка опоры, чтобы приподнять весь мир, так и этим новым заговорщикам казалось, что торжественного умерщвления одного из них достаточно, чтобы освятить их дело и навеки обеспечить их взаимную верность. Оно должно было сделать усилия заговорщиков неодолимыми и дать им в руки власть над миром.

Поверите ли — оказалось легче найти добровольную жертву, чем добровольца-жреца. В конце концов все так и осталось неосуществленным. По крайней мере, мне так кажется, ибо я был одним из самых несогласных и, возможно, дело зашло дальше, чем было известно мне². Между тем мы подбадривали себя рядом примеров из древней и новой истории, как экзотическими, так и совсем близ-

¹ Задачи этого учреждения были изложены в трех манифестах, одновременно опубликованных в «Нувель ревью франсез» 1 июля 1938 года и подписанных соответственно Жоржем Батаем, Мишелем Лейрисом и мною самим.

² Здесь я имею в виду группу «Ацефал», о которой мне часто говорил Батай и в которую я так и отказался вступить, хотя и сотрудничал в одноименном журнале — ее органе. Интересные сообщения об этой группе, где царил секретность, можно найти в журнале «V.V.V.», № 4, февраль 1944 г., с. 41–49.

кими, и если наш заговор так и не был скреплен ничем непоправимым, то лишь по элементарной трусости, а также вследствие не высказываемого прямо сомнения в плодотворности такого орошения кровью. Нам не хватило мужества, а также, думаю, и убежденности. По крайней мере, лично я опасался, что это убийство, долженствовавшее стать своего рода крещением для наших слабых сердец, так и не даст нам ни одной из тех пылких доблестей, что позволяют переворачивать горы. Я опасался, что оно оставит нас в робких сомнениях, что, став преступниками, мы окажемся еще в большей растерянности, чем когда были невиновными. Мне казалась тщетной надежда, что ужас совместного злодеяния сам по себе сможет провозвести чудодейственные преобразования в душе и обеспечить необоримую храбрость и вечную взаимную верность горстке людей, вдруг пожелавших противопоставить себя всем остальным. Здесь потребна сила, которую не может доставить никакой чудовищный обряд. Ее нужно всецело извлечь из себя самого. Тому, кто сумел ее обрести, преступление и освящение служат лишь необязательным внешним ритуалом, даже если сам он думает, что получает от них, как Самсон от своих волос, сверхъестественную силу, ведущую от победы к победе.

Моей целью было здесь просто добавить еще одно свидетельство к ряду предшествующих. Впрочем, я не питаю никаких чрезмерных иллюзий и хорошо знаю, сколь жалки эти тщеславные замыслы. Я лишь хочу показать, что в той или иной форме они широко распространены и изначально ориентированы на самые невероятные крайности. Хотя они почти всегда кончаются ничем, все же они существуют и, вероятно, выражают некое болезненное состояние, о котором надо размышлять. К тому же такие мечтания возникли не сегодня. Еще Бальзак и Бодлер любили воображать некое общество могучих и таинственных, утонченно-неумолимых флибустьеров, разбрасывающих свою тайную сеть слуг, шпионов и мстителей по столицам и в аппарате крупных государств. Этим незримым властителям, чья сила в единстве и скрытности, ничто не может противиться. Своеобразные рассуждения на эту тему можно найти в «Истории тринадцати», а у Бодлера — в критических текстах. Можно назвать и другие имена, которые образуют одну вековую цепь вплоть до Жюль Ромена и Анри де Монтерлана¹. Не значит ли это, что любовь к тайной власти, желание упорядочить мир на

¹ Основные тексты Бальзака, Бодлера и Д. Г. Лоуренса, касающиеся этого вопроса, я приводил в одной из глав своей книги «Миф и человек» (CAILLOIS R. Le Mythe et l'homme. N.R.F., 1938. P. 193–204). (Издание на русском языке: Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003. С. 126–131. — Примеч. ред.)

основании более прочных законов являются чем-то извечным? Во всяком случае, откуда берутся эти длительные, вновь и вновь возникающие волнения? Таковы вопросы, найти ответ на которые мне представляется безотлагательно важным.

Секта и общество

Между энергией, которую готов потратить человек, и требованиями, которые общество предъявляет к каждому из своих членов, никогда не бывает точного совпадения. Бывает, что индивид ни в чем не желает уступать обществу и строптиво восстает против его заповедей, которые кажутся ему одновременно отвратительными и надуманными. Другие, лукавые обманщики, соблюдают деланое повиновение и, помня о средствах, которыми можно достигнуть успеха, желают лишь проложить себе дорогу в жизни, как выражаются они сами. Не надо воображать, что они что-либо дают обществу. Они умеют только пользоваться им, и их алчность разве что не торопится к цели — для большей верности. Однако бывают, по-видимому, и такие люди, чей запас преданности обществу, напротив, не может исчерпаться. Они хотели бы давать ему больше, чем оно желает принять. В его законодательстве для таких людей остается слишком много пробелов. Они пользуются ими, но не без смутного желания однажды подчиниться более строгим правилам. В этом поле ослабленных, плохо ориентированных, расходящихся сил некоторым хочется какой-то более жесткой дисциплины, которая заставляла бы их энергию действовать более согласованно и с большей пользой. Они желают, чтобы она подчиняла их усилия науке, в равной мере преследуя роскошь и неточность, праздность и небрежение. Они предвидят, что религиозная власть, мобилизующая осознанный и упорный пыл немногих людей, легко подчинит себе мир, рассеивающий свои ресурсы в неэффективной суете.

Таков закон: любая миноритарная группа выказывает больше единства и предприимчивости, чем равнодушная или враждебная к ней среда, где она живет. У нее более прочная мораль, у каждого больше обязанностей, и они четче определены. В ней часто и широко помогают друг другу. Бывают цельные натуры, которым не терпится посвятить себя чему-то полностью, без остатка и без возврата, которые рвутся одновременно к жертвенности и власти. Мягкие требования не удовлетворяют их. Слабые и неудобные правила раздражают их, не насыщая, разжигают в них страсти, которые они питают в душе, вместо того чтобы применять вовне. Такие честолюбивые сердца ждут предельного порабощения. Они мечтают о полной преданности. Если обязанности фактически существующего меньшинства уже столь точны, то до чего же могут прийти обязанности,

которые решит наложить на себя меньшинство, созданное на основе принципа? И вот они сознательно отделяются от общества. Они уходят с поприща, где ни одно препятствие не вызывает ни в ком мужества, где излишним попустительством сводят на нет любое возмущение, прежде чем оно успеет оформиться. Они основывают или придумывают секты, со своими опознавательными паролками, знаками и униформой. Им идет на пользу все, что укрепляет общность, увеличивает ее размах, напоминает о ее существовании, делает труднее нарушить договор. Торжественной присягой, порой кровавыми обрядами такие заговорщики отрекаются от всех былых связей во имя братства избранных, которое они считают достойным безграничного повиновения. Они тщательно, с ревнивой и нерушимой солидарностью стремятся отдать себя такой власти, которая не будет щадить ни вещей, ни людей, ни даже самих принципов. Они жаждут такого законодательства, которое не останавливается перед требованием безусловной верности, но зато сулит пылким энтузиастам полное упоение абсолютным торжеством.

КАСТЫ: АРМИЯ И ЦЕРКОВЬ

Конечно, в любом обществе имеются институты, способные в какой-то мере удовлетворить эту жажду строгости. В частности, армия и церковь образуют закрытые, четко структурированные сообщества, члены которых должны давать специальные обеты или подчиняться особому кодексу поведения. Они действительно поглощают свободные энергии, ищущие себе применения для какой-то определенной цели и по установленным правилам. Однако здесь следует иметь в виду лишь духовенство и офицерский корпус. В целом же армия и церковь недостаточно отличны от общества: действительно, все граждане подлежат воинской обязанности, а церковь отягощена, словно огромным мертвым грузом, множеством своих прихожан. Живые силы являют собой только священник и офицер — остальные надевают форму лишь по обязанности, получают крещение лишь по привычке. Таким образом, эти группы по-прежнему принадлежат обществу. Они обладают в нем очень обширной опорой, ибо каждый или почти каждый является солдатом или верующим, они почти сливаются с ним, если только брать их во всей полноте. Поэтому им недостает неотложных устремлений и порывов, толкающих к великим предприятиям; к тому же они раздражаются всевозможным внутренним соперничеством. Дух сект требует большего: во-первых, более четкой обособленности, во-вторых, чтобы каждый вступал в них по воинскому или духовному призванию, а не ради карьеры. Таким образом, в своем реальном виде армия и церковь оставляют желать много лучшего тем, кто мечтает об абсолютном расколе с обществом, о немедленных завоевательных походах,

о безупречной сплоченности и героической жизни. Поэтому уже влоне этих групп зарождаются группы более плотные: воинствующие ордена или элитные рода войск, которые предлагают своим членам в обмен на исключительные лишения или опасности более значительное единение.

Подобные образования пользуются престижем внутри более широких сообществ, служат их гордостью и как бы сущностью. В свою очередь, сами эти сообщества утверждают в еще менее связанной среде силу и славу компактно-обособленных союзов, члены которых обладают специфическими обязанностями и четко отличаются от прочих одеждой и поведением. Подобно мужским союзам у первобытных народов, братствам воинов или колдунов, они образуют главную опору общества в целом. Нередко они оказывают решающее влияние на его правление. Это скорее касты, чем секты, но во всяком случае они представляют собой традиционные, уважаемые силы. Отсюда следует, что они чаще держатся пассивно, чем с бурным беспокойством, заботятся скорее о защите признанных привилегий, чем о выдвигании смелых инициатив или о подготовке глубоких преобразований.

Чистому духу приключений трудно принять такую инертность. Он желает сам выбирать себе цели и методы. Противостоя охранительным силам, он предпочитает сам создавать новые группировки, специально предназначенные для того, чтобы до самых оснований изменять общество в целом. Внутри них особенно четко проявляются сектантская мораль, фанатичное повиновение, подчинение любых, самых святых принципов высшему интересу движения, ибо движение это, стремясь к радикальным преобразованиям, чаще встречает или навлекает на себя суровые гонения.

МОРАЛЬ ОБЩЕСТВ

Внутри общества образуются группы, которые как бы намеренно отделяются от него, которые по самой сути чужды, а то и враждебны ему, но которые зато гораздо больше него являются обществами, можно сказать обществами в чистом виде. Чем обусловлено их возникновение? Какая таинственная сила толкает людей к формированию этих союзов — столь тесных, что ради них приходится жертвовать своим имуществом и даже независимостью? Действительно, в такого рода сектах нет ничего выше, чем интерес общины, и ради ее сплоченности поступаются всем. Обычно в обществе так быть не может. В нем каждый индивид пользуется широкой автономией. Большинство его поступков безразлично для властей. Он спокойно занимается своими делами и устраивает свою жизнь так, как хочет. Возможно, именно в такой мягкости, в отсутствии напряжения и следует усматривать причину, по которой пылкие

натуры ищут более сурового климата. Им надоедает окружающая теплая атмосфера, им хочется избежать ожидающей их единообразной судьбы.

Действительно, общество реально обращает внимание лишь на внешность, и, коль скоро в нем соблюдается чисто поверхностный порядок, оно удовлетворяется этим и мало заботится о внутреннем достоинстве составляющих его людей. Кому-то из них случается совершать нехорошие поступки, но они редко являются караемыми законом преступлениями. Его не слишком строго осуждают за них. Кто-то другой соблюдает похвальную, вообще говоря, порядочность, но это порядочность робкая, лишенная душевной щедрости, чаще всего чисто негативная, и она мало располагает его к великим замыслам. Его не особенно и почитают. Однако между ними есть разница. Для второго все сводится к тому, чтобы не красть и не убивать. Первый же не совсем запрещает себе это — пусть только кража будет мелкой, пройдет незамеченной или, если она крупная, будет прикрыта хитроумием ловкого адвоката. А в отношении убийства достаточно, чтобы ответственность была «размазана» на многих или же чтобы человек лишь не противился происходящему. Тот, кто остерегся бы совершить смертоносный жест, спокойно воздержится от жеста спасительного. Его пугает инициатива. Таков постоянный характер этой морали, всецело построенной на умениях уклоняться и опасаться — как в добре, так и во зле. Человек не протягивает руку для преступного деяния, но если нужно лишь отдернуть ее или, еще лучше, лишь держать ее неподвижной — так и будет сделано. Ведь грешить по упущению гораздо легче. Воздержание от поступка почти неуловимо. Его никто не замечает. Можно и самому его не замечать. Кто знает даже, сохранится ли оно в памяти? Человек уклоняется и от угрызений совести. Немногим удастся не соскальзывать по столь плавному склону.

Таким образом, атмосфера общества обычно складывается из мелочной почтительности, из невызывающих прегрешений, иногда из невидимых преступлений. В нем подмоченная добродетель прекрасно уживается с заботой о личной выгоде. Такая относительная порядочность соглашается с любым сомнительным решением, лишь бы были соблюдены внешние приличия. Мало-помалу начинают больше бояться открытого, даже спасительного, скандала, чем скрытого расстройства. Несправедливость терпят и защищают, если она не подрывает ничьих достигнутых позиций и не нарушает самого поверхностного уличного порядка. Каждый, насколько можно, тянет на себя и стремится получить побольше, давая поменьше, соблюдение принципов незаметно смешивается с поисками выгоды. Людей уважают не за то, каковы они есть, а за то, что они имеют. Поэтому все более снисходительно относятся к тем, кто много имеет, и к средствам, позволяющим много нажить. Не мыслят больше

никакого возвышения, кроме имущественного. И вот таким образом, притом что не совершается большого числа истинно преступных действий и никому не наносится откровенного ущерба, в целом моральные обязательства ослабляются. Не остается ни одного резкого запрета, и в этом мире, где все кажется прочным, втайне все разлагается. Слова более не соответствуют делам, поступки — речам. Нравы фактически осуждают непримиримость, ревность, вообще любое чувство, которое не согласуется с гибкой осмотрительностью. Это последнее качество, необходимое для успеха, ценится превыше всего. Оно едва ли не становится частью хороших манер, позволяющих «порядочным людям» узнавать друг друга.

Такая посредственность — не порок. Такое ослабление нравов — не следствие какого-то необыкновенного разложения. В нем выражается не какой-то случайный упадок. Оно мало варьируется — просто иногда его с циничным удовольствием подчеркивают, а иногда скрывают под обманчиво-показной добродетелью. Дело в том, что оно обусловлено широтой социальной группы, вернее даже самой ее природой: действительные люди лишь фактическими условиями существования. Конечно, они подвергаются в ней влиянию — незаметному, зато постоянному и действенному, внушающему им множество общих суждений и реакций. Конечно, законы и обычаи одни для всех, и все формируются одним и тем же воспитанием. Между членами общества следует признать некоторое единство. Да и государственные власти поддерживают некоторый порядок. Однако это единство и порядок остаются внешними. Они не воспламеняют ничьей энергии. Напротив, они оставляют ее в опасном бездействии. Чаще всего давление коллектива служит лишь для обуздания страстей, не дает им дойти до грубо-безудержного разгула, заставляет соблюдать хотя бы внешнее уважение к вещам или людям. В остальном же все свободны.

Итак, общество существует лишь для контроля и управления. При этом оно закономерно действует в нечетких пределах, и его бдительность не всегда оказывается эффективной. Его функция заключается лишь в запретах. Оно воздвигает барьеры, одни пути оставляет открытыми, а другие — запретными. Для тех, кому легко приспособиться к этим умеренным ограничениям, оно почти и не существует. Конечно, этому следует радоваться. Ибо настоящие узлы исходят из души и рождаются из внутренних совершенств, непокорных принуждению. Их ни для кого нельзя делать обязательными, не рискуя их задушить или же извратить. Однако ясно, что такая почти полная сдержанность общества, далеко не все последствия которой плохи, заставляет придумывать иные, более строгие и многообещающие союзы. В воображении возникают такие союзы, которые заботились бы о чем-то большем, чем элементарное удобст-

во. Обращаясь к душевному призванию людей, поощряя высокие притязания, побуждая к предельным, разорительным тратам энергии, его мыслят как объединение нетерпеливых работников в одном патетическом предпринятии, требующее от них полной отдачи всех своих усилий.

ДОБЛЕСТИ СЕКТ

Итак, секта создана так, что привлекает сердце любого взыскательно-го и честолюбивого человека. Подобным людям она дает хороший шанс испытать себя. Они чувствуют, что научатся в ней нестигаемым доблестям, которых свет опасается из-за их жесткости и пытается их как-то умерить. Значит, чтобы осуществить их в полной мере, приходится отступить прочь. Секта и дает такую возможность.

Прежде всего, это школа гордости и одновременно смирения. Гордое чувство обособленности от толпы уравновешено в ней добровольным рабством. Жертвы, приносимые ради строгой дисциплины, горечь самоотречения компенсируются уверенностью в том, что ты добровольно избрал эту строгость и суровость. Обязанности, которым должен подчиняться каждый, практически не оставляют места личным прихотям. Нельзя иметь собственного настроения. Нужно быть всегда готовым к повиновению, а это учит стойкости. Нет ничего более необходимого. Ибо трудно дается не начало, а настойчивость. Наступает момент, когда утомление побуждает оставить то, что было начато в преходящем воодушевлении. Но так и надо, чтобы отвадить дилетантов; принимают только самых твердых в своем решении, и только после того, как их постоянство и способности подвергнутся испытаниям. В этом повсюду заключается функция послушничества. Новичку доверяют одни лишь неприятные и второстепенные дела. Он мечтал об опасных заданиях — ему же поручают расклеивать плакаты или переписывать адреса. Это позволяет сбить с него первоначальную горячность и излечить от слишком романтических представлений о заговоре, которые он себе, возможно, составил. Бывает, что его и заведомо несправедливо порицают за не совершенное им прегрешение или же при назначении на должность, требующую доверия, предпочитают ему заведомо менее способного или менее надежного товарища. Это делают для того, чтобы раздражить в нем дух непокорности. Если он окажется слишком чувствителен и встанет на дыбы, пусть уходит — дверь еще открыта. Здесь требуются люди, способные вынести и не такое.

Внутри группы абсолютным долгом является солидарность. Все ее члены — избранные братья и, подчиняясь одному закону, разделяют одну участь; их долгом является безраздельная взаимопо-

мощь во всех областях. От них требуется не любить, но уметь поддерживать друг друга, прежде всего против остального мира, в чем бы ни заключались право и здравый смысл. Их внутренние предпочтения также ничего не значат. Человеческие отношения здесь не руководствуются личными симпатиями. Влечение, восхищение, уважение не оправдывают разное обращение с людьми. Обязанности одинаковы в отношении всех, и к этим обязанностям сводится все. Следует обращать внимание только на потребности и обстоятельства. Когда придет время, никто не волен отказать в помощи своему сотоварищу, которого он ненавидит или презирает, но который требует от него такой помощи. Сердечные порывы и чувства, в силу которых люди обычно сходятся или избегают друг друга, здесь подчинены правилу, спаивающему всех в одно тело. Всякий раз, когда кто-то следует личной склонности, он наносит ущерб этому телу — причем неважно, идет ли его склонность вразрез с правилом или содействует ему: в обоих случаях она берет себе незаконную власть. Действительно, каждый должен видеть во всех остальных лишь взаимозаменяемых служителей одного идеала. Формула дружбы и неприязни «он такой, а я такой» не принята ни в одной церкви. Дело в том, что личные узы — неустойчивые, произвольные, даже противоречивые — не в состоянии обеспечить солидарность, и если бы она зависела от них, то рвалась и ослабевала бы от чего угодно. Поэтому она зиждется на самом принципе общей сопричастности. Именно для того, чтобы служить превосходящей каждого из них цели, все подчиняется столь многим взаимным обязательствам и вместе с тем считают себя свободными от них по отношению к посторонним людям.

Кроме того, принадлежность к секте учит повиновению. Это не самая легкая добродетель. В самом деле, натуры послушные или вульгарные редко избирают себе исключительную судьбу. Одни лишь гордые души рискуют поддаться соблазну такой дисциплины, которая с необходимостью приличествует лишь немногим и которую они менее всего предрасположены легко переносить. Они приходят к ней с волей к покорности, но их строптивое, рожденное властвовать существо на каждом шагу возмущается этим желанным рабством. Прежде всего им приходится учиться властвовать собой. От обидчивых людей даже требуют выполнять приказ не просто без колебания и ропота, но еще и с радостью, со столь же полным мысленным и душевным согласием, как будто получили его от себя самих. Подобная дрессировка, в которой они являются одновременно и зверем, и укротителем, не ломает в них никакую силу, поскольку сохраняется и известная свобода: от них самих зависит не поддаваться. Таким образом, каждое новое решение повиноваться означает новое усилие и новый выбор. Она делает человека гибче и причает преодолевать свой первый порыв. Он быстро убеждается

в том, что не является центром мироздания, и, вынужденный сводить к более разумным размерам свое юношеское высокомерие, одновременно узнает, сколь серьезная вещь власть: как он убеждается, в ней есть нечто неумолимое, злоупотреблять чем было бы преступно. Теперь он узнает, как важно пользоваться ею экономно, если хочешь сохранить нетронутыми источники этого праведного могущества. Отныне он будет избегать попусту растрчивать ее произвольными и торопливыми решениями. Когда придет час, его непокорная натура будет уже настолько усмирена, что без борьбы распространит свою власть на других людей, которые готовы за ним следовать, однако недостаточно приучены принуждать себя к повиновению, полны иллюзий относительно своих сил и недостаточно защищены от резких порывов своих безудержных, еще не взнузданных инстинктов.

Между тем во внешнем мире, где никакая суровая дисциплина не утврждает своих строгих требований, интриганы используют низкую лесть как средство к успеху. В глазах раболопного человека смирение — это не заслуга, а хитрость. Он унижается ради господина, а не ради себя самого. Через свои низости он движется к тиранической власти, и эта власть у него в руках будет подозрительной и завистливой. Ибо тот, кто раньше пресмыкался перед сильным, станет теперь давить слабых. В своем смирении он лишь копил обиду, которая только и ждет момента, чтобы расплатиться за все вынесенные оскорбления. Нельзя унижаться безнаказанно.

Итак, то, что в одном случае есть доблесть, в другом является безвозвратно-пагубным искажением души. Конечно, чтобы верно судить о чувствах, нужно уметь проникать в тайны сердца. Но все же легко видеть, что этим чувствам не в равной степени благоприятствует любая среда, оказывает на них неодинаковое влияние. Секта и общество производят обратное действие даже в воспитании доблестей.

ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ МОРАЛИ

Секта уже своей структурой требует совершенно особой морали, почти во всем противоположной той, какую признает общество в целом. Тем не менее принципы той и другой морали не являются несовместимыми — по крайней мере, обычно, — просто в них в разной мере чтят одни и те же качества. В одном случае ценят терпимость, в другом — ее рассматривают как преступную слабость. Точно так же в той и другой среде по-разному оцениваются качества, которые определяют, так сказать, сам климат общей жизни, делают ее приятной и простой: таковы снисходительность, беспристрастие, сговорчивость и готовность к компромиссу. Их чтят в обществе, где они склоняют всех к согласию. В секте же их изгоняют, все гордятся своей непреклонностью, и все служит усилению нена-

висти и конфликтов; недостаток пыла сразу вызывает к себе подозрения, а неистовство не пугает, а ободряет.

Эти столь разные оценки сказываются на выборе высших ценностей. Прославляют либо мудрость и безмятежность духа, либо непримиримость и фанатизм, в одном случае — доблести битвы, в другом — доблести досуга. Но такое предпочтении — лишь следствие самой природы уз, которыми объединены индивиды в том и ином случае.

Общество ищет для себя, для всех своих членов в целом, счастья и стабильности. Оно избегает всяких потрясений, инстинктивно устраняет причины к возмущению и стремится жить счастливо, то есть без истории. Соответственно в нем восхваляются, а главное, практикуются доблести, связанные с примирением, которые часто бывают в родстве с неточностью и небрежностью. Здесь не слишком строго запрещено закрывать глаза и забывать. Беспорядка опасаются больше, чем несправедливости, и часто прощают врагов не столько из великодушия, сколько от неохоты мстить. Порой даже избегают кого-либо наказывать, оставляя все как есть. Между тем недуг продолжается, и ничто не исправлено. Можно сказать, что здесь каждый ведет себя подобно человеку с больными зубами, который никак не соберется пойти их лечить из страха претерпеть недолгую боль, — он приуготавливает себе боль еще более резкую, ибо порча зубов усугубляется и придется их удалять. Так же и государство не решается резать по живому и, пораженное невидимой гангреной, вместо того чтобы останавливать ее развитие, откладывает всякие благотворные меры и страшится их — ясно, что оно движется к катастрофе.

В обществе также известно, что принципы не следует понимать буквально и что опыт скоро приучает их смягчать. Говорят, что они представляют собой идеал, недостижимый для грубых и невежественных смертных. Было бы опасно без подготовки переносить их в человеческий мир, где царят насилие и хитрость. Тому, кто ищет справедливого блаженства или же питает законные амбиции, остается лишь преследовать предмет своего желания, конечно, не отклоняясь от прямой стези, но и не слишком заботясь о стремлении к абсолютному совершенству, каковое несомненно не от мира сего. Такова устойчивая народная мудрость, которая мало меняется от века к веку и от края к краю. Она, по-видимому, и впрямь лучше всего подходит к тому элементарному общему проживанию, каким является жизнь общества, главная цель которой — свое собственное обустройство и где каждый превышает всего делеет один скромный замысел: чтобы ему было хорошо, чтобы не мешать другим и не испытывать от них неудобств.

Напротив, секта является местом предельно строгой морали. Правила в ней превыше всего, и им должно либо следовать в точно-

сти, либо уж не следовать вовсе. Не допускается ни ошибок, ни послаблений. Любое нарушение правил есть преступление. Нескромность, которую в иной среде считают мелочью, здесь настоящие злодеяние. Тот, кого назначат на кровавое дело, не может отклонить поручение, ссылаясь на какие-либо угрызения совести: он выказал бы этим робость, не согласующуюся со слепой преданностью, в которой он поклялся. Если ему кого-то жаль; если он отступает перед убийством или клятвopеступлением; если он пытается сравнивать верность, требуемую сектой, с заповедями, которым следовал до вступления в нее и которые не делали различия между людьми из узкого отряда сообщников, кому должно быть всецело верным, и остальным родом человеческим, с кем можно обращаться, игнорируя законы; если он колеблется, охваченный сомнением или раскаянием, — он дисквалифицирован как нынешний или будущий изменник. На него больше нельзя положиться. А на кого нельзя положиться — тот обречен.

Конечно, мораль замкнутой группы далеко не всегда предстает в таких крайних формах. Но в них все же следует признать ее естественное завершение. Пусть она и редко этого достигает, но стремится именно к этому. Ибо, чтобы помыслить такую суровость, нужны чрезвычайные обстоятельства и исключительная неотложность решений. Но как только тяжелые времена сделают ее необходимой, она сразу же оказывается возможной, и не надо изобретать ничего нового. Нужно лишь ужесточить уже существующие, практически неизбежные правила и их дух, которые, собственно, и образуют суть любой секты.

Действительно, в любой секте можно найти гордость своей обособленностью от толпы, утверждение абсолютной солидарности, наконец, обет послушания. Главное же, в ней можно констатировать намеренно жесткую дисциплину, которая предписывает каждому определенные обязанности и пресекает всякие попытки от них уклониться. Вступающий в секту человек должен, частично отчуждая собственную свободу, согласиться так или иначе забыть о своем непосредственном удовольствии и выгоде. Сверх того, секта непрерывно дает ему уроки мужества и верности. Так получается, что она, сама того не желая, учит некоторым доблестям, которые плохо удается поощрять обществу и которые, напротив, почти неизбежно распадаются в нем из-за массового равнодушия или непризнания.

В этом смысле секты оказываются драгоценным и необходимым хранилищем нравственных сил. Можно даже сказать, что они составляют их незаменимый источник, ведь общество в очень малой степени обладает этой властью с легкостью их укреплять. В самом деле, оно зиждется на равном соблюдении как полезных правил, так и бессмысленных предрассудков. Оно прежде всего

требуется вести себя как следует, то есть как другие. В этом оно без труда преуспевает, и большинство его членов покорно склоняются перед этим несложным требованием, но делают это лишь по недосыпке отваги или воображения, а отнюдь не по обдуманному согласию или из подлинного уважения. Общество поддерживает ложную добродетель, которая состоит из робости и глупости и в случае нужды ничем не сможет ему помочь. Поэтому общество, со всею массой своих членов и располагая самыми обширными ресурсами, слабо по сравнению с сектой. Раз оно мало требует, то ему и дают еще меньше. Мало-помалу гражданские доблести исчезают. Дело в том, что общий интерес, который отстоит дальше частного, теряется из виду в первую очередь: можно действовать ему во вред без немедленных последствий, и этим злоупотребляют. Так же и наименее точные обязанности забываются быстрее других, ибо их нарушение не влечет за собой санкций. В конце концов государство вынуждено силой добиваться от граждан службы, которая ему от них необходима, но теперь они о ней торгуются или же хитроумно увиливают от нее. Государство оказывается безоружным, и одновременно оно восстанавливает против себя людей смелых, чью добрую волю оно обмануло.

Действительно, общество не находит применения слишком живым энергиям. Оно не умеет ставить их себе на службу, и если поначалу оно и привлекает их, то в дальнейшем почти обязательно отталкивает. И тогда наиболее ревностные из таких людей с отвращением отходят от него и обращаются к сектам. Секты растут и множатся тем больше и сильнее, чем более вялой и дискредитированной становится среда, где они образовались, чем менее она способна в конечном итоге возвращать к себе эти благородные натуры, ставшие чуть гибче или покорнее под действием разочарований, обычно приносимых опытом. Их изначальное отвращение значит не так много, но повторный отказ становится уже окончательным, и они отделяются от общества уже безвозвратно. Тогда и образуются ассоциации, ставящие своей прямой целью ниспровержение существующего строя. Стоит им оформиться, удержаться, миновать первую фазу, когда они способны вызывать лишь бессильное и безрезультатное волнение, — и их торжество в более или менее короткие сроки обеспечено. Нужны лишь удобные обстоятельства, которые рано или поздно представляются, — и совершится революция.

РЕВОЛЮЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

Правда, ожидание может быть и долгим, ибо любое общество выкачивает необычайную инертность, преодолеть которую удастся лишь при поддержке множества благоприятных событий и лишь с использованием плодов длительной подготовки. Поэтому революции про-

исходят редко. Требуется военный разгром, институциональный кризис, длительное и безысходное расстройство — великая слабость с одной стороны, а с другой — необычно большая сила. Такое стечение обстоятельств случается нечасто. Наконец, у общества есть своего рода инстинкт самосохранения: оно чувствует, откуда исходит опасность, и быстро прибегает к репрессиям. Но уже слишком поздно. Делая это, оно усиливает доверие к секте, работающей для его гибели, оно указывает на нее как на своего главного врага, а оттого направляет к ней всех своих перебежчиков, отныне знающих, к кому примкнуть. Поэтому каковы бы ни были превратности борьбы, поражение общества неизбежно. Конечно, на его стороне многочисленность, богатство и могущество. Но оно поражено раздорами, неверием, ленью, небрежением, трусостью. Оно зря растрачивает и рассеивает свои ресурсы. Каждый заботится о своих собственных делах. Один занят обогащением, другой увлечен удовольствиями или же честолюбием. Третий живет лишь ради искусства или науки, или же он философ. Никому не нравится, когда его беспокоят.

В такой среде любая попытка поправить дело обречена на неудачу. Она сталкивается с общим равнодушием. Отныне общество слагается из одних лишь привычек и эгоистических интересов, которые поддерживают видимость настоящего порядка, взаимно ограничивая друг друга. Любая радикальная мера встречает тысячу незаметных препятствий, которые плавно сводят на нет ее результаты. Чтобы обеспечить ее успех, не хватает общественной благосклонности. Если опасность не столь неотложна и очевидна, как на войне, то никто и не соглашается прервать обычный ход своих развлечений и забот.

Напротив, бунтари, полагаясь лишь на собственную волю, обретают и все недостающее им: их мало, но они смелы, пылки, неутомимы. Они пользуются престижем, умеют увлекать за собой, либо убеждением, либо подкупом. Их не приводит в смущение никакая ситуация. Они последовательно завоевывают власть, лишь внешне соблюдая правила политической игры. Тут-то и приносит свои плоды суровая дисциплина, которой подчиняет их секта. Толпу, склонную безоговорочно говорить «да» или «нет», ищущую повода для восторгов и великих упований, быстро очаровывают их посулы, знамена и страсть; ведь других-то просто нет. Теперь уже неважно, что секта слаба и бедна. Она обзаводится необходимыми сообщниками и симпатизирующими среди сильных мира сего, а те, кому не хватает денег для себя самих, идут на еще большие лишения, чтобы собрать сумму для подкупа какого-нибудь богача. В итоге нет таких, казавшихся бы непреодолимыми трудностей, которых в конце концов не одолели бы упорство и самоотверженность.

Бывает так, что некоторые политические партии предстают в необычном виде. Дело в том, что они добиваются не столько час-

тичных реформ, сколько резкой переменны всех институтов и нравов. Они столь сильно отличаются от других, что возникает вопрос, а являются ли они еще партиями. Они как бы находятся вне закона и сами стремятся, с переменным успехом, подменить правильную конкуренцию безжалостной борьбой, которая должна завершиться полной и окончательной победой. С этого момента, несмотря на любую видимость, они суть уже не партии, а секты. Считая лицемерными или устарелыми условностями нормы морали и права, они насильственными путями идут к разрушительным целям. В предельном случае они прибегают к убийствам и террористическим актам. Их преследуют. И это еще более укрепляет в них уверенность, что раз их принуждают к таким средствам, значит, они и не могли избрать иных. Различными формами одного и того же феномена являются мафии, террористические группы, штурмовые отряды, всевозможные нелегальные организации. Одна священная мораль против другой; одно общество внутри другого ведет работу с целью заменить его собой.

Можно сказать, что преданность и жертвенность, пылкость и верность, пусть даже преступная, сходятся и объединяются против мира, состоящего из одних слабостей. В такой ситуации общество, зная, сколь грозен для него этот натиск, обычно начинает считать своими непримиримыми врагами всех тех, кто силен суровыми доблестями, которым оно не находит применения и которые вынужденно обращаются против него. Его поведение всякий раз диктуется таким темным чувством. В какой-нибудь политической партии оно осуждает не ее программу, даже экстремистскую, но, так сказать, ее моральную воздержанность, строгость ее устава и даже самую ее сплоченность. Если партия объединяет индивидов, чьи главные заботы связаны не с нею, если она требует от них лишь как-нибудь, время от времени, неглубоко участвовать в своей деятельности, так что в ходе всей их жизни это участие оказывается чем-то вроде роскоши, то не так уж важно, что она проповедует режим, противоположный существующему. Ей позволяют сколько угодно требовать новых институций, основанных на совсем иных принципах. Ее вежливо принимают, даже хвалят, вместо того чтобы с нею ссориться. И это правильно. Ибо такая партия, намеренная изменить общество, сама слишком принадлежит ему, чтобы реально ставить под угрозу его нынешнее устройство. Зато если партия включает в себя людей, всюю душой приверженных одному общему делу, если она требует и добивается от них неограниченной преданности, то ее не оставляют в покое. Ее членов винят не в продажности, а именно в том, что они неподкупные заговорщики. В них чувствуют еще большую опасность оттого, что они более чисты, то есть лишены связей в самом обществе и ничем ему не обязаны, лишены слабостей перед лицом его соблазнов, безупречно едины в своих

убеждениях, в своих поступках. Это своего рода монахи, заранее обреченные в жертву ради своей веры. Отрекшись от радостей жизни и от жизни как таковой, живя как бы в ожидании казни, служа своему великому замыслу и готовые на гибель ради его торжества, они не ждуг от мира, с которым борются, ни правосудия, ни жалости. Они борются только за то, чтобы разрушить его и заменить другим — миром славы, счастья и справедливости.

Они действительно преступны. Ибо они отделились от общества, дабы низвергнуть его. Их суровая нравственность действует только в их собственном кругу. По отношению ко всем прочим у них нет ни веры, ни закона. Они не считают себя обязанными никого щадить. Если напряжение слишком усиливается, они в конце концов начинают вести себя как те, кем их считают, — как преступники. У них есть необходимая душевная сила для такой крайности, и тех, кто осмеливается совершать зловещие подвиги, вызываемое ими восхищение товарищей, пробуждаемое ими вокруг себя состязание, сознание своих заслуг перед делом, которому служит их фанатизм, с лихвой вознаграждают за переживаемые опасности и побуждают подвергаться еще худшим. С этого момента мосты сожжены. Конфликт уже нельзя уладить. Пролилась кровь. Отныне требуется абсолютное возмездие. Отныне секту уже невозможно до конца подавить. Униженная и гонимая, она становится неукротимой и справедливо претендует на победу.

Конечно, следует лишний раз подчеркнуть, что не любая партия способна стремиться к полному торжеству. Это невозможно, если нет полного разрыва с обществом. Нужно, чтобы каждый член такой партии сознавал, что раз и навсегда исключил себя из общества. Только такой ценой дух секты способен выстоять против всех бед. Но такую волю к абсолютной обособленности нелегко сохранять. Ибо, как бы то ни было, каждый все-таки живет в обществе и принадлежит ему своей семьей, друзьями, ремеслом, просто хлебом насущным, который он себе зарабатывает. Он постоянно подвергается размытому давлению, напоминающему ему об этих разнообразных узах. Его уговаривают не всегда жертвовать ими и иногда немного думать о себе. Оттого почти не бывает примеров, чтобы взятое обязательство выполнялось целиком и полностью, и еще реже случается — ибо отсутствие всякой поддержки сразу затрудняет непоколебимость в своих намерениях, — чтобы договор соблюдался достаточно долго и за это время секта успела развиваться и сама стать могучей силой. Какую неукротимость нужно для этого проявить! А между тем бескомпромиссный раскол с обществом — это главное. Без него не может произойти ничего решительного. Именно он придает секте исходный порыв и обеспечивает ей торжество, когда наступает время собирать плоды.

Такой шаг часто становится началом революций. Возможно даже, он присутствует в любом общественном обновлении. Общество не может воспроизводить себя без предварительного раскола. На это, по-видимому, указывает даже словарь, если только верно, что слова *société* [общество] и *secte* [секта] происходят от одного и того же корня, отчетливо ясного по крайней мере во втором из них и означающего «отрезать». Таким образом, оба типа объединения людей продолжают друг друга. Те, кто образует секту, основывают узкое и замкнутое общество, отрезанное от большого общества, но способное однажды, в ходе своего развития поглотить его. Чтобы объединиться, надо обособиться, и изначальным актом является акт отделения, но тем же актом и создается ассоциация; даже отшельник в пустыне присоединяется к какой-то церкви. Разрыв совершают тем же жестом, каким скрепляют союз. Порывая с прошлым и с любимыми корнями бывшего строя, хотят открыть новую эру. В самом деле, победившие революции — как политические, так и религиозные — часто начинают новый календарь со дня своей победы. Тем самым они обозначают, что с них открываются новые времена. И это не пустое тщеславие — ибо они действительно устанавливают новое общество с новыми нравами и новыми заповедями. Они изменяют отношения между людьми и самый ход истории. Какое-нибудь слово, еще вчера тусклое и затерянное среди других, внезапно облекается властью. Оно вбирает в себя устремления целого народа. Обозначая высший идеал и одновременно давая указания относительно деталей быта, оно становится как бы общей мерой целой цивилизации. Кто же удивится, что понадобилась война, чтобы добиться столь масштабного и глубокого результата? На какую более славную судьбу могла надеяться еще недавно столь ничтожная группа заговорщиков? Чтобы совершить свои паразитические дела, они должны были воодушевляться поистине великой волей. Она неизменно поддерживала их, начиная с первых скромных шагов. Миру известно немного случаев, когда ее результаты были бы столь похожи на чудо.

ОБРАЩЕНИЕ К СЕКТЕ

Из того, что общество может образоваться из секты или же носить на себе ее отпечаток, не следует, что каждая секта порождает общество. Отнюдь нет. Большинство сект остаются ничтожно малыми, быстро распадаются или жалко прозябают. Некоторые вообще существуют лишь в чьем-нибудь романическом воображении, плененном мыслями о могуществе и тайне. Возможно, все они так и начинаются. Но откуда же берутся эти мечты об обществе, которое было бы не столь несовершенным, как реальное, которое отделялось бы от него и незримо руководствовалось строгими и чистыми

законами? И нет ли у этих столь постоянных мечтаний какой-то практически неизбежной причины, заложенной в самой природе социального устройства?

Ребенка воспитывают не в тех принципах, которые ему советуют соблюдать, как только он окажется предоставлен самому себе. Пока он живет вне соприкосновения с общественной жизнью, он растет под защитой своей семьи, не выходя за рамки предупредительно-дружественного круга, где каждый занят тем, чтобы делать все для него легким и приятным. Он окружен любовью и заботой. Его поступки не имеют опасных последствий. Он пребывает в каком-то идеальном мире, без препон и без злобы, где ему дают все, что нужно, а ему для этого не надо делать ничего — только взять на себя труд попросить. Однако он должен точно соблюдать некоторые простые заповеди, которым его учат следовать в любых обстоятельствах и любой ценой. Поэтому, соблюдая их, он сталкивается лишь с незначительными последствиями. Но они кажутся ему страшными. Он охотно принимает эти однозначные, порой жесткие, во всяком случае всегда четкие правила. Но как только он выходит из семейной среды и наступает пора готовить его к самостоятельным встречам с жизненными трудностями, ему начинают давать совсем иные, куда более гибкие рекомендации. Кроме того, его предупреждают, что предписаниям, которые ему раньше представляли как абсолютные, нужно следовать не всегда. Эти перемены приводят его в растерянность. Однако опыт быстро приносит объяснение. К тому же подобные противоречия неизбежны.

«Не лги», — говорят ребенку, а затем начинают учить замалчивать истину, сперва ради приличия, а затем и ради корысти. Точно так же ему наказывали не лстить — а он скоро обнаруживает, что лизоблюдство есть путь к успеху. Ему внушают быть любезным с сильными мира сего, способными содействовать его карьере. Существует сплошной и очевидный разрыв между первым воспитанием и дальнейшими поправками к нему.

На самом деле ни без того, ни без другого не обойтись. Действительно, ведь даже ложь, чтобы ей верили, нуждается в том, чтобы обязанностью было говорить правду. Будь на свете одни обманщики, не будь правдивость долгом, никто бы никому не верил и лгать стало бы бесполезно. Так же искренность обеспечивает возможность хитрости, а честный игрок позволяет плуту плутовать. Он не просто его жертва, но необходимое условие его существования. Лицемерие стремится выдавать себя за добродетель. Ему этого не добиться, если нет настоящей добродетели, то есть если все лицемерно. Так и с любым мошенничеством: оно живет благодаря соответствующей честности. А значит, оно должно заботиться о поддержании этого запаса, в то самое время когда из него черпает и сокращает его.

Правда, обычно люди не все принимают в расчет. Большинство поступает добросовестно: говорят, что детей учат таким принципам, которые затем приходится поправлять из-за самого их совершенства. Ибо тот, кто ничем их не смягчает, оказывается смешным и неумеренным в мире, где каждый, конечно, считает их идеалом, но слишком превосходящим слабые возможности человека. В целом общество состоит отнюдь не из хитроумных негодяев, которые с прозорливым расчетом обеспечивают себе в каждом поколении нужное количество простаков. Напротив, в нем насчитывается подавляющее большинство порядочных людей, которые соблюдают нравственность и хотят, чтобы их сыновья были порядочными, как и они сами. Они лишь желают предохранить их от злоключений, которые постигают странствующих рыцарей из-за их чрезмерной доблести. Впрочем, этот урок они откладывают как можно дольше: «Пусть уж сохраняют свои иллюзии, — говорят они, — и так им придется достаточно скоро узнать о мерзостях жизни».

Но все-таки при первом же столкновении с обществом подростку приходится пережить разочарование. Он знал, что ему придется бороться и что независимость влечет за собой трудности. Но он ожидал суровой точности честного боя. Он готовился выдерживать такое испытание, где избранных отделяют от званных смелость, ум, упорство. А попадает он в гущу скрытых интриг, где торжествуют такие приемы, которые его учили ненавидеть и которые по самой своей природе претят какому-то его инстинкту верности и величия, сколько бы он ни силился видеть в нем лишь предрассудок. В самом деле, гордость и мужество согласно осуждают равно оскорбительные для них поступки. Такая полупорядочность, смешанная с хамством и составляющая обычный удел людей, кажется хуже преступления душе, которую в эти годы влечет к себе один лишь абсолюте. Обман, вознесенный к высшим почестям, угодливость, почитаемая заслугой, лицемерие, которое рассматривают скорее как извиняющее обстоятельство, чем как маску, делающую зло еще гнуснее, — всего этого более чем достаточно, чтобы явить ему зрелище невыносимого и вместе с тем непрекращающегося безобразия. Порой забывают, что это открытие может оказаться и трагическим. Наиболее чувствительные отказываются упорствовать в жизни. «Не могу жить в мире, где все играют нечестно», — написал один юноша, прежде чем покончить с собой. Бывают ли более значимые свидетельства? Большинство, однако, в конце концов смиряются. Некоторые становятся служителями церкви, другие пытаются удачу за морем. Но кто не мечтал поначалу о непреложных правилах? Человек начинает придумывать какой-то суровый и здоровый климат, чей воздух смертелен для любых зародышей разложения. Туда нет доступа лицедеям и блудницам. Там царят ничем не замутненные доблести, которых человек наив-

но требовал от света, в то время как тот непременно их пятнает. В такой идеальной среде ты знаешь, что окружен равными, что обязанности каждого строго определены и честь удовлетворена. Верность долгу является заповедью, первым и основополагающим предписанием. А уже она порождает доверие — чувство, которого не добившись силой и которое облегчает все остальные порывы. В таких невинных мечтах о реванше уже нащупываются и очерчиваются контуры секты.

ВОЗВРАТ К ПОРЯДКУ

Конечно, немалую роль играет здесь пустая мечтательность. Образ, создаваемый желанием и отвращением, просто по контрасту с окружающими гнусностями, обычно одушевляет собой лишь такие намерения, которым суждено остаться неосуществленными. В предельном случае все так и остается в воображении; или же в подростковом возрасте, когда пора вступать в более серьезные игры взрослых, продолжают красочные детские игры, едва очищенные от сказочных атрибутов, которые юные заговорщики черпали из приключенческих романов. Там были всякие мрачные эмблемы, сходки в темных подвалах, договоры, скрепляемые кровью, клятвы на кинжалах. Теперь человек, возможно, и презирает принадлежности этого маскарада, но самый его дух сохраняется и питает собой новую деятельность, порождаемую внезапной потребностью заложить посреди грязного мира основы некоего идеального союза.

И вот люди клянутся в безупречной верности, составляя заговоры без конкретной цели. Ибо это примечательный факт: обычно не формулируется никакой задачи. Объединение происходит просто ради объединения. От этого чистого союза не ждут никакой выгоды. Его цель — в себе самом. От него требуют только существовать, и тем он всецело выполняет свою миссию. Он дает каждому из участников сознание своего незримого превосходства, обусловленного не той публичной ролью, которую он играет в глазах толпы, а его истинной и потаенной сутью — анонимным, скрытым под тайным именем человеком, который получает всевозможную поддержку от неведомого источника энергии, в свою очередь питаемого его собственными усилиями. Эта внезапно разворачивающаяся поддержка в любой момент обеспечивает ему никем не предвидимое преимущество, которое он сам считает решающим. Что может быть более упитательным? Каждый чувствует помощь от общей силы, которой он сам же служит лучшими силами своей души. Он одновременно и получатель, и создатель ее. Внешне он остается нерешительным, покорным человеком, занятым исключительно собой, беззащитным и непритязательным. Как скупец, лелея свою шкатулку-

ку, возмещает все свои лишения мыслью о том, что у него под лохмотьями таится царское богатство и власть, так и он льстит себя мыслью, что может по своей прихоти привести в движение такую мощь, которая из-за своей таинственности кажется не смутной, но безграничной.

Вскоре все это рассеивается. Подобные союзы-однодневки незаметно распадаются или превращаются в обычные товарищеские отношения, не дающие повода ни к каким сильным переживаниям. Человек соглашается принять нечеткие нравы общественного бытия. Он поддается тем соблазнам, который оно являет его пылкой решимости побеждать. Он смиряется с обыкновенным уделом. Участники недолговечного заговора отходят от своей затеи, чей смысл кажется им все менее и менее внятным.

ПОБЕДА И КРУШЕНИЕ СЕКТ

Итак, эти юношеские секты рассыпаются сами собой. Они родились из иллюзий, из преходящей досады, а не из твердого намерения, и им суждено пасть под первым же натиском реальности.

Иногда, однако, в истории проявляется более масштабное усилие. Иезуиты и франкмасоны, требующие полного повиновения, по-видимому, преследуют и столь же непомерные цели. По секретности, которой они себя окружают, по обетам, которые они произносят, по солидарности, которая их связывает, — по всем этим необычайным признакам, еще более преувеличенным подозрениями, судят об их неумеренном стремлении к власти. В данном случае общество, опасаясь их темных и слишком уж твердо осуществляемых замыслов, пытается бороться с такими сектами, у которых достаточно мощи, чтобы ставить себе целью господство своих интересов над интересами общества. И вот оно распускает или изгоняет эти секты — как правило, безуспешно. Они преобразуются, возвращаются из изгнания, продолжают существовать в тени, переживают грозу и вновь переходят в наступление. В конце концов с ними смиряются как с неизбежным злом. Между тем с ростом своего влияния они утвердились в обществе. Тем самым они были как бы приручены и думают уже не столько о завоеваниях, сколько о сохранении завоеванного. Теперь они сами служат опорой порядка, который хотели реформировать. Устанавливается равновесие, а то и согласие. Каждая из таких сект вступает в союз с той или иной партией и через ее посредство участвует в управлении государством. Так что же это — победа или перерождение? Ответ дать невозможно. Торжество и упадок идут здесь рука об руку. Действительно, присущие секте доблести теряют свой смысл, когда оказываются удовлетворены ее притязания и обеспечено ее влияние. Ее покидают жертвенность и боевитость. Вскоре она превращается

в обычное объединение людей с общими интересами, куда набирают не бунтарей, а честолюбцев. Она больше не бросает обществу вызов и не показывает ему пример. Она больше не отделяется от него резко — ни на деле, ни в намерениях. Напротив, она теперь общается с ним, она сама поражена пороками, которые притязала лечить. В ней дышат тем же зараженным воздухом, ради спасения от которого в нее некогда вступали. Любые противоположности между нею и светом смягчены. Гордые и грозные доблести, еще недавно требовавшиеся от ее членов, теперь размыты. Сохраняются лишь привычки к скрытности, взаимной поддержке, хитрости, которые предрасполагают ее к интригам и увековечивают в таком приниженном существовании. Успех приносит ей удовлетворение, но одновременно и гибель. Он предает ее во власть тех слабостей, которые предали ей во власть других. Настала ее очередь быть уязвимой. Победа привела к ее подлинному крушению, какого не могли добиться даже гонениями.

Можно ли представить себе секту, которая преодолела бы это коварное испытание? Она могла бы это сделать, лишь навязав всему обществу ту строгость принципов, что позволила ей завоевать его. Ей пришлось бы приучить целый народ к плодотворным лишениям и подчинить грандиозную сумму его разнородных энергий одной общей задаче. Быть может, такое и возможно. Но тогда к какой же великой цели направить эту все более накапливаемую мощь? Каким бы ни был ответ, от него впору вздрогнуть.

Секта у власти

Секта может поставить своей прямой задачей завоевание власти в стране, где она создана. Она не стремится оказывать скрытно-диффузное влияние на государство, она желает завладеть им. Поэтому она становится похожа на политическую партию, и поначалу с нею так и обращаются. У нее как будто такой же статус, и она стремится к такой же цели. Но вскоре общество распознает опасность: под показным уважением к своим институтам и обычаям оно замечает твердую решимость уничтожить их: В самом деле, разве нужна была бы такая суровая дисциплина, такая абсолютная сплоченность, такой намеренный фанатизм для какого-то менее радикального замысла? Разве была бы нужда отнимать у каждого члена секты всякую щепетильность, обеспечивающую гражданское общежитие, разве стали бы искоренять в них уважение к законам, к истине, к ближнему, заменяя их одной лишь слепой верностью, если бы не имели в виду выковать из них покорные и действенные орудия для беспощадной борьбы? И вот эти суровые сердца, бестрепетно служащие чужому, вражескому закону, начинают рассматриваться как угроза

для морали и общественного порядка. Их обвиняют в нарушении принципов, а они и сами гордятся тем, что отвыкли их исповедовать. Они повидали слишком много таких, кто не способен ничем поступиться для защиты якобы святых заповедей, зато требует от других покорности, опровергаемой его собственным примером, но приносящей ему несомненную выгоду.

Напрасно общество прибегает к репрессиям: секта от этого становится лишь сильнее. Ей приходится проявлять еще больше энергии и изобретательности. Пользуясь раздорами среди своих противников, заключая союзы с одними из них против других, она прорывает выставленный против нее фронт. Она требует от общества таких прав, которых сама же поклялась его однажды лишить. Наконец хитростью и насилием, но также и благодаря мужеству, самоотверженности и уму, она достигает цели своих усилий. Она господствует над нацией, ни в коей мере не утратив свои суровые доблести. И тогда, отнюдь не считая свою задачу исполненной, она сразу же принимается внушать одушевляющий ее дух всему обществу в целом.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИИ

Первым делом она отнимает у индивида элементарные права и любые гарантии против действий государства, которые могли содержаться в законодательстве. Отныне она единолично творит и применяет законы. Она не терпит ничего самостоятельного и распускает все и всяческие ассоциации, подозревая, что они могут прикрывать собой хотя бы малейшие очаги оппозиции, распространять неуловимый дух независимости или даже просто служить крохотными, неустойчивыми островками спокойствия, где можно немного отдышаться от бушующего вокруг урагана. Ей же требуется, чтобы ничто не ускользало от ее надзора и руководства. Сосредоточив в себе всякую власть, она назначает на командные посты не самых достойных людей, а наиболее надежных своих ставленников. Разделение властей, соперничеством которых ограничивался произвол, заменяют единой иерархией, чьи решения не подлежат обжалованию. Раньше конкуренция властей служила защитой свободы и давала возможность несчастным заручиться поддержкой одной из них против другой, избегая тем самым чрезмерных несправедливостей. Теперь же все солидарно, словно монолит; прихотям сильных нет больше ни противовеса, ни предела. Слабый должен терпеть, а поскольку безмолвная сдержанность подозрительна, то ему не просто нельзя жаловаться, но даже не разрешается молчать, ему следует выть вместе с волками. Организаторы энтузиазма и массового бреда не терпят, чтобы кто-либо оставался в стороне. Ведь это значило бы порицание. Вся политическая жизнь затягивается в какой-

то строго упорядоченный водоворот, который в нужный момент разражается неистовыми овациями, — странная смесь механического расчета и иступления.

Секта управляет и организацией труда. Она единственно намечает планы и контролирует их выполнение. Она все вводит в заранее установленные рамки и реформирует каждую отрасль промышленности в целом и в частности. Все делается точным и жестким — плотно пригнанным, словно детали в машинах. Стараясь сокращать потери энергии, распахивают целину, перерабатывают отходы. Даже досуг должен быть производительным. Игры, марши, спортивные упражнения укрепляют мышцы, а заодно и развивают командный дух. И так с радостью приобретается сила, не говоря уже о покорности.

Всюду внедряют лучшее, более точное распределение усилий, позволяющее умножить их эффективность. Нет ничего такого, что не было бы похвально применить к делу. С этой целью фанатизм ставят выше компетентности, которую всегда, когда можно, подчиняют ему. Представляя дело так, будто одна лишь невежественная преданность с необходимой отвагой пойдет на преодоление препятствий, перед которыми отступил бы технический специалист, слишком озабоченный своими профессиональными вопросами и не столь жаждущий прорваться любой ценой. Знание заставляло служить боевому задору — порой дерзкому, но строящему великие планы и не отступающему ни перед чем. Под его грубыми понуканиями порой совершаются благотворные перевороты, которые иначе без конца откладывались бы по привычке и осмотрительности. Так, по мере того как секта распространяет в жизни нации свои строгие и бережливые методы, исчезает общая расхлябанность, всякого рода небрежность, бесполезные траты, обычно составляющие принадлежность каждого общества. При этом изменяется и вся жизнь людей.

Действительно, секта намерена распространить свою власть именно на всю жизнь в целом. Она отменяет разделение общественной и частной жизни. Каждый человек принадлежит ей целиком и напрасно ищет себе убежища, где можно было бы укрыться от ее хватки. Он должен сохранять ей верность даже во время отдыха, в легкомысленных речах и ласках. Она следит за ним в кругу семьи, за домашним столом и даже в укромном алькове. Она вездесуща, поскольку нельзя довериться ни другу, ни подруге, ни родственнику. Сын доносит на отца. Все добродетели, все почтительные чувства сводятся к любви, которую следует питать к секте и которая выше всех прочих привязанностей. Один-единственный долг, при необходимости велящий совершать преступления и отпускаящий эти грехи, отныне занимает место различных обязанностей, которые до сих пор делили между собой человеческое сердце.

ГОНЕНИЕ НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Точно так же секта навязывает искусству свои сюжеты, желая использовать их для восхваления своего дела. Она также предписывает ему технику, которая должна быть общедоступной, а не свидетельствовать об особом, недостижимом для большинства мастерстве. С другой стороны, она ограничивает научные исследования теми областями, где открытия могут лучше всего послужить достижению поставленных ею целей. Она отдает предпочтение тем дисциплинам, которые способны оказать ей поддержку в ее усилиях. На остальные же она смотрит с подозрением и дает им руководящие указания, забывая о которых было бы неосторожно. В любом случае их открытия должны подкреплять собой официальное учение. Всякого, кто рискнет его опровергнуть, изгоняют. Собственно, секта не доверяет художнику и ученому по одним и тем же причинам: они естественно становятся изменниками, так как склонны уделять преимущественное внимание красоте или истине.

Однако еще более она нападает на религию, так как та с большей твердостью отстаивает такие устремления, в которых ей нет места и на которые могут равно притязать все люди. Она преследует церкви — своих соперниц, оспаривающих у нее души прихожан и создающих поверх национальных границ общины, которые конкурируют с тою, что она пытается утвердить в пределах страны, где одержала победу. Она требует от них как минимум отречься от своей всемирности и пойти на то, чтобы, прибавляя свою власть к ее власти, объединять лишь людей, уже соединенных общей кровью и территорией.

Действительно, секта прежде всего должна преследовать любую универсальную ценность. Она существует лишь в противоположности всему остальному миру. Отождествив себя с нацией, она может передать ей свой порыв и свою силу, лишь бросив ее на борьбу со всем светом. Придя к власти, она сразу же сливается с нацией, мощь нации становится ее собственной мощью. Она наследует значительные ресурсы государства, историю отечества и целый народ, который она принуждает к дисциплине, но и сама становится от него неотделима, так что отныне они вместе, как один восстают против всего рода человеческого и готовы все подчинить высшим интересам своего надменного величия. Ничто не имеет ценности, если его начало и цель в чем-то ином. Стоит только перестать думать исключительно о славе нации, и это уже значит похитить то, что ей причитается. Ей следует жертвовать состоянием, жизнью, даже честью; ей нельзя предпочесть ничто — ни божественное, ни человеческое. Справедливым и истинным является только то, что она объявляет та-

ковым. Есть только одно преступление — нанести ей вред, прочее же все похвально, если осуществлено по ее приказу или ради ее блага.

ПАГУБНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛАСТИ ДЛЯ ДОБЛЕСТЕЙ СЕКТЫ

Что же происходит в этих новых условиях с теми исключительными доблестями, которые привели секту к победе? Они закономерно терпят от них ущерб. Совсем не одно и то же, когда горстка заговорщиков применяет безжалостные средства против враждебной ей мира или же когда их военизированные отряды, уверенные в своей безнаказанности под прикрытием законов, терроризируют и насилуют беззащитный народ. Одна лишь опасность служит извинением для насилия. Совершаемое как бы по-барски, с удобством и без всякого риска, оно является уже не смелостью, а трусостью. Чтобы посягать на чужую жизнь, нужно ставить на карту свою собственную, а еще лучше — уже раньше не раз подвергнуть ее опасности и как бы заранее от нее отречься. Кто рискует получить более тяжкие удары, чем наносит сам, кто подвергает себя большей опасности, чем своего противника, — только тот творит свои страшные дела без большой угрозы для души. Когда убийца, отряженный своими товарищами, исполняет вынесенный ими приговор человеку, который воплощает или обслуживает преследующую их власть, то его спасает некое зловещее величие. Действительно, тем, кому отказано в защите закона, остается лишь самооборона в форме убийства. Им приходится выступать против всего общества и совершать кровавые жертвоприношения, потому что в их распоряжении нет других возможностей, — порой даже именно для того, чтобы их добиться. Быть может, они и не уверены, что их деяния вполне чисты и невинны. Они предпочли бы действовать в согласии с правосудием, а не в нарушение его предписаний. Они признают, что вступают на путь проклятия, с которого уже нелегко свернуть, что становятся отверженными, подобно тем, кто решился развязать силы ада, так как не сумел склонить в свою пользу богов, и с тех пор навек обречен на бесовство. Этот мрачный орел по крайней мере спасает их от презрения.

Но держава, использующая террор как главное средство правления, отвратительна, если только ее не вынуждают к этому самые экстренные обстоятельства. Во всяком случае, чиновника, который у себя в кабинете ставит крестики в списке имен тех, кому назначает смертельную участь, трудно считать героем. А в делах жизни и смерти от героизма до позора — один шаг. И такие люди быстро появляются — где-нибудь на каторге, где они могут безнаказанно мучить узников. Насилие перестает быть крайним средством гонимого и становится обычным орудием господства. Нет средства бо-

лее простого и более грубого. Результаты же его ужасны. Из лучших, наиболее энергичных натур подобные методы делают либо мучеников, либо палачей. Что же до людского стада, то оно становится еще более робким и низким, чем ему свойственно обычно.

Так доступ к власти может вдруг осенять посредственную душу неожиданным благородством и побуждать ее к большому величию и щедрости, чем она была способна поначалу, но может и ввергать даже самых мужественных в темные соблазны наслаждения и жестокости, бесповоротно направляя их на стезю, ведущую напрямиком к разложению.

СЕКТА ИЗМЕНЯЕТ СЕБЕ

Помимо этой опасности, незаметно подстерегающей всех вдруг получивших какую-то толику власти, как только секта берет в свои руки судьбу нации и растворяется в ней, она изменяет своему сущностному началу. Ее долгом было противопоставлять людей, прочно объединенных общим призванием, огромной зыбкой массе, собранной вместе по случайным обстоятельствам рождения и проживания, а не по свободно выбранному решению. Она брала себе отборные, неподатливые души, которые изначально обеспечивали ей необыкновенно высокий моральный уровень. То была главная причина ее престижа и привлекательности. Теперь же ей приходится принимать в свои ряды целый народ. Толкаемые страхом или корыстью, в нее вступают люди подлой породы, принося с собой свои навыки хитрости и обмана, свою жажду удовольствий, денег и похвал, — одним словом, все те слабости, к которым общество было слишком сурово и даже попустительствовало их расцвету.

Но в обществе эти вредные элементы хотя бы творили зло, не объединяя своих усилий; каждый из них старался для себя и довольствовался своей выгодой в меру своих возможностей. Между паршивой овцой и порядочным человеком пролегал нечувствительный переход. Зрелище успеха, выпадающего мошенникам, могло поколебать тех, кто недостаточно тверд в добродетели. Но такое искушение обусловлено просто природой вещей, и ему трудно помешать делать свое дело; остается лишь преодолевать его, как и любое искушение. Если бы низость не приносила выгод, в чем была бы заслуга воздержания от нее? Итак, если не считать подаваемого ими примера несправедливого благополучия, те, кто слишком многим поступался для его обретения, производили лишь рассеянное, редкое зло, жертвами которого люди становились скорее случайно, чаще бывая не жертвами, а свидетелями и даже, пожалуй, не только свидетелями, но и сообщниками. Ведь если только совершенно не порывать со светом, кто может полностью снять с себя ответственность за царящие в нем нравы?

Однако секта всюду наводит порядок. Она не терпит ни малейшего зазора в точно подогнанном механизме, собираемом ею со всею строгостью из различных частей. Она всему ищет применение, и любая свободная энергия предназначается ею для чего-то определенного. Она все ставит себе на службу, отчасти из заботы о том, чтобы ничто не пропадало, отчасти из желания не оставлять ничего вне своей досягаемости. Любую рассеянную силу она собирает в кулак и рассчитывает извлечь из нее максимум эффективности, сочетая ее результаты с результатами других таких же сил. И потому, как только она распространяет свое действие на более широкую сферу, как только сталкивается с необходимостью без разбора призывать в свои члены большое число недостойных людей, она очень скоро начинает уже не безжалостно выжимать полезное действие из доблестей — теперь ей приходится осваивать обращение с самыми низкими и элементарными инстинктами, вплоть до зависти, разврата и жестокости; она поддерживает их своим всемогуществом и сама в свою очередь опирается на них в целях подавления. Заняв места в государственном аппарате, эти низкие люди, чье вредное влияние прежде было ограниченным, оказываются облечены самой грозной властью и вольны все подчинять своим прихотям, при одном лишь условии, что сами будут покорно пресмыкаться. Они быстро в этом преуспевают и образуют внутри нации целую иерархию деспотов, которые во все подозрительно вникают и служат всюду соглядатаями и исполнителями. Они передают и применяют полученные от хозяев приказы и, толкая нижестоящих к доносам друг на друга, точно информируют вышестоящих о согласии или сопротивлении, которые вызывает к себе этот новый тип правительства, который, стремясь утолить свою ненасытную жажду власти, прибегает одновременно к жестокости и коварству.

Вскоре это злоупотребление получает поддержку закона. Лучшие отходят в сторону, охваченные отвращением или устраняемые бесчестными интригами. Первоначальные доблести все более и более подрываются и разлагаются. Созданные для исключительных натур, свободно выбирающих самую тяжкую борьбу, они не выдерживают испытания, которому их подвергает вдвойне их же собственная победа. Не встречая никаких помех своему применению, абсолютные принципы, в неравной борьбе единственно дающие надежду на спасение, после достижения победы служат лишь для подавления слабых, не оставляя им ни малейшего шанса ускользнуть. Те грозные заповеди, что были некогда придуманы против лицемерия и применялись для его разоблачения, теперь сами вынуждены получать от него опасную дань, ибо люди, у которых нет ни мужества, ни достоинства, решают, что настал час делать карьеру путем их показного соблюдения. С этого момента все начинает гнить, и в ты-

сячу раз хуже прежнего, так как закон мирится с пороками, ставшими его орудием.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВОЙНЫ

Режим, сохраняющий мрачно-неистовый дух секты, из которой он вырос, и доводящий до предела суровые предписания, которые он от нее унаследовал, подобно ей старается ревниво извлекать пользу из всего — как полезного, так и вредного. Стремясь только к успеху, он не стесняется ничем в его достижении. Он эксплуатирует народные массы и огромные ресурсы нации с такой же непреклонной энергией, какая некогда объединила несколько человек, наделенных великими притязаниями и стремившихся к завоеванию, которое тогда еще казалось нелепой затеей. Но когда это завоевание — уже само по себе тяжелое и скорбное — наконец свершилось, почему бы не сложить оружие? Овладев государством, секта должна была бы раствориться в нем, а ее члены — возвратиться к не столь суровым нравам мира и досуга. Иногда так и происходит; но случается также, что она приходит к власти в самом расцвете своих юных сил и лишь удваивает свои амбиции. Она реформирует общество по своему образцу и заставляет его принять свои горячие и грозные доблести. С какой же целью? Ради какого небывалого тайного замысла? Какой неслыханный труд требует так много бдительности и заботы? Население целой страны подчиняется дисциплине, свойственной горстке заговорщиков. Гражданам предписывают безграничную солидарность, с которой они должны соотносить все и которая делается их единственным законом. В самых разных областях национальной деятельности все подвергается упорядочению, унификации, сопряжению ради успеха какого-то гигантского начинания, чье имя словно боятся произносить.

Это может быть только война. Никакая иная цель не согласуется с мобилизацией, которая по своим масштабам словно даже превосходит обычные потребности войны и ориентируется на какой-то новый тип битвы, затрагивающей не только войска, но все те разнообразные энергии, что аккумулирует в себе народ. От каждого требуют столь радостного и восторженного участия, какие не имеют ничего общего с обычным послушанием. Из людей воспитывают рабов, причем таких, которые вовсе не страдают от рабства, а сами выбирают его и ввергаются в него с гордостью, с уверенностью, что именно в рабстве заключен лучший и полнейший способ служения. Одновременно сердца воспитывают в каком-то воодушевлении, поддерживающем их в постоянной готовности искать опасностей и смерти за святое дело, заставляющем служить ему даже путем измены и бесчестия. Их убеждают идти на отказ от своей свободы и всяких личных устремлений ради причастности к более высокой и надежной, как бы

вечной славе и независимости, составляющим достояние всего сообщества, от которого они получают все и которому за это по справедливости следует посвящать плоды любого удачного дела.

Такие принципы суть принципы борьбы, выходящей за собственно военные рамки. Это именно принципы секты, привыкшей рисковать всем в неравных схватках и считающей своим долгом для восстановления равновесия применять какие угодно боевые средства. В том же духе, с той же суровостью, с какой уподвляла сама собой, она организует и всю нацию. Изменился лишь масштаб предприятия. Теперь уже речь идет не о редких, разрозненных террористических актах, не о героических деяниях, совершаемых командой убийц-добровольцев. Фактически война объявлена всему свету. Какую еще можно представить себе другую борьбу, которая была бы соразмерна поставленным на карту ресурсам? Конфликт начинается с первого же дня, пусть даже никто еще этого не сознает. К нему приводит не какое-то решение или происшествие, но сама природа вещей, чье действие напрасно было бы пытаться остановить. Все двигалось к войне и только к войне. Все делало ее неизбежной. Ибо только война, причем война, ведущаяся по доселе неслыханной всеохватывающей формуле, требует столько искусства и упорства, поглощает столько непрерывно накапливаемых ресурсов и энергий, наконец, обьясняет, почему индивида полностью лишают его прав. Ведь он солдат и должен только повиноваться. По той же причине доводят до столь крайних пределов солидарность и превращают ее в высшую доблесть: следует рассматривать ближних как врагов и не уважать в них человеческого достоинства, если только они не принадлежат к одному народу с тобой. Таков закон войны; если же теперь оказывается, что он действует и в мирное время, значит, это не настоящий мир, а лишь обманчивая видимость, которую прикрывает война.

Итак, расширение секты до размеров нации означает наступление войны. Война — тот вид борьбы, которую единственно могут приуготовлять становящиеся обычными в жизни нации сверхсуровые меры и утверждаемая ею противоположность между нею и остальным миром. В самом деле, она обособляется от него и презирует его. Она полагает, что от мира исходит опасность для нее, и стремится его завоевать, она ненавидит его и желает излечить от прегрешений, стремясь доказать ему одновременно свою силу и доблесть. Какие еще нужны доказательства, что военные действия неизбежны и что они уже начались? Теперь это не приграничные стычки, не спор двух соседних королевств, не соперничество притязаний и не ссора между властителями — целый народ, целая вера начинают святую войну за господство над земным шаром. Так ислам, или Республика¹,

¹ Подразумевается первая Французская республика (1792–1804). — *Примеч. пер.*

или Третий рейх восстанавливают против себя весь мир, пытаясь спасти его против его воли и силой оружия дать ему новых господ и новое евангелие.

При этом война перестает быть кровавой развязкой ситуации, из которой не нашлось мирного выхода. Она обусловлена самой этой ситуацией. Она с самого начала сопровождает и выражает ее собой. Агрессия происходит непрерывно — сперва скрытно, а в конечном счете и открыто. Когда дело доходит до грома битв, это означает не нарушение мира, а объявление войны с обеих сторон.

Теперь война присутствует в мыслях каждого, поглощает все его усилия и превращает его жизнь в сплошное самопожертвование; она также является для него пышной церемонией, в ходе которой он увенчивает свою жизнь высшим приношением богу сражений, которому давно уже посвятил эту жизнь. Говорят, что она составляет окончательную цель, к которой стремятся народы, и пробный камень, которым они различаются. Желанны лишь те доблести, что позволяют с честью предстать пред ее судилищем. Философы учат не только о ее благодетельности и продуктивности, но также и о том, что она есть извечно начало, которому человечество порой должно приносить драгоценные и спасительные жертвы в форме битв, чтобы обрести юность и силу. Вскоре война становится предметом какого-то культа. Эта религия заменяет собой другие, и говорят, что вечную жизнь обретают лишь воин, павший в бою, и женщина, умершая при рождении ребенка, который однажды займет его место. В сердце каждого вздымаются невидимые хоругви, и они повсюду развеваются в небе в мощных порывах ветра вместе со знаменами других сердец. Все они несут на себе одинаковые эмблемы, закливающие смерть. Волчица, Полумесяц, свастика или красное солнце Японии — эти простые образы ведут на гибель сияющие радостью жертвы. Душа, жаждущая кровавого экстаза, стойко готовится к священнодействию, дающему право на бессмертие. Человек и боится и желает войны, словно девица — брака или мученик — казни. Страх и трепет — это также и знаки ожидания. Страдание будет сладостным.

Отныне секта уже не отражает выбранных по жребию убийц, чтобы исполнять свои приговоры; она ставит на карту все, бросая в жертвенный костер целый народ. Ее триумфальный путь завершается апофеозом смерти.

Резюме и заключение

Такой предстает окончательная судьба сект; а между тем один и тот же дух одушевляет их, от первоначального раскола с миром до чудовищного столкновения с ним в конце. Иногда им поддерживается легкое, неуловимое волнение, не властное над миром и почти иде-

альное по своей природе. Иногда же им движутся великие революции и исторические катастрофы — воображению как подростков, так и завоевателей и целых народов он являет одни и те же соблазны, убеждая отделить свою судьбу от судьбы трусливо-неподвижного мира, где у большинства людей забота о личном или семейном благополучии подавляет зов приключений и широких просторов. Такова первичная отправная точка. Человек хочет уйти от общества, чьи заповеди в конечном счете заключаются в максимально частом воздержании — пусть даже ценой истины и справедливости; он желает заботиться о чем-то ином, что оставяло бы не столь много покоя. Из инстинктивного протеста против посредственного существования среди случайных людей, собранных вместе, но не объединенных совместной жизнью, в честолюбивых юношеских грезах возникает образ отряда избранных соратников, прочно спаянных в борьбе, которая непременно приносит плоды благодаря тайне, самоотверженности и героизму.

Незачем искать иных причин притягательности, которой постоянно обладают секты: они кажутся вечным источником секрета и страсти, верности и могущества. Возможно, они и в самом деле им являются. Возможно, в ребяческих мечтах или недолговечных затеях обретается та атмосфера, где можно испробовать необходимые человеку доблести, которые общество неспособно неукоснительно практиковать и даже не особенно решается их восхвалять. Оно пользуется ими, но при этом стараясь свести их на нет. Оно отнюдь не культивирует их с особым предпочтением, но позволяет им угасать. Оно расхолаживает тех, кому они дороги, показывая, сколь глупо следовать принципам, которые мало соблюдаются другими. Порой оно даже способно грубо одергивать тех, кто своим усердием задевает интересы слишком многих людей. Таков его обычный режим. Поэтому правильно, что столь же часто возникает и мысль об ином, совершенно противоположном режиме, где в изобилии наливаются суровость, непримиримость, скромность и многие другие правила поведения, научиться которым можно лишь в узком кружке и под давлением какой-либо необходимости.

Итак, секта и общество постоянно противостоят друг другу, и это на благо всем. В сердцах тех, кто чувствует его зов, дух секты укрепляет призвание быть членами элиты. Одновременно он напоминает им об обязанностях, связанных с этим положением. Он учит их особой дисциплине, которую они должны принять, если действительно стремятся к исключительной судьбе. Обычно те независимые энергии, что поначалу пытались заниматься борьбой против общества, вновь подчиняются и применяются им. Но этот мятеж их закалил. Они выходят из него обогащенными, став тверже и гибче. У них теперь больше прежнего ресурсов для новых затрат. Общество, поглощающее их, обретает прибыль полезной си-

лы, и высшие формы его культуры в конечном счете получают ценнейшее подспорье от тех иллюзорных, высокомерно-мятежных начинаний, в которых велика доля игры и самообольщения, но которые больше, чем стабильный, без всяких событий рост, помогают превращению отрока в закаленного взрослого человека. Блудные сыновья вносят большой вклад в цивилизацию, чем те, кто не сходит с проторенных путей. Конечно, их поиски приключений редко приводят к стоящим результатам. Все возвращается в лоно порядка и серьезности. Однажды сформировавшись, секта в один прекрасный день распадается, и от ее дерзостных замыслов остается одно воспоминание. Однако каждый проделал некую работу для себя самого. Манившие его цели были лишь нестойкими грезами, которые и постигла справедливая судьба всех грез. Зато твердость, которой он научился, клятвы, которые он сдержал, честь, которую он сохранил, — такие приобретения остаются надолго. Ибо они следуют закону испытаний души, где все оставляет след и намечает новый путь. Здесь все становится зачатком привычки — как благородство, так и низость. Все создает, а затем и упрочивает новые склонности, новые предрасположения, которые становятся как бы естественными, и самые старые из них оказываются глубже и стойче прочих. Учиться верности и строгости — дело, которым нельзя пренебрегать.

Однако иногда, побуждаемая благоприятными обстоятельствами, секта выходит за рамки этой скромной роли. Она прочно утверждает свое существование и начинает бороться сама за себя. Ее уже больше нельзя рассматривать как школу, где учатся лишь временно и где даже неприлежным ученикам незаметно для них прививают навыки, которые пригодятся им позже, когда они о ней забудут. Теперь ее члены связаны с нею на всю жизнь. Теперь она вступает в открытую конкуренцию со средой, где она возникла. Она быстро приобретает сопротивляемость внешним событиям, превосходящую искушения и угрозы, которыми располагает общество в попытках ее обуздать. Она определяет свое учение и задачи. Она начинает безжалостную борьбу и становится гонимой. Все ее доблести доводятся до предела, и проливается кровь. Ее членов объявляют вне закона и всюду преследуют. Стремятся искоренить всю их породу. Они же, со своей стороны, определяют жертвы, которые должны пасть под ударами священных мстителей. Некоторые мученики, мягкие сердцем, отрекаются от мира земного ради торжества в ином, более милостивом мире, и воздерживаются от ответных насильственных действий. Но обычно секта стремится к сугубо земной победе. Когда же она ее добивается, то сама оказывается обречена на гибель и становится рассадником бед.

Действительно, в этот момент она отходит от своей особой миссии — сводить вместе людей, движимых призванием. Ее че-

стью было поддержание союза, в котором поклялись друг другу свободно объединившиеся индивиды, вступая на новый трудный путь. Если же они обладают властью, то все сразу оказывается испорчено, и та суровость, что ранее влекла их к героизму, ныне превращает их в позор. Завладев господством над нацией, они перестают набирать в свои ряды лишь избранных. Принимая в свое слишком широкое сообщество всех подряд — как зерно, так и плевелы, — они объявляют весь взбудораженный народ предназначенным к ничем не оправданному владычеству над остальными. Отныне заслуга определяется рождением, которое становится принципом превосходства. Кровью, историей или границами создается уже не единство желаний, а братство между людьми. Прошлое предопределяет собой будущее и окутывает общей судьбой всю разнородную массу людей, где еще более обычного преобладают худшие, ибо никому не дозволено стремиться к личному совершенству отдельно от других.

Большинству людей отказывают в правах, свойственных всем людям, — они предназначены для рабства. К этой цели непрерывно направляются национальные ресурсы. От мобилизации не ускользает ничто, и каждая частная энергия должна вырабатывать максимальное усилие. Только так и можно добиться господства над целым миром. Действительно, собираемые при этом силы и культивируемые доблести находят себе применение и славу только на войне. Сами по себе завоевания словно становятся чем-то второстепенным. В итоге рождается своеобразная религия войны, объявляющая войну подлинной и окончательной целью жизни любого коллектива, где ранее имелось в виду растворить всю жизнь каждого человека.

Возможно ли представить себе секту, наделенную достаточно ясным сознанием и самообладанием, чтобы никогда не обращать драгоценные доблести, что лучше всего развиваются в ее суровом климате, к таким целям, которые привлекают лишь естественной завораживающей силой ужаса? Тогда ей пришлось бы отказаться и от своей способности возбуждать и укреплять эти доблести — отречься от своей гордой обособленности и действительного могущества. Ей придется перестать желать любой власти, содержащей какой-либо материальный элемент. Ибо для ее достижения, а затем и для ее отправления ей понадобится материальная же поддержка. Для завоевания мира, каковой является земным миром, ей придется и самой опираться на тяжкие земные вещи. В конечном счете на завоевание мира бросают не чистую элиту, а целую расу или нацию; это значит, что секта, вместо того чтобы объединять людей по родовому складу и по велению сердца, поделила их по такому признаку, за который они не ответственны и на который не влияют ни свободный выбор, ни личные заслуги.

С другой стороны, а можно ли вообразить себе чисто духовное братство? Его следует мыслить как состоящее из людей рассеянных в пространстве, не привязанных к миру, объединенных лишь идеальной солидарностью, которую дает им следование общему закону, наконец, гордых только своим двойным отказом: отказом от земных благ, которыми довольствуется большинство, и отказом от обычных средств, которыми располагает принуждение. У них остается лишь власть примера и внутреннего величия, которой у них никому не отнять.

Но не значит ли это изобретать святость? Между тем, в конечном счете, что может быть более противно горделивому духу сект? Итак, приходится заключить, что этот дух — лишь первый шаг на пути презрения к прелестям общества и света. Однако этот путь, если упорствовать в нем, ведет к пропасти. Он воспитывает грозные инфернальные доблести, служащие отнюдь не тестом, а лишь закваской, на которой поднимается тело общества. Они могут оплодотворять его, быть его родящей солью, живым источником благодетельного буйства, но они слишком сильно рискуют увлечь его в головокружение, где оно утратит покой, честь и свободу. В нашем земном мире их судьба ограничена. И пусть тот, кто стремится к высшему, поначалу идет, если хочет, по этой стезе. Нужно только, чтобы он достаточно скоро с нее сошел.

ИЗ ЭССЕИСТИКИ

ОПУСТОШЕННОСТЬ

Пир мощности моей и оргия ума.
*Поль Валери*¹

ПО-видимому, как в природе, так и в жизни духа одна лишь опустошенность способна дать нашей душе высшее блаженство. К ней приводят самые настоятельные движения ума, и натурам, любящим воздержание, ее доставляет суровый климат тех избранных краев, где они пребывают среди равных себе. Эта горячая пустота, создаваемая умом у себя под ногами, быстро становится единственным алкоголем, способным мощно пьянить. Дух, словно больное горло, бывает заражен флорой, от которой его нужно лечить. Видя бесплодные просторы песков или льдов, начинаешь думать, что и растительность на нашей планете — лишь неприятный, заразный нарост, время от времени удаляемый с лица земли холодом или засухой. Хорошо, что есть такие места, где трава больше не растет, когда прошел бич божий².

Существует добросовестность ума, о которой редко говорят, но на которой многое должно держаться. Однако в области духа царит такая анархия, что само это понятие интеллектуальной добросовестности едва намечается. Для такого печального положения вещей в высшей степени показательное расхождение употребление в хвалебном смысле слова «блестящий», свойственное многим из тех, чье дело и чуть ли не ремесло — увлекаться одними лишь сокровеннейшими и несомненно ценными порождениями пылкого духа и сердца. Похоже, когда-то им понадобилось слово, которое выражало бы сдержанность, но все же звучало бы похвалой. Так они рассчитывали сохранить свою независимость, избегая заложенных в ней опасностей, и своей условной благосклонностью привлечь

¹ Из стихотворения П. Валери «Ария Семирамиды» (сб. «Альбом старых стихов»). — *Примеч. пер.*

² Древнего царя гуннов Аттилу называли «бич божий» и говорили, что «где он пройдет — там больше трава не растет». — *Примеч. пер.*

к себе в ответ настоящую лесь. Это обманчивый расчет, это скользкая дорожка. Интерес так легко ограничивается одним лишь этим регистром, внимание так быстро сосредоточивается на поиске *эффектов*, что быстро складывается убеждение, будто у мысли не бывает ни морали, ни чести, ни опрятности. Сами эти выражения кажутся либо бессмысленными, либо отсылающими к былым временам, когда люди еще не владели искусством выращивать розы без колючек. Да, эти выражения действительно бессмысленны для ума, брезгающего всяким усилием, отвергающего всякую дисциплину, заранее согласного с любыми влечениями, считающего для себя все дозволенным, лишь бы в результате возникла иллюзия и еще более расширился круг вольностей. Между тем выражения эти, пытающиеся навести порядок, установить обязанности и санкции, отличить добро от зла, именно и обозначают, что у роз есть колючки, что в удовольствиях присутствует и мука. В том-то и дело, что умственная работа — не удовольствие. Это долг и, в известном смысле, рок. В нашем мире, предавшемся попустительству и впавшем в хвостовство, я пытаюсь прочертить диалектику добровольного рабства.

Можно, конечно, считать пороком, что деятельность отрывается от собственного предмета, стремится к предельному, идеальному режиму, становится как бы абстрактной. Но следует прибавить, что это происходит практически неизбежно, что в этом почти фатальном повороте, пожалуй, проявляется сущностно важная черта теоретического развития страстей. К тому же подобный порок, подчиненный столь строгому закону, сильно походит на добродетель.

На своей низшей ступени любовь к познанию почти не отличается от любопытства: они равно удовлетворяются сведениями, описаниями. Знание еще не отделилось от понимания. Но по мере того как познание становится все взыскательнее и стремится все глубже проникать в свой предмет, на первый план выходят вопросы метода, организация знания становится важнее его материи, мы стараемся понять сам процесс нашего понимания. Мы интересуемся не столько тем, что познаем, сколько тем, как познаем, и постепенно именно это становится единственным предметом познавательных усилий. Тогда и достигается опустошенность — у исследования нет больше другого материала, кроме своего собственного синтаксиса. Дорога эта коротка, но все-таки вынуждает к величайшим жертвам. Что ж, иная нищета обогащает больше, чем изобилие.

Думается, что подобная судьба и подстерегает нашу тягу к знаниям. Если она будет верно следовать своей склонности и не позволит достигнутому убаюкать в себе желание, то станет получать больше наслаждения от усилий, чем от усад, и постепенно сделается идеально упорным, неослабным движением вперед, к широкому и утонченному, прозорливому и невозмутимому, все более тайному и все более властному господству.

Все или по крайней мере все главное уже было сказано об этой строгой и трезвой гордости, которая по праву противостоит ненасытной и тщеславной жажде похвал, а также о том, что для нее нужны отказ от скупости и душевная сила: чудовищные жертвы, которые приходится придумывать и приносить для удовольствия столь далекого от обычного хода жизни и столь острого, что вот-вот исчезнет совсем, — для радости чистого и бесплодного владения богатствами, изъятыми из обращения, сохраняемыми вне всякого производства, которые лучше уничтожить, нежели превратить в какую-либо пользу или блаженство.

Такова абстрактная фатальность страстей. Даже любовь к свободе не только не ускользает от этой головокружительной строгости, но лишь ею одной и оправдывается. Ибо во имя свободы люди совершают безрассуднейшие поступки, сильнее всего их поражающие. От природы непокорные, они переживают любые правила как оковы, видят в них лишь преграду для наслаждений, в коих по недостаточной ясности ума усматривают высшую цель свободы, вместо того чтобы помнить, что это распахнутые врата в рабство. Из-за маниакальной враждебности к прилежному труду, к любому твердо установленному замыслу, требующему долгих усилий и большого терпения, они путают свободу с произволом, и стоит лишь какому-нибудь порыву, даже самому внешне обусловленному и внешне зависимому, не встретить в них сопротивления или сломить его, как они почитают этот порыв свободным и победительным, тогда как он всего лишь удачлив и все равно поработен.

Иные писатели, обольщаясь этим софизмом, воображали, будто достаточно дать перу форсированным маршем, без всякого контроля со стороны ума и воли, скользить по бумаге — и нам вдруг откроются и обретут выражение во всей своей природной чистоте глубочайшие тайны человеческой души. При проверке выяснилось, что полученные таким образом тексты небывало сильно отмечены влиянием литературной моды¹. Вместо бездонных богатств в них обнаруживались наивные результаты самых элементарных и суетных забот, самых мелочных и поверхностных стремлений, свойственные любому механизму монотонность и скудость, очевидная нехватка содержания. Устранив действие ума и воли, думали избавиться от цепей, а на самом деле всего лишь сложили оружие. Важно подчеркнуть, что делавшие это могли добросовестно заблуждаться насчет истинной роли размышления и критического ума, рассматривая эти мощнейшие орудия и помощники исследования, которые входят в глубочайшую суть сознания и без которых оно заранее обречено на поражение, как главные препятствия, которые оно

¹ Речь идет о сюрреалистических опытах «автоматического письма». — *Примеч. пер.*

должно преодолеть, дабы добиться цели. Одна лишь эта неудача весомо свидетельствует против таких низких форм применения свободы, а еще более против той пагубной веры, что направляет и оправдывает их, внушая, будто для завоевания небес нужно лишь перестать контролировать себя. Напротив, следует считать верной истину, что царство небесное и царство познания принадлежат одним лишь яростным, что их врата не открываются по волшебному слову и их приходится взламывать. Утрата самообладания — прямой путь к поражению. Сверх того, из него вытекают невзыскательность к себе, делающая человека презренным, и жадность, делающая его грубым, а такое сочетание образует рабов.

Не следовало бы безоговорочно смешивать свободу и независимость. Их пути очень скоро расходятся. Само по себе желание свободы, понимаемое индивидом просто как притязание во всех мелочах действовать своевольно и безнаказанно, способно мало что создать или даже сохранить. Эти мгновенные прихоти так скоротечны и непоследовательны, как ничто другое. У любви к независимости — иные стремления и иные способности. Она слишком презрительна и слишком терпелива, чтобы требовать чего попало от кого попало, и, считая более славным не нуждаться в просьбах, чем получать просимое, она сразу же достигает опустошенности; пусть тот, кто хочет обеспечить свою свободу, поймет, что он должен пылко желать быть сильным и не питать к силе той принципиальной ненависти, той систематической, скрытой или явной вражды, той мстительной зависти, которую всегда обращают к ней дети и слабодушные, вообще всяческие несовершеннолетние. Ради ее достижения не жаль никаких жертв, ибо достоинство людей, пожалуй, измеряется прежде всего тем, от чего они отказываются ради одной лишь возможности лучше властвовать собою. Между независимостью и деспотизмом есть много близкого, и любовь к независимости более всего предрасполагает к деспотизму. Когда заметишь, что наслаждение поработщает, свобода состоит уже не в том, чтобы его добиваться, а в том, чтобы его побеждать. Кто захотел бы, ради сомнительного удовольствия ускользнуть от контроля и ненадолго избавиться от дисциплины, задешево растратит ценнейшее из богатств — отказаться от возможности быть суровым, неприступным и здравомыслящим, от возможности говорить четко, от того права сильных, которое заставляет прислушиваться к ним и следовать за ними, когда они глядят в лицо вещам и говорят людям: «Это так?»

Следует опасаться того, кто витийствует против власти. Обладай он сам властью, не было бы худшего тирана. А тот, кто любит силу, прежде всего захочет властвовать над самим собою, и усилия, направленные на господство над собственными страхами и желаниями, отобьют у него всякую охоту развивать в других людях —

чтобы принудить их к послушанию, — те слабости и рабские привычки, от которых он упорно старается избавиться сам.

Итак, опустошенность важна даже в отпавлении власти. Суровый закон управляет как в делах любви и честолюбия, так и в умственной жизни. Поначалу кажется, что довольно физического принуждения, чтобы тебе в достаточной степени повиновались, и если бы каждому было возможно пользоваться таким принуждением, к нему бы прибегали многие. Однако требуется иное — силой или соблазном вызвать в другом человеке внутреннее согласие. В самом деле, управлять чувствами и мыслями важнее, чем поступками, которые ими определяются, изменяются или преодолеваются. И вот безудержно пользуются предрассудками, обычаями, гнетом морали, тяжестью расхожих мнений и, увь, угрозой и страхом — всеми оттенками сентиментального шантажа. Добиваются от людей согласия, показывая им пагубные последствия отказа. Но понуждать к послушанию такими приемами, в то время как следовало бы добиваться его одними лишь своими заслугами, — жалкое удовлетворение. Тому, кто начнет ценить повиновение лишь свободных людей, невеликим счастьем покажется управлять душами тех, кто поработчен страхами, которые ты сам гордо преодолел. Поэтому такой человек работает для освобождения тех, кого хочет подчинить, и желает, чтобы они повиновались лишь тем, кто умеет их воспитывать. Он непрестанно искореняет и уничтожает в них те самые влияния, которыми лучше всего мог бы воспользоваться для своего господства, и в итоге наступает момент, когда между людьми и им самим остается одно лишь сопротивление гордости, которую он сам же воспитал в них под стать своей собственной. Тогда он заставляет их души принять болезненную свободу — которая, конечно же, не имеет ничего общего с независимостью и гнетет их куда более, чем возможное принуждение с его стороны. Им приходится опасаться таких побед, которые принесут отчаяние и ужаснут их своими результатами. И тогда между людьми, в этой их опустошенности, развертывается борьба за глубочайшее владение собою, где сила противника равна силе, которой измеряешься ты сам.

Все сводится к власти и владению, и здесь действуют жестокие, необратимые и неумолимые отношения, которые можно терпеть лишь в чистом воздухе горных вершин и которые подавляет буйная растительность.

СУМЕРЕЧНИКИ

НАС БЫЛО МАЛО; рассеянные далеко друг от друга, неловкие, лишённые энергии и настойчивости, мы зато ощущали тайные течения вселенной, не впадая ни в бесчувствие, ни в эйфорию; очень умные, мы всегда держались настороже и не поддавались возбуждению и неистовству; мы были затеряны среди толп, ослепленных яростью и безумием, обидами и страхами или же цепеневших в тихой агонии. Мы были последними сознательными людьми в этом мире, который слишком долго нас баловал, и мы чувствовали, что он скоро исчезнет, не зная, что нам суждено не пережить его, а скорее жить среди его восстановленных развалин, в нищете, презрении и забвении. Мы грезили о том, чтобы вывести свой юный энтузиазм из старых декораций. Мы хотели дать ему такую цель, которая удовлетворяла бы самым требовательным желанием, порожденным нашим трезвым, холоднопыльким, сугубо умственным складом. Мы хотели поставить его на службу какому-нибудь делу, которое бы не заключалось в реставрации рушащихся памятников старинной архитектуры и тем более не служило бы блестящей маской голой, самопоисковой силы, желающей лишь ненадолго сверкнуть и быть погребенной под величественными обломками. Мы так и не нашли приключения, в котором стоило бы растратить всю нашу энергию, идеи, которая была бы достойна исторгнуть из сонного равнодушия нашу веру, твердо рассекающую струи, словно нос бессмертного корабля. Мы были слишком деликатны, слишком учены, слишком неспособны довольствоваться не радующей нас игрой. И потом мы пришли слишком поздно, нас было слишком мало, наши сердца были слишком слабы. Наша неокрепшая воля не могла разворачивать беспредметные усилия в этой мягкой песчаной толще, которая быстро поглощала, иссушала их и не оставляла от них никакого следа — так слабо они сопротивлялись.

Мы остались ораторами. Мы любили толковать о сражениях и о тройных бронзовых доспехах, однако нам лучше подошло бы

лиловое платье Кассандры, а не сверкающие латы, которые мы, бодраясь и пыжась, натягивали на свою слабую грудь. Мы никогда не принадлежали утренней заре. Мы зябкие, тяжело летающие существа, поспешно прячущиеся в выбоинах стен и подстерегающие одну лишь мелкую добычу. Мы — мрачные и осторожные сумеречные летучие мыши, полные опыта и мудрости, которые взлетают, когда смолкнет дневной шум, и опасаются даже мрака, о котором они возвещают. Мы сами должны называть себя сумеречниками.

Мы очень громко заявляли о своей любви к ярости и ночью му мрак — мы, люди ложных положений, которые, того и гляди, пришли бы в отчаяние, осуществись их желания. В самом деле, в этих желаниях не выражалось никаких существенных душевных предпочтений. Напротив, в них проступала расслабленность, чуть ли не рассеянность. Они были порождены каким-то униженным послушанием, неизбежным у безвольных людей, каким-то пассивным согласием, которое даже не является инстинктивным и отражает лишь действие некоего тока или магнетизма; собственно, само их существование было столь диффузным, что никто и не мог бы их заметить, если бы сам сразу, невольно для себя не отзывался на исходящее от них возбуждение. Поэтому уступать им было не результатом выбора, а расплатой за утонченную чувствительность, которая предостерегает наше сознание и как раз и позволяет ему делать осознанный выбор. Мы были словно хрупкий прибор, обреченный быть разрушенным подземными толчками, приближение которых приводит его в возбуждение и о которых он не мог бы возвестить, если бы в нем ничто не откликалось на них. Действительно, все окружающие нас просто длили и длили свое существование. Мы же единственные — знали, предчувствовали, беспокоились. Потому мы и хотели пересилить судьбу, управлять ею. Нелепая, претенциозная хитрость: весь мир, где нам было уготовано место, уже рушится. В наступающем же мире нам не уготовано ничего, и нам не хватит энергии и веса, чтобы обеспечить себе в нем тот минимум единения и одиночества, который нам прежде всего необходим, чтобы жить.

Так не пойти ли нам по миру с сумой нищего, с колокольчиком прокаженного? Мы станем единственными бедняками в этом мире, занятым искоренением бедности, единственными прокаженными в обществе, всецело озабоченном гигиеной. Настанет наш черед голодать и вызывать у людей недоверие и отвращение. Невозможно извести сразу всех пролетариев, и будет законно и правильно, если ими останутся те, для кого честь и удовольствие — не в мирских делах, а в свершениях духа.

Такая участь подобает нам. Было бы небезопасно для наших душ, если бы мы избежали слишком многих забот, тогда как сами же любили произносить слова, которые в реальности обычно влекут за

собой нечто похуже, чем просто заботы. Между тем таков был закон жизни, которую мы вели: в тишине и наслаждениях — мечтать об опасностях и лишениях, будучи свободными и привилегированными — проповедовать принуждение, горячо любя истину — лгать, утверждая непримиримость — быть снисходительными, стремясь к пылкой вере — исповедовать скептицизм, одобряя угнетение — слушать один лишь суровый голос, голос непримиримого стремления к независимости.

Циники без повода к цинизму, парализованные той самой скрупулезностью, которой советовали пренебрегать, мы обладали лишь теми добродетелями, что дает слабым их собственная неустойчивость. Мы были вынуждены иметь такие заслуги, которые признавались за нами, а в наших собственных глазах приносили не столько славу, сколько позор.

• • •

И вот все источники освещения гаснут; дневной свет мира, где мы выросли, больше не отбрасывает в нем теней, теперь он равно озаряет все предметы со всех сторон, лишая их цвета и рельефа. В нем все становится ровно-одноцветным, и мрамор и пух. Мы лениво, беззаботно-праздно устроились в этом мире, где нет ни контрастов, ни твердости. Этот мир развлечений, привычек и удобств не может быть миром нашей гордыни и суровости. Но никакая благодать не осеняет нас, чтобы выстроить тот, другой мир. Мы способны лишь мыслить его. Мы — воистину сумеречные люди, нам не хватает рвения и любви. В нас нет никакого лучшего и заразительного начала, дикое нетерпение не заставляет нас бросаться туда, где нас нет. В этом остывающем мире мы сами уже заледенели.

Нам не вступить на землю обетованную. Мы не настолько снисходительны к себе, не настолько тщеславны, чтобы мнить себя достойными своих грез. Мы связываем больше желаний с ними, чем с самими собой. Мы не хотим жить в мире, который терпит наши слабости. Порой мы жестоко страдаем от того, что их так легко выносят в нынешнем мире, охотно встречая их пониманием и чуть ли не почестями, — ведь говорят, что нужно понять, чтобы простить; настолько чувствительным сделался слух и настолько деликатным язык, в то время как погребена в грязи любовь к точности и гордость за свою прямоту, когда другие мыслят вкривь и вкось. Нам тоже хотелось бы иметь силу и впредь желать нового мира, из которого мы будем изгнаны, чтобы в последний момент какой-то инстинкт не ставил нас защищать тот мир, что ныне рушится. Но не будем заранее судить о себе. И вот мы говорим, не дожидаясь, пока наша речь не станет неловкой от чувства тайной солидарности с этой гибнущей легкостью. Нам тоже хотелось бы вырабатывать новый облик

варварства, которое организуется и становится цивилизацией, создавать для него стиль, предлагать ему содержание, не давать ему всецело повиноваться своей инерции, наклонностям, соблазнам. Если никому за ним не присматривать, оно рискует увлечь за собой слишком много обломков. Придется отстраивать его заново на том самом фундаменте, который ему пришлось разрушить. Нам нужно хотя бы следить за этой перековкой мира, раз уж не достало силы на высшее самоотвержение, которое, быть может, позволило бы ее направлять. Мы не дошли до того предельного отчаяния, когда нищета и смерть кажутся избавлением. Тогда нам пришлось бы пойти не просто на жертвы, льстящие нашей гордости, но и на иные, непредвиденные, обидные для нашего ума, не сумевшего их вообразить, и даже для нашей воли к уединению, полагавшей встретить оскорбления и неудачи лишь там, где она сама это выберет. В таких расчетливых поражениях наше сердце находило больше мрачного блаженства, чем в слишком громких успехах, которые могли и даже должны были торжествовать вместе с нами чужие, пришедшие люди. Мы не любили предавать гласности ни радости свои, ни печали. Нам казалось, что от этого они становятся низкими и непристойными. Как это обычно бывает с телом, от наслаждений на виду у всех наша душа чувствовала себя скорее неловко, чем счастливо.

Оттого главной опорой нового счастья, которое мы наугад выстраивали для себя, казалось нам добровольное воздержание. Генеральной максимой своего поведения мы объявляли скромность. Нам казалось слишком дорогой ценой о чем-либо просить. По нашему мнению, первейшая добродетель заключалась в том, чтобы отречься от того, на что имеешь право, воздерживаться, когда можешь требовать. Нашим лозунгом стало всегда брать меньше, чем можешь добиться, всегда обещать меньше, чем можешь или даже намереваешься сделать. Вокруг нас все поступали наоборот, всячески внушая другим напрасные надежды и в конце концов обманывая их. Своей сдержанностью мы пытались заново утвердить то элементарное взаимное доверие, которое должно быть между людьми и которое каждодневно разрушалось бахвальством, непоследовательностью и лживыми клятвами обманщиков и самозванцев. Мы не замечали, как скудна эта убогая добросовестность. Горел наш дом, а мы раскладывали вещи в шкафу. Нужно было тушить пожар — а мы не осмеливались.

Нам не достало умения отречься от себя. Устроившись с удобством на разных ступенях общества, которое очень радушно относилось к нам, мы недостаточно решительно способствовали его перемене. Вокруг нас серьезнейшие из ученых и мыслителей, которых много лет смешивали с толпой фигляров и соответственным образом к ним относились, теряли понимание обязанностей

своего звания или же узурпировали чужие. Им больше неохота было возвышать голос, которого никто не слушал или же слушали как повод для сиюминутных пересудов, а не как спасительный совет. И вот они молчали и посвящали себя трудам сложнейшим и удаленнейшим от современных проблем. Наименее стойкие из них принимали навязываемую им роль и быстро завоевывали себе пагубную славу блестяще-ловкими речами, где было не больше честности и глубины, чем в площадных выступлениях балаганных шутов, которым они без особого сопротивления позволяли себя уподобить. Их суждение становилось никчемным или неавторитетным. Бессильное или устарелое, оно быстро утрачивало смелость, а следовательно и прозорливость, ибо если хочешь ясно видеть вещи, то приходится небрезгливо признавать и такое, что, будучи признано, потребует от тебя мужества.

Поскольку нам нечем было подкрепить свои усилия, то нас не оставляло искушение удовлетвориться той участью, которой довольствуются все и за отказ от которой нас осуждали, объясняя его всего лишь следствием гордыни, наивности или же какого-то иного из тех недостатков, что естественны для молодежи и излечиваются опытом. Однако мы никогда не говорили «после нас хоть потоп» и хорошо понимали, что каждая наша капитуляция и попустительство — словно лишняя капля воды в грозящем нам страшном наводнении. Мы чувствовали, что его огромная масса не просто возрастет от таких ничтожных добавок — она именно из них и состоит. Наша невинность служила утешением в нашей слабости, между тем наступало время, когда слабость и была первой виной. Оттого мы так и не построили никакого ковчега, дабы спасти то, что следовало спасать. Мы также и не закалили свои сердца и не приучили к лишениям свои тела. Поскольку мы не тревожились, удастся ли нам подняться на высоту своих притязаний, мы в себе самих не сумели сделать их ясными и настоятельными.

Нам также не достало того благородства, того равнодушия к судьбе, которое в отсутствие великих радостей доставляет человеку привычка к сокрушительным провалам и которое принесет нам наступающий мир. Но терпеть или же выбирать себе несчастную участь — не одинаково достойно и чревато неодинаковыми последствиями. От того, что она выпала нам, мы не только не приобретем необходимый закал, но и сделаемся, пожалуй, еще более боязливыми и грубыми, замкнутыми и ушедшими в себя. В своем несчастье мы не обязательно обретем способность ожидать хлеба насущного от небесных птиц. Нам лучше было бы полагаться на нее раньше, пока нас к этому не принуждали. Тогда бы мы смеялись над усталостью и болью. Наши тела были бы крепки как сталь. Тогда мы одинаково встречали бы и посулы и угрозы. Наши души были бы непоколебимы как бронза. Тогда все люди принадлежали бы нам.

Мы схватили бы мир за плечи, тогда как сегодня он бьет и выгалкивает нас прочь.

Пусть же другие скажут «да», которое мы так и не произнесли, пусть только их воля пожелает достичь той цели, которую преследует, и пусть она растет вместе с встречаемыми на пути препятствиями, вместе с переживаемыми неудачами, вместе с одерживаемыми победами. Тогда эти чистые, цельные люди, равно вскормленные как поражениями, так и триумфами, обретут благодать и смогут наконец опоясаться мечом избранных. Мы не просим их чтить нас, но только, прежде чем поделом нас осудить, пусть зачтут нам то, что хоть мы и не сумели стать их предтечами или последователями, но мы думали и мечтали о них, мы заранее определяли их добродетели и никто из нас не принимал себя за одного из них...

Мы были слишком слабы, слишком привязаны к вещам очень старым и хрупким, дорожа ими еще больше, чем думали сами, — к таким вещам, как красота, истина, справедливость, всякого рода утонченность. Мы не сумели ими пожертвовать. А когда мы поняли, что именно это и требуется, то отшатнулись и вновь очутились на прежнем месте, по ту сторону границы, в старом и испорченном мире, который отжил свое и который пора ликвидировать. Так пусть же придут, чтобы разрушить его и смести нас вместе с его обломками, молодые и суровые работники, которыми мы надеялись стать и которым, чтобы быть самими собой, не придется ничему изменять и ни от чего отрекаться, которым нет нужды нелепо насиловать свою природу, которые сами по себе доблестны и грубы, пылки и бесхитростны, алчны и щедры, которые, наконец, не скованы принципами, угрызениями совести, изяществом, точностью. Их потомки откроют вновь, для чего служат и чем хороши эти утонченные изыски, которые не дали нам присоединиться к ним и которые мало-помалу возникнут вновь, став моложе и краше, точнее и требовательнее прежнего. Без них не может обойтись ни одна цивилизация: именно они всецело и образуют ее. Но их основу всякий раз закладывают варвары. Только у них есть на это сила. Настало время уступить им место — увы, так, как это принято: сражаясь с ними без надежды и без ненависти, стремясь не столько победить, сколько перевоспитать наших братьев-врагов. Ибо каждому должно быть верным своей судьбе.